ЮРИЙ ПОЛУХИН,
ЛЮБОВЬ РУДНЕВА

СКВОЗЬ ГОДЫ И ГОРЫ

ЮРИЙ ПОЛУХИН,
ЛЮБОВЬ РУДНЕВА

СКВОЗЬ ГОДЫ И ГОРЫ

МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1981

33М11
П53

Художник
Е. В. Терехов

Полухин Ю. Д., Руднева Л. С.
П53 Сквозь годы и горы.— М.: Сов Россия, 1981.— 256 с., ил.

Это книга очерков о судьбах рабочих, инженеров, ученых стран СЭВа, их творческих, производственных, духовных контактах. Известные писатели рассказывают об обстоятельствах и атмосфере совместного строительства ЛЭП 750 киловольт Винница — Альбертирша, атомных электростанций в ГДР, Венгрии, Чехословакии, лесопромышленного комплекса в Усть-Илимске, научных экспериментов океанологов ГДР, Польши, СССР. Очерки возникли в результате многократных встреч с героями книги, жизни на стройках. Один из авторов — участник Великой Отечественной войны, другой — в прошлом строитель, и поэтому очерки многоплановы, порою лиричны, в них речь идет о перспективах, об уроках прошлого, о духовной жизни народов наших стран, ее взаимообогащении.

33М11

П $\frac{11302-100}{М-105(03)81}$ 74—80 0802010206

ЦЕНА МЕЧТЫ

Никогда не объяснишь до конца, как это случается, почему. Ты в другой стране, видишь человека впервые, и речь-то у вас должна идти о вещах достаточно деловых, и наверняка собеседник твой, когда обдумывал предстоящий разговор, помечал для себя: «Это — проблемы наши собственные, о них и говорить не стоит, а это — вообще касается только меня», — не мог он не думать и о публичности твоей профессии литератора. Ты — не священник, а он — не на исповеди. И вдруг — взглянули друг на друга, и первые, может быть, даже случайно произнесенные слова высекли искру доверия, уже по-иному смотрят незнакомые до тех пор глаза, и вот навстречу тебе распахивается настежь душа, и вы оба внезапно видите: несмотря на то что прожили жизнь разделенные не просто километрами, но

границами, обычаями, привычками, языковыми барьерами, несмотря на все это, мыслите и чувствуете схоже.

Не знаем, есть ли чувство сильнее, чем вот это взаимное обретение себя в другом человеке, только что жившем чуть не за тридевять земель, но нет, оказывается, вы шли по жизни сходными путями-мыслями, и души ваши исторены одними болями-чувствами.

Такой для нас и стала встреча с Бениамином Сабо, ответственным секретарем венгерского правительственного комитета по строительству атомной электростанции в городе Пакш. Чуть ли не в последний день нашей поездки по Венгрии. И всего-то мы смогли пробыть вместе часа три. Еще нас предупреждали: Сабо не очень любит распространяться о себе, но нам-то как раз интересней любых хозяйственных выкладок было его отношение к сложной судьбе этой электростанции и судьба его собственная, только на таком средостении и можно отыскать нечто по-человечески значимое, неординарное. И хотя тема нашей книги в издательстве была обозначена общо — «экономическая интеграция стран сэвовского содружества», все же для себя-то, как главную, мы давно наметили одну мысль: любое экономическое сотрудничество — это в конце концов взаимоотношения людей. А рассказывая об этом, не обойтись без размышлений о глубинных нравственных процессах — они ж всегда сопутствуют большим экономическим переменам. Но по опыту знали мы и другое: как раз над этой стороной дела люди не очень привыкли задумываться, и разговор о том завязать труднее всего.

И вдруг — вот то самое вдруг, сблизившее годы, расстояния! Сперва что-то о неожиданной для нас моложавости Сабо сказал один из нас, вежливая реплика в ответ, и что-то — о самом Пакше: дескать, стройка напоминает собственный свой макет, увеличенный до размеров натуры, до того уж она чистенькая и последовательная во всех деталях; мы уже были в Пакше, и не один раз,— мол, еще младенец, но какой-то вроде бы по-старчески умудренный младенец.

И тут Сабо снял очки, и оттого усталое, худое лицо его стало как будто бледней, а серые глаза — больше, вышел из-за громадного, воистину министерского стола и подсел к нам — за низенький, журнальный, произнес удивленно:

— Слушайте, я как раз вчера ночью — для себя только и остаются часы ночные — листал Сенеку и вот на какую мысль набрел: «Все у нас чужое, одно лишь время наше». До чего ж верно! — дотронулся Сабо тонкими пальцами до бортов ко-

ричневого пиджака. — Все восполнимо, кроме потерянного дня и года, и жизни... Это — в «Нравственных письмах к Луциллию», он там дальше пишет, что вся и беда-то в том, что смерть мы видим всегда лишь впереди, тогда как большая ее часть давным-давно позади осталась: сколько лет минуло, все принадлежат смерти... Так вот, если хотите, история Пакша — это история потерянного времени. И вы верно заметили: младенец-то на старца смахивает... Ну насколько уж «умудренного» — не могу судить,— Сабо улыбнулся застенчиво, как человек, внезапно себя поймавший на тайном.

Но чтоб понятней стало дальнейшее, необходимо маленькое отступление. Известно, с 1954 года, когда заработала первая в мире атомная электростанция, Обнинская, советская атомная энергетика прошла большой путь. Тут, должно быть, не место рассказывать все технические, экспериментальные и экономические сложности этого пути. Достаточно сказать, из нескольких типов реакторов для АЭС в конце концов для широкого внедрения в практику строительства были отобраны два: бескорпусной, канальный, с замедлителем быстрых частиц — графитом и теплоносителем — обессоленной водой под давлением, и второй — корпусной, в нем обессоленная вода подается в реактор так же под давлением и служит одновременно и замедлителем, и теплоносителем.

К первому типу относятся Обнинская, Белоярская, Билибинская, Ленинградская станции, ко второму — Нововоронежская, Кольская.

Вот этот второй тип — водо-водяного реактора, ВВЭР — в 1966 году в результате целого ряда консультативных и правительственных совещаний, в которых приняли участие делегации всех стран сэвовского содружества, и был выбран энергетиками социалистических стран, наметивших широкую программу строительства атомных станций. Тут важно подчеркнуть: реактор типовой, одинаковый для всех, а значит, и более дешевый.

В совещаниях этих принимал самое непосредственное участие в качестве работника ЦК Венгерской социалистической рабочей партии, курировавшего энергетику страны, и Бениамин Сабо. В декабре шестьдесят шестого года, когда было подписано соглашение о строительстве АЭС в Пакше, чтобы придать особое значение стройке, была создана в министерстве тяжелой промышленности специальная должность — уполномоченного министра по атомной энергетике. Дело в том, что уже тогда намечалось после пуска первого блока станции в 1975 году и второго — в 1976-м здесь же

в Пакше последовательно наращивать мощности атомной энергетики страны, которые к 1990 году должны будут достигнуть не менее шести тысяч мегаватт. Уж очень удобна площадка в Пакше, выбранная, кстати сказать, с помощью советских специалистов. Близ Дуная нет проблемы воды. На возвышенности, на юру, на семи ветрах, чуть не в буквальном смысле этих слов, значит, не будут концентрироваться в осадках даже и минимально вредные продукты сгорания. Сравнительно далеко от крупных городов, а вместе с тем в районе, где нет своих электростанций, но есть острая нужда в энергии: один металлургический комбинат в Дунайвароше берет ее немало.

Словом, стройка — чуть не до конца века.

На новую должность эту и был назначен по его собственной просьбе Бениамин Сабо. И в этой связи хотя бы несколько слов надо сказать и о нем самом. Родился в 1932 году в маленьком городке, в области Бекеш. С семнадцати лет работал электромонтером, а в пятидесятом году перебрался в Будапешт и кончил тут специализированную вечернюю школу Страна переживала в те годы бурный промышленный подъем, не хватало инженерных кадров, и создали тогда нечто вроде наших давних «рабфаков»: за год проходили на них четырехгодичный курс математики, физики, химии за счет того, что гуманитарные-то предметы были сведены к минимуму. («Вот и приходится теперь Сенеку по ночам читать!» — сам же и прокомментировал свой рассказ Сабо.) Диплом об окончании школы давал право поступать в высшее учебное заведение.

Но на всю жизнь диплом этот дал Сабо и иное: убеждение, что не умеем мы беречь собственное время, нынешние сроки — всему! — слишком растянуты.

В пятьдесят третьем году он уехал учиться в Москву, в энергетический институт и окончил его через пять лет. И женился в те годы, и первый ребенок родился, а помогать им некому — студенчество досталось трудно.

После института Сабо послали рядовым инженером на тепловую электростанцию «Айка». Это не новая станция, пустили ее еще во время войны, но теперь она расширялась, было где проявить сметку. Были, явно, и способности: уже через два года Сабо назначают директором станции, немалой по тем временам — 160 мегаватт мощности. В двадцать восемь лет он оказался самым молодым директором ТЭЦ в стране. Впрочем, и подиректорствовать ему удалось сравнительно недолго — всего три года до шестьдесят третьего, когда забрали его на работу в ЦК партии.

Стремительность — вот к чему приучил его весь предшествующий Пакшу жизненный опыт, а еще — умению разглядеть, поддержать новое, перспективное, даже если оно, это новое, не выглядит пока что так уж розовощеко, жизнеутверждающе.

Но вот только лишь заключили соглашение о строительстве АЭС в Пакше, как с разных трибун, высоких и не очень, начали выступать его противники. Один из их аргументов звучал так: «Наша страна — маленькая, всего-то десять миллионов населения, зачем нам-то испытывать всякие новшества, пионерничать — нерентабельно!..»

Мы уже не первый раз в Венгрии, и приходилось сталкиваться в поездках с людьми разных профессий и разного отношения к сущему, к себе самим. Но редко кто из встреченных нами не начинал разговор с этих слов: «Наша страна маленькая...» Слова — почти магические, потому что зачастую они служат оправданием позиций самых противоположных.

С их помощью справедливо доказывают целесообразность широких закупок лицензий на самую передовую в мире технику и технологию производства: страна маленькая, и потому — тем более потому! — нет ни сил, ни времени изобретать велосипед. С их помощью объясняют и собственную косность: куда уж нам, можно и по старинке, должно!.. Но и обосновывают, например, необходимость самых широких культурных связей со всеми странами мира, хотя бы в том же кинематографе: мы не в состоянии сами удовлетворить запросы кинозрителей только собственной продукцией, потому на экранах должны идти все лучшие фильмы всех стран мира, даже если фильмы эти в чем-то и спорны, экспериментальны,— сегодняшний эксперимент может стать завтра основой будущего кино; и идут такие фильмы в центральных и заштатных кинотеатрах... И могут эти слова подталкивать к натуральному хозяйству: страна маленькая, необходимо беречь инвалюту, как можно меньше импорта!.. Так что эти слова никто вроде бы и не принимал серьезно в спорах о насущном. Хотя, конечно ж, какой-то осадок в душе людей малоосведомленных оставляли и они.

Куда более убедительно звучал другой аргумент против атомной электростанции в Пакше: «Безусловно, это — перспективная отрасль энергетики. Возможно, за нею — будущее. Но мы-то живем в настоящем. А в настоящем — советская нефть. Мы ее покупаем и перерабатываем. А в отходах— мазут. Так вот и надо строить электростанции на мазуте».

Уже тогда погромыхивали первые громы приближающегося энергетического кризиса. Все ведущие экономисты мира били в набат: даже и при нынешних темпах роста потребления запасов угля и нефти на планете хватит, максимум, еще на сто лет. С середины шестидесятых годов и в Советском Союзе новые электростанции на мазуте ставили разве что в слишком уж специфических районах. Но сжигать в топках нефть импортную?.. И все же простая арифметика доказывала: по ценам тех лет — да, это выгодней. Вот сию минуту — выгодней.

А в Пакше уже получили технический проект станции. В шестьдесят девятом начали земляные работы, тут надо было перелопатить почти три миллиона кубов на площадке в двадцать пять гектаров, поднять ее на полметра повыше, чтоб обезопасить даже от критических паводков Дуная. И уже начали ставить жилье, складывался на стройке свой коллектив.

Кто работал на стройках, знает: это всегда самое трудное поначалу, чтоб люди, съехавшиеся с разных концов страны, привыкли друг к другу, узнали, кто чего стоит, чтоб сами выдвинули из общей массы тех, кого не только по должности слушать надо, а кому поверишь, и в ситуациях самых трудных охотно пойдешь за ним к цели, как бы сложна она ни была и какой бы далекою ни казалась.

Я доказывал, свернуть сейчас работы на Пакше — это значит даже и в форинтах — подсчеты приводил — потерять не меньше, чем мы выгадаем сиюминутно на электростанциях на мазуте. И сколько бы можно извлечь иной пользы из этого мазута, который мы вот-вот начнем сжигать в топках,— говорил нам Сабо.— Пытался спорить и на языке противников: мол, наша страна маленькая, не такая уж богатая полезными ископаемыми, так хотя бы поэтому привозное сырье нам надо использовать стопроцентно, а не выбрасывать отходы вместе с дымом электростанций. Ну и бился я, по существу, в одиночку. Большинство решительно против Пакша. Другая часть отсиживалась молча в кустах. А вроде б даже сторонники одну руку — «за», другую — «против»... Так и победили в тот раз «практицисты»,— словечко это Сабо выговорил не без желчи.

Один из заместителей министра, теперь уже не занимающий эту должность, сказал ему:

— Я никак не пойму, почему вы-то, вы лично, так заинтересованы в атомной станции? Каких выгод для себя ищете?

Ничего не ответив ему, Сабо встал и вышел из кабинета.

Стройку в Пакше законсервировали. Бениамин Сабо отпросился на иную работу — директором фирмы «Вертес», которая вела по всей Венгрии монтаж электрооборудования и сейчас резко расширялась, капиталовложения в этой отрасли промышленности увеличивались в несколько раз. А кроме того, в те годы менялась в стране вся экономическая система: предприятиям дали несравнимо большие права, и руководители их могли быть уже не простыми исполнителями жестко предначертанного сверху, повысилась в цене инициатива.

— Но любовь-то осталась там, в Пакше,— рассказывал Сабо. — Это все равно, наверно, что ученому, тем более если он настоящий ученый, натолкнуться на идею, основополагающую в науке, пусть даже и не дающую пока немедленных практических выходов, но фундаментальную, которой и всю жизнь отдать не жалко, натолкнуться — и бросить ее на полдороге, не решив, уйти к нуждам насущным. Так случилось тогда и у меня...

Он говорил негромко. Без каких бы то ни было жестов. Просто сидел, чуть откинувшись в низеньком, нынешнем кресле, не располагающем к беседам длинным. Тонкие руки спокойно лежали на столике. Серые глаза смотрели на нас печально и устало. Но вот это спокойствие его, конечно ж, внешнее только, неопровержимо свидетельствовало: прошлая боль не отболела.

— Знаете, я люблю директорскую работу,— произнес он с некоторой наивной даже, обезоруживающей откровенностью.— Всегда — с людьми. А главное, эта постоянная, вынужденная организация неорганизованного, сама жизнь тебя каждый день подталкивает вносить логику в алогичное. И если ты значишь что-то, если есть у тебя авторитет, приметливость, то видишь плоды своего труда, усилий немедленно. Вчера только лишь идея в воздухе носилась, а сегодня она уже воплотилась в какие-то дела, и людям стало работать проще, а ты к тому же замечаешь, кто из них чего стоит, и всегда можешь поддержать достойных... Нет, директорская работа, при всей ее нервотрепке и ответственности, увлекательнейшее дело!..

И вот ситуация: всего два года проработал Сабо в этой фирме, успел многое, но иные из замыслов только еще воплощались в жизнь, неясны были их конечные результаты, многое наверняка пришлось бы и еще переделывать, и вдруг в ЦК партии ему предложили вернуться к атомной энергетике: стройку в Пакше решили возобновить.

Ликвидирована была его прежняя должность в министерстве, которая давала ему раньше всю полноту власти в решении практических проблем, возникающих на любой стройке вседневно. Был создан лишь координационный комитет по развитию атомной энергетики. И никак не верилось Сабо, что за два-то года, несмотря на острый энергетический кризис, уже сказавшийся на экономике всех стран мира, заставивший повсюду перекраивать свои долгосрочные программы,— никак не мог он представить, что за такой в сущности малый срок прежние-то противники Пакша круто переменили свои позиции.

И еще одно. Сабо сказал об этом вскользь, но мы-то уже слышали: те прежние многомесячные споры вокруг Пакша дорого встали ему. Развилась быстротечная болезнь, едва не кончившаяся катастрофой: ему сделали операцию на мозге, он только-только начинал возвращаться к прежней своей физической форме. И что же — опять на круги своя? Его убеждали: нужен в Пакше масштабный руководитель, для которого стройка — своя стихия, а тут ее не просто возобновят сейчас, но сразу — с размахом, в ближайшую же пятилетку для пуска первой очереди атомной электростанции намечается освоить пятьдесят миллиардов форинтов!

Чтоб сравнить масштабы, скажем: в Венгрии и посейчас крупной стройкой считается та, капитальные вложения на которой исчисляются в один миллиард форинтов. И это — немало.

Жена и все друзья отговаривали его: надо сойти с ума, чтобы самому же класть голову на плаху!.. Слишком уж буквально звучали для него тогда эти слова: операционная стояла перед глазами вживе. И все же Сабо согласился вернуться.

Но тут надо, пожалуй, сделать еще одно отступление. В поисках выхода из энергетического кризиса ученые, инженеры всех стран развернули исследования в самых разных направлениях. Сообщениями об их результатах запестрели не только технические журналы, но и самые популярные газеты.

Строили электростанции, использующие силу морских приливов во Франции, у берегов Бретани, у нас в Союзе, в Северном море. Специалисты института океанографических исследований Японии неподалеку от местечка Юра, расположенного на северо-западной оконечности острова Хонсю, прямо посреди моря смонтировали на двух спаренных понтонах буй-генератор, преобразующий в электический ток энер-

тию вольных морских волн. Это — достаточно основательное сооружение: понтоны длиной в восемьдесят метров, шириной — в двенадцать и высотой — около восьми. Местечко Юра выбрали неслучайно: тут волны более трех метров высотой гуляют чуть не треть года.

Французские ученые спроектировали и создали несколько моделей солнечных электростанций. Чтобы нагреть воду в специальных резервуарах, в одной из таких моделей было использовано пятьсот зеркал, каждое площадью в пятьдесят квадратных метров, которые автоматически поворачивались вслед за солнцем, фокусируя его лучи. Рабочая жидкость, состоящая из расплавленных солей натрия и калия, нагревалась до 420 градусов по Цельсию. Предполагается уже в начале восьмидесятых годов строить по этому принципу вполне промышленные электростанции. А все же и сами ученые не думают, что подобные источники энергии смогут заместить обычные тепловые электростанции раньше, чем в будущем столетии.

В южных районах Соединенных Штатов Америки удалось для жилых домов-коттеджей, сравнительно небольших размеров, создать достаточно простые и удобные в эксплуатации отопительные системы, использующие энергию солнца. Опытные установки такого рода действуют и у нас в Средней Азии. Ведутся и работы по созданию установок, которые будут преобразовывать тепловую энергию в электрическую магнитогидродинамическим способом, так называемые МГД-установки, в которых будет работать плазма — газ, нагретый до температуры 2500 градусов; тут наряду со сверхмощными магнитами, обмотки которых будут охлаждаться жидким гелием, как известно, близким по температуре к абсолютному нулю, начнут использоваться такие металлические сплавы, которые будут в состоянии выдержать длительный натиск высочайших температур. Одна из экспериментальных установок у нас в Союзе, работавшая по этому принципу, основанному на явлении сверхпроводимости, действовала 250 часов подряд, отдавая ток в московскую энергосеть, позже и это достижение было перекрыто — тоже «мировые рекорды». И пожалуй, это — самое перспективное направление поисков.

А все же, как ни заманчивы все эти исследования, ведущиеся с дальним прицелом, с их помощью сколько-нибудь весомые результаты, по мнению всех ученых, могут быть достигнуты в практике не раньше, чем в будущем веке. А энергетический голод дает себя знать уже сейчас.

Вот потому-то, в частности, таких впечатляющих успехов в последнее десятилетие достигла атомная энергетика. На планете уже поставлено сейчас больше 200 атомных станций. Такому бурному росту новой отрасли энергетики способствовало несколько обстоятельств. Первое. Практически неограниченные запасы атомной энергии. Второе. Возможность, а точнее — необходимость перейти на серийное изготовление атомных реакторов; это значительно уменьшило их стоимость. Внедрение в практику все более мощных установок, а значит — более рентабельных.

Третье. Независимость этих станций от капризов погоды, от времени года, которая тоже имеет немалое значение для их рентабельности. Простое сравнение. Установленная мощность самой крупной в мире гидростанции — Красноярской — шесть миллионов киловатт. На Ленинградской АЭС, флагмане нашей атомной энергетики, работают две турбины по миллиону киловатт каждая. Вроде б в три раза меньше, чем в Красноярске?.. Но надо сравнивать не мощность их, а выработку. Красноярская ГЭС в самые благоприятные годы, когда много осадков, вырабатывает по 24 миллиарда киловатт-часов, а обычно — около 20. Ленинградская же АЭС независимо от погоды каждый год дает по 12 миллиардов киловатт-часов. А с пуском второй очереди АЭС, который не за горами, цифра эта удвоится.

Но даже и до тех пор — надо представить себе!— чтобы выработать эти вот 12 миллиардов киловатт-часов, на обычной тепловой станции пришлось бы сжигать ежегодно 8 миллионов тонн угля. Чтобы перевезти его — горы угля!— потребовалось бы 150 тысяч вагонов. Если учесть и прочие, вроде бы побочные сложности в эксплуатации тепловых станций, их рентабельность давно уже сравнялась с нынешними АЭС.

Наконец, четвертое. Как показала эксплуатация атомных электростанций, по сравнению опять-таки с обычными тепловыми, они практически безвредны для окружающей природы, для людей. Тепловые станции, работающие на угле, выбрасывают в воздух сернистый газ, который преобразуется в конечном итоге в сернистую кислоту, губительную для рек, озер, лесов, разъедающую даже и металлические сооружения. Мало кто представляет масштабы этого процесса.

В Чехословакии, например, произвели такие подсчеты. Близ города Новый Мост построили семь современных по технологии, оборудованию тепловых электростанций, работающих на буром угле, зольность которого особенно высока.

Их общая мощность в год, когда проводились подсчеты, достигла трех с половиной миллионов киловатт, а потом она еще выросла. Так вот, электростанции эти ежегодно выбрасывали в воздух, а затем и на землю тысячи тонн золы и сернистого ангидрида.

Вот выкладки американских специалистов: на ста действующих крупных тепловых станциях США 90-процентное улавливание серы обошлось бы в 5,4 миллиарда долларов единовременных затрат и 1,8 миллиарда долларов ежегодных эксплуатационных расходов. И это без учета того, что очистные установки сами съедали бы от 4 до 7 процентов вырабатываемой на этих станциях энергии. Тут надо только добавить: подсчеты эти проводились еще до того, когда доллар так пал в цене, кстати сказать, во многом из-за того же энергетического кризиса.

Так что и охрана окружающей среды, человеческого здоровья тоже стала одним из аргументов в пользу атомной энергетики. И еще одно немаловажное обстоятельство. Самой практикой эксплуатации АЭС был преодолен некий психологический барьер. Давно ли дала ток первая в мире станция, Обнинская? Каких-то четверть века назад, не так уж много даже в жизни одного поколения людей. Но изначально само слово «атомная» связывалось у нас в сознании с повышенной опасностью. Немногие знают, какая надежная автоматика, многократное дублирование всех систем были созданы учеными на первых же советских АЭС. Должны были пройти годы, которые воочию доказали: при грамотной эксплуатации даже и первенцы эти абсолютно безопасны.

Но с тех пор на станциях последующих была осуществлена новая концепция их безопасности, она исходит из того, чтоб предотвратить даже и ту аварию, которая теоретически может случиться лишь один раз в десять тысяч лет. Это, правда, и усложнило жизнь строителям. Еще только одна цифра: если прежде на так называемом «первом контуре»— первой бетонной стенке, ограждающей реактор, металлические стержни арматуры были диаметром не больше ста миллиметров, то теперь они в пять раз толще. Не зря строители АЭС любят говорить, что в их бетоне больше металла, чем цемента, и шутка эта недалека от истины.

А грамотной эксплуатации станций надежно учат теперь в специальном учебно-тренировочном центре, который создан на Нововоронежской АЭС. Тут проходят необходимую стажировку все будущие эксплуатационники-«атомщики» из СССР и из стран сэвовского содружества. И не

только теоретические знания увозят отсюда, но и такие практические навыки, которые невозможно будет приобрести и позже, в своей непосредственной работе. Дело в том, что в учебном центре этом создан уникальный тренажер главного щита управления реактора ВВЭР-440, того самого, типового для всех наших стран. Обычно операторам, занятым у таких вот щитов управления на самих станциях, только и остается быть простыми наблюдателями: следи себе за показателями всяческих датчиков, счетчиков, автоматика сделает за тебя все необходимое. Ну а если в самом деле случится нечто такое, чего не сможет решить автоматика?.. Для того и создан тренажер. На нем можно проиграть до ста вариантов различных теоретических аварийных ситуаций, из которых будущий оператор сможет выйти с честью. А если вдруг оплошает он, так его выручит сосед по смене — операторов учат синхронности в работе, взаимозаменяемости.

Первые эксплуатационники на атомные электростанции пришли, как правило, с тепловых. Вот и в Пакше, например, мы встретились с Дмитрием Егоровичем Добариным. Он был директором ТЭЦ на Смоленщине, в Дорогобуже, потом приехал прорабом на строительство Кольской АЭС и через несколько лет стал ее главным инженером, уже как эксплуатационник. Так вот он сказал со всей определенностью:

— На тепловых станциях работать гораздо опасней.

А когда мы все же усомнились в этом, Добарин, человек тихий, из многодетной крестьянской семьи, до всего дошедший не просто своей головой — руками и потому не любящий фраз, любой аффектации, он и словам цену знает, и жестам, попросту замахал на нас руками и единственный раз за те полдня, которые мы провели вместе, повысил голос:

— Что вы! Никакого даже сравнения!

...Так был за последние годы преодолен и этот барьер, пожалуй, прежде всего психологического свойства.

А в 1977 году на заседании XXXI сессии СЭВ была утверждена программа широкого развития атомного машиностроения во всех странах содружества, развития атомной энергетики. Был учтен в ней опыт ряда стран в строительстве АЭС, их технические возможности.

Чехословакия, например, взялась изготавливать на заводах «Шкода» и такое сложнейшее оборудование, как реакторные установки, парогенераторы, главные циркулярные трубопроводы. Вклад Болгарии — системы биологической очистки арматура; Венгрии — сложнейшая автоматика по обслужи-

ванию реакторов, оборудование спецводоочистки; Польши — компенсаторы объема, дизель-генераторы.

Советский Союз будет, как и прежде, поставлять паровые турбины и великое множество всякой аппаратуры, приборов, а главное — сами реакторы со всеми необходимыми к ним приложениями. Для этого, как известно, сейчас подходит к концу одна из крупнейших строек последних пятилеток — завода «Атоммаш» в волгодонских степях, расширяются мощности других наших машиностроительных и приборостроительных предприятий. Намечено выстроить в нашей стране и завод по ремонту оборудования АЭС.

Атомное машиностроение — дело не простое, и его легче, дешевле поднять усилиями общими, кооперируя производства. И результат не замедлит сказаться уже в ближайшем будущем. Согласно программе, утвержденной на заседании XXXI сессии СЭВ, общая мощность новых атомных станций во всех странах содружества должна достигнуть 37 миллионов киловатт.

. .Шел семьдесят третий год. Еще не окончена была в проектном институте переработка проекта электростанции в Пакше, который учел бы новшества атомной энергетики последних лет. По предложению Сабо в институт уехали на длительную работу десять венгерских специалистов, которые хорошо знали местные условия в Пакше, чтоб можно было незамедлительно решать многочисленные проблемы, возникавшие постоянно, и чтоб готовые выкладки, чертежи присылались в Будапешт без малейшей заминки. А все же новый проект был выдан строителям только в семьдесят четвертом году, да и после того не раз вносились в него изменения самые неожиданные. Вдруг, например, поверх шахты реактора наметили установить мощное стальное кольцо, да еще из такой стали, которой в Венгрии попросту нет. Договорились о другой марке металла, но оказалось, и такую венгерские заводы еще не выпускали. Нужно было убедить металлургов, прокатчиков срочно освоить новое производство.

Или вдруг в рабочих чертежах запроектируют фермопакеты из арматуры вдвое и втрое большего диаметра, чем предусматривалось в техническом проекте. А ведь это — не просто изменить чертежи: надо перестраивать производство на арматурном заводе. Но важно, что все эти перекройки проекта преследовали одну цель: создать такую станцию, на которой учтены были бы самые новейшие научные разработки и практические находки.

А Сабо в глубине души отчасти даже и радовался этим затяжкам в проектировании. Они дали ему возможность разработать и осуществить новую строительную концепцию атомной станции. На всевозможных совещаниях, самых разных уровней, он не уставал повторять: мы должны как можно продуктивней использовать отсрочку с рабочими чертежами станции, чтобы намного опередить монтаж оборудования всеми строительными работами. Так уж получалось в практике строительства других АЭС: монтаж реактора — самое трудоемкое, пожалуй, дело — начинался раньше, чем возводились ограждающие его железобетонные шахтные контуры, а то и стены электростанции. Вроде бы печку ставили сперва, а уж потом начинали вокруг нее строить дом. Нужно успеть, доказывал Сабо, вывести стены до таких отметок, чтоб ставить «печку» в уже готовый дом. Это не только даст выигрыш во времени, но и позволит строительные работы выполнить более качественно.

Еще одна его фраза, которую мы услышали в Пакше уже от других строителей: «Атомная станция — не консервная фабрика, тут на «ура» ничего не возьмешь, ничего не отложишь на «потом», малейший просчет, недоделка, которых всегда много при штурмовщине, здесь могут стать роковыми».

Потому на строительстве самой прогрессивной электростанции и организация работ тоже должна быть наисовременнейшей. Никаких времянок! «Времянка»— это ведь не только бытовое словцо, не только технологический и организационный «принцип», но и понятие нравственное, психологическое.

Так уж сложилась наша судьба, авторов этой книги: за свою жизнь удалось побывать на десятках строек, начиная от Магнитки и кончая КамАЗом. И на иных — не только гостями или в качестве приезжих литераторов, но и непосредственными участниками строительства. И не было ни одной стройки, где бы все, начиная от рабочих и кончая руководителями, не мечтали о том же: обойтись без жилых бараков, вагончиков или палаток, без заводишек-залепух, скроенных на живую нитку, продукция которых обходилась, как говорится, себе дороже. Но повсюду возникали они как бы сами собой, причем чаще всего времянки как раз и оправдывались отсутствующими в должный срок проектными чертежами и сотнями других вроде б даже и убедительных причин.

Так вот, впервые мы увидели эту вроде б и невыполнимую мечту осуществленной — в Пакше. Причем здесь, в

сравнении, скажем, со стройками, которые ведет наше Министерство энергетики и электрификации СССР, положение осложняется еще и тем, что на площадке одновременно хозяйничают три ведомства: монтаж оборудования ведет министерство машиностроения, строительные работы — министерство строительства, а всеми вопросами капиталовложений ведает министерство тяжелой промышленности. Комитет же, в котором Бениамин Сабо занимает пост ответственного секретаря, как мы уже писали, имеет право лишь рекомендовать то или иное новшество, приказать никому ничего он не может. Поэтому, чтобы решить порой даже и пустяковый вопрос, Сабо приходится выходить в самые ответственные инстанции, настаивать, убеждать, спорить и выслушивать отповеди: опять, дескать, Сабо желает новшеств, десятки строек осилили, подумаешь — АЭС, и с нею управимся по старинке!..

Сабо улыбался, рассказывая:

— Один такой ретивый администратор все распинался, что полжизни он прокочевал по стране, по стройкам в вагончике, в котором даже и печки не было, и до сих пор иногда предпочитает есть всухомятку. У него в холодильнике, в кабинете, всегда зелень, молоко, яйца, он и их заглатывает сырыми: не все ли равно, дескать, где они сварятся, в кастрюле или в желудке?.. Так я на одном из совещаний специально для него рассказал известный анекдот о Тамерлане. Какой-то сородич хромого старца хвастался, что в сражении может восемь суток провести в седле без еды, сна, без воды... Тамерлан воскликнул: «Тогда тебе нельзя быть военачальником! Как поймешь ты моих воинов, которые после дневных трудов должны поесть и поспать!..» Все собравшиеся и высмеяли горе-победителя. Но он-то, этот деятель, до сих пор мне анекдота простить не может... Да, то бывает непросто — убедить в том, что не свою выгоду ищешь, а общую. Главное, слишком уж много времени уходит на пустые споры.

В частности и поэтому тоже Сабо говорил нам о необходимости создать в Пакше один полномочный главк, который бы совместил права и интересы всех заинтересованных в строительстве ведомств, чтобы был один хозяин.

А все же и тогда, когда мы были в Пакше, здесь удалось еще задолго до пикового разворота строительства осуществить то, что обычно-то доделывается, долатывается в лучшем случае одновременно с ним, а то и много позже. Руководствовались при этом одним главным принципом: многократно и с разными целями использовать те сооружения, которые в

ходе строительства вроде б и не нужны, по проекту они будут служить позднее — эксплуатационникам. Однако будущие складские помещения тут приспособили, например, для арматурного цеха или монтажной площадки. Не ставили бараки-общежития, а сразу построили в бывшем селе Пакш, которое в трех километрах севернее АЭС, комфортабельные дома. Пока живут в их квартирах, пользуясь всеми обычными благами горожан, строители, по шесть-восемь человек. Потом, когда они уйдут, достаточно будет лишь отремонтировать эти квартиры, чтоб передать их эксплуатационникам.

А на самой стройплощадке сразу возвели бытовой и административный корпуса, которые необходимы по проекту. И столовую на три с половиной тысячи мест, хотя пока-то такая большая вроде б и не нужна, но все же дешевле строить одну столовую, постоянную, чем еще — и временную, в которой никто не разрешит монтировать современное оборудование, а значит, никто не сможет, честно говоря, обслужить строителей по-настоящему.

И выстроили в жилом поселке Дворец культуры, детские сады, ясли, спортивный комплекс, комбинат бытового обслуживания. И котельную, пар которой понадобился для пуска первого агрегата АЭС лишь в 1980 году, уже поставили несколько лет назад: она отапливает жилой поселок.

Удивительно, как меняется психология строителей, стародавние их привычки, когда они видят на каждом шагу, что и их труд — не в лозунгах, а вот сегодня, сейчас, в мелочах повседневных — ценится ничуть не меньше, чем труд эксплуатационников, которые когда-то сменят их в Пакше. Нас несколько часов подряд возил по площадке Дмитрий Егорович Добарин и нарочно задерживал, заставлял оглядывать склады и механические мастерские, бытовки и полигоны — то, что повсюду на других-то стройках обычно прячется по задворкам, куда гостей стараются не водить. Нигде мы не видели даже и щепки, забытой, не убранной. Стройка действительно напоминала свой собственный макет, аккуратно раскрашенный художником красками чистыми, тщательно подобранными по цвету и тону.

Дмитрий Егорович, невысоконький, крепко сложенный, с лицом по-крестьянски круглым, обветренно-розовым, ничего нам и не объяснял, а только усмешливо поглядывал синепристальными глазами из-под очков и лишь в конце поездки признался:

— Я и до сих пор не пойму, как это получается: немалая стройка, одной земли перелопачено тысячи кубиков, и вся —

на юру, на ветрах, но вот даже и пыли,— тут он притопнул начищенным ботинком об асфальт, матово блестевший на солнце,— я никогда здесь не видел... Но нам-то, советским,— нас здесь сейчас уже сто двадцать человек и приедут еще человек шестьдесят пусконаладчиков — может быть, удивительней всего иное. Мы меньше, чем кто-либо в Пакше, можем приказывать, мы — всего лишь консультанты, но спросите у любого из наших: даже и не совет, а просто мысль, высказанная вслух, случайно оброненная, если есть в ней, конечно, зерно здравого смысла, уже на следующий день становится делом. Проверять, пробивать сказанное — этого не было в Пакше с самого начала... Вот ведь как! — и он с некоторою даже растерянностью развел руками.

...Перед тем как проститься, Сабо проводил нас до лифта. Было уже часов восемь вечера. Мы шли пустым просторным министерским коридором. У одного из окон Сабо остановился и показал вниз на скверик, спросил:

— Видите там скульптуру?..

Среди зелени сквера, освещенный косыми закатными лучами солнца, резко бросался в глаза багряно светившийся памятник из гнутых медных листов со множеством насечек. На невысоком постаменте будто вышагивали друг за другом мужские фигуры. Но были они не поврозь, а как бы и слитны — в едином ритме движения... Правая рука у каждого, сжатая в кулак, поднята; даже отсюда, сверху, видно было, что поверхность металла вся обработана скульптором, и оттого такая была игра света и теней, что создавалась полная иллюзия: вот у тебя на глазах люди эти, идущие явно впереди других, хоть и невидимых, противостоят всем мыслимым ветрам, медь их была звонко-упругой...

— Это памятник интербригадистам Испании, между прочим, единственный в Европе,— объяснил Сабо.— А сделал его грек, тут у нас, в Венгрии, обретший вторую родину, Агамемнон Макрис.— Бениамин помолчал и добавил вовсе для нас неожиданное:— В дни тяжкие, когда всяческая нежить обступала со всех сторон и делалось вроде б и безысходно, я иной раз приходил к нему... И ничего, помогало...

В сквере, когда мы смотрели на фигуры интербригадистов снизу вверх, они обрели иной ритм, тут была какая-то перекличка с разновысокими зданиями, стоявшими поообочь, с мостами через Дунай, видневшимися сквозь зелень ветвей, с небом, широко распахнувшимся во все стороны света, сейчас — золотисто-синим. И трагические отсветы блуждали по лицам обобщенно условным.

ПОБРАТИМ ЛЬВОВА



Пакш — вблизи автострады Будапешт—Печ. И отсюда мы поехали на юг Венгрии, в город Печ.

Можно было и ограничиться диаграммами ежегодника, который выпускается трестом «Венгрэнерго»; наши друзья энергетики из Будапешта регулярно присылают его нам домой, в Москву. И по ним проследить, как растет уровень потребления электроэнергии во всех областях страны — в среднем на 6 — 7 процентов в год, какую роль в этом играют новые электростанции и какова доля импортной энергии из Советского Союза, какие намечены новые капитальные вложения в развитие этой важнейшей отрасли промышленности и каковы нужды в энергии других отраслей,— ежегодник этот подробен, аналитичен, и мы могли бы выписать из него множество самых красноречивых цифр. Но, наверно, большинство

из них было бы понятно только специалистам, а читателя обычного если и заинтересует какая цифра,— только в связи с судьбой того или иного человека, небезразличного ему по иным причинам. Вот потому-то мы и едем в Печ.

Вся территория Венгрии разделена на пять округов, каждый из которых обслуживает свое подчиненное тресту «Венгрэнерго» предприятие энергосбыта, названия их звучат чуть торжественно и забавно для русского: «Титас», «Демас», «Дедас», «Емас», «Едас». Они тянут линии электропередачи напряжением в 35 киловольт и чуть повыше и занимаются их ремонтом, устанавливают необходимое оборудование на заводах и фабриках, в колхозах и жилых домах, доставляя энергию до страждущих клемм потребителей. А потом ведут контроль за ее использованием, ищут резервы экономии, стремятся уменьшить потери энергии в электросетях... Словом, работают здесь люди, которые лучше кого бы то ни было знают, насколько велика потребность в энергии той же строящейся в Пакше атомной станции или линии электропередачи сверхвысокого напряжения ЛЭП-750 киловольт, которая, связав нашу Винницу с маленьким городком неподалеку от Будапешта, Альбертиршей, на совершенно новой основе перекроила работу энергосистем социалистических стран, объединенных в одну,— журналистами принято ее называть системой «Мир». Впрочем, когда мы там были, эта уникальная по протяженности ЛЭП-750 еще только достраивалась, и о ней — речь впереди.

А пока — предприятие «Дедас» в городе Печ. Принимал нас экономический директор Ласло Матиаш (на венгерских предприятиях нет заместителей директора, есть — генеральный, а в каждой области производства — свои директора, это как бы подчеркивает их суверенность и значимость, но и ответственность тоже).

Так получилось, что мы приехали без переводчика, и Матиаш пригласил себе в помощь геолога Жужу Алмаши. Она вместе с мужем лет десять назад кончала институт в Днепропетровске. Кстати, и сын их Иштван учится сейчас в Москве, в химико-технологическом институте имени Менделеева, и, как выяснилось, даже и живет неподалеку от нас: мы у метро «Аэропорт», а он в общежитии у метро «Сокол». Забегая вперед, скажем: Иштван теперь — нередкий гость в нашем доме, приходит то посоветоваться о чем-либо, то передать новости от родителей, а то и просто поесть домашних харчей, когда уж очень надоедят студенческие.

Ласло Матиаш — высокий, широкоплечий, чуть начавший

полнеть, но еще моложавый, сильный, красивый человек. Немногословен и сдержан. Но темно-карие его глаза пристально-внимательны, постоянно размышляющие глаза, и по их выражению можно в любую секунду угадать его настроение. Поначалу они чуть встревоженные: он не очень уверен, что Жужа точно переводит специальные термины. А сама Жужа волнуется, краснея и бледнея попеременно. Она принесла с собой два толстенных тома венгерско-русского словаря. И время от времени начинает их лихорадочно листать, а мы каждый раз ее успокаиваем: как раз в специальных-то терминах мы уже успели поднаторець и на венгерском. Словари почти не понадобились. Правда, позже, ночью в маленьком доме отдыха «Дедаса», расположенном тут же, под городом, за горой Мечек, одному из нас они сослужили добрую службу: по формату словари как раз равнялись подушке, и очень удобно было подложить их под нее, чтоб голове повыше, привычней. Хорошо было спать на них.

Жужа — шатенка, гладко причесанная, еще по-девичьи тоненькая, с умными карими глазами, быстро освоилась со своей новой ролью переводчицы. Главное, как выяснилось почти тут же, все мы четверо одни и те же вещи оцениваем почти одинаково, и разговор разворачивался непринужденно, набирая свою глубину. Часа три мы пробыли в кабинете Ласло, весь вечер ездили, ходили по городу, а потом полночи просидели в комнатке дома отдыха... Если б выписывать разговор, увиденное во всех подробностях, пришлось бы писать — самое малое — повесть, со своим вполне разработанным сюжетом. Здесь же ограничимся лишь выжимками из нее, а начнем, пожалуй, все же с некоторых цифр.

«Дедас» обслуживает территорию в 18 тысяч квадратных километров. Ее северная оконечность — берега Балатона, южная — граница Югославии, которая всего в шестидесяти пяти километрах; взобравшись на просмотровую площадку телебашни Печа — вечер выдался тихий, ясный,— мы легко разглядели купы деревьев на этой границе. Здесь 865 населенных пунктов, из них — 12 городов, плотность населения — 100 человек на квадратный километр. Потребителей энергии — 500 тысяч; это — и деревеньки с несколькими десятками жителей, и сохранившиеся еще кое-где хутора, и металлургические предприятия Дунайвароша, и шахты Печа, и знаменитые на весь мир консервные заводы Капошвара, и мебельная фабрика в городе Мохач, типографии, печатающие литературу на многих языках,— всего не перечислишь.

Каждый следующий год потребление энергии возрастает

на 8 — 10 процентов, потому монтируют новые ЛЭП, их общая протяженность на территории «Дедаса» достигла уже 20 тысяч километров — немалое хозяйство.

Строятся новый химический комбинат и шахты в городе Барче, мясной комбинат — в Сексарде, бумажная фабрика — в Дунайвароше, которая, кстати сказать, будет использовать целлюлозу Усть-Илимского лесоперерабатывающего комплекса, он возводится совместными усилиями пяти стран сэвовского содружества («будет» — слово, которое устареет к выходу нашей книги; нам надо бы уже сейчас писать: «использует»). Поднимаются новые санатории, пансионаты на берегах Балатона. Ну и конечно же, расширяется и создается вновь ряд предприятий в самом Пече, одном из пяти самых больших городов Венгрии, промышленном и культурном центре. Здесь крупные угольные шахты и горные рудники, в управлении которых работает Жужа Алмаши, керамические предприятия, чьи изделия славились по всей Европе уже несколько столетий назад, кожевенная фабрика, экспортирующая перчатки в Японию и США, электротехнический завод, чьи изоляторы монтируются и на трансформаторных подстанциях, линиях электропередачи у нас, в СССР...

— Энергия везде нарасхват, и сколько ее ни дай — все мало,— рассказывал Матиаш.— Это — и сейчас. И в будущем положение не изменится, даже когда введут в строй ЛЭП-750 и АЭС в Пакше и новые мощности тепловых станций. Поэтому наша задача, постоянная,— искать внутренние резервы, уменьшать потери в сетях за счет правильной их эксплуатации, качественной профилактики, а главное — воспитывать характер потребителей. Если хотите — их нравы и нравственность. И тут находки могут быть самыми неожиданными...

Он привел в пример опыт соседей — предприятия энергосбыта «Демас» в Сегеде, которое сумело, в частности, перевести отопление целого жилого массива в Сегеде, выстроенного почти целиком после войны на правом берегу Тисы (район этот назван — «Одесса», в честь города-побратима Сегеда), на геотермальное топливо.

В Венгрии вообще много горячих подземных источников Во времена давние, когда на дунайской низменности существовала древнеримская колония Паннония, лагеря легионеров, а вслед за ними и целые города чаще всего и разбивались как раз близ таких источников. В черте Будапешта археологами раскопаны, в частности, остатки города Аквинка, теперь там — музей под открытым небом; можно пройти по тесным

улочкам Аквинка и увидеть внутреннее устройство домов, хитро оборудованную из глиняных труб отопительную систему, разветвляющуюся от подземных источников по всему городу, под фундаментами, под полами.

К 1990 году в Сегеде будет переведено на геотермальное топливо 110 тысяч квартир, 2,8 миллиона квадратных метров теплиц, 4 миллиона квадратных метров парников под полиэтиленовой пленкой. Если перевести эти цифры на количество мазута, который пока сжигается в топках котельных, чтоб обогреть все это хозяйство, то получится: 600 тысяч тонн дефицитной нефти в год можно будет использовать на химических предприятиях. Опыт этот перенимается и в «Дедасе».

— Или вот, взгляните-ка,— Матиаш протянул нам газету двухнедельной давности.

Информация. В Восточно-Чешском энергоуправлении, в Чехословакии, где сейчас нехватка электроэнергии, пожалуй, больше, чем в любой другой стране сэвовского содружества, провели такой эксперимент: сравнили расход электроэнергии в сорока учреждениях до весеннего мытья окон и после него. Разница выразилась в тысячах киловатт-часов!.. Там теперь проводят субботники и воскресники по чистке окон, светильников на заводах и фабриках. Мало того что это улучшает условия труда на предприятиях,— сэкономленную таким образом немалую энергию можно использовать там, где ее не хватает.

Матиаш уже дал задание подведомственным «Дедасу» предприятиям провести подобный же эксперимент. Известно, в любой энергосистеме существуют пиковые часы потребления энергии, и задача предприятий, подобных «Дедасу», свести эти пики к минимуму, чтоб электростанции смогли работать с равномерной нагрузкой в любое время суток. Это — идеал, конечно же, недостижимый на практике. Но тут в цене любая мелочь, которая зависит подчас от самых элементарных бытовых привычек миллионов людей. Например. Как заставить домохозяек греть бойлеры, электрокалориферы только ночью, когда высвобождаются мощности электростанций?

Ввели разные тарифы на потребление энергии — дневные и ночные. Установили соответствующие измерительные, контрольные приборы. Но и этого оказалось мало: люди стали зажиточней, и далеко не каждый станет считать форинты, чтоб ограничивать себя в своих же давних привычках. И тогда в тресте «Венгрэнерго», по инициативе главного инженера

Эдона Керени, решили внедрить в практику довольно несложные коммутационные устройства, которые устанавливаются на трансформаторных подстанциях 120/ 20 киловольт и связываются с помощью звука высокой частоты, около 200—210 герц, с группой потребителей. На каждую такую установку — тысяч десять потребителей, всем им теперь известен оптимальный предел расхода электроэнергии. Звуковые волны передаются по тем же проводам, что и ток, по принципу обратной связи. Если потребитель расходует энергии больше положенного, он отключается от сети автоматически, по сигналу от электронного датчика. Эти установки были разработаны в Швейцарии. Венгры купили лицензию на их производство, и необходимую аппаратуру выпускает завод электроаппаратов в Будапеште.

Эксплуатация первой пробной установки в городе Дьёре показала: монтаж такого кругового управления для десяти тысяч потребителей стоит не больше трех тысяч форинтов, а экономия будет измеряться миллионами. И они внедряются по всей стране, и в Пече — тоже.

Матиаш на память оперирует сотнями цифр, мгновенно выполняя любой расчет, о каком только мы ни попросим. Мы удивляемся. А он парирует: это, дескать, элементарно для любого современного руководителя, тем более теперь, в век централизации управления, не миновавшей и «Дедас». За последние годы вместо 180 дочерних организаций в «Дедасе» осталось лишь 47, вдвое сократилось, в частности, и количество финансовых работников, да и рабочих с каждым годом меньше, но за счет внедрения новых механизмов, более совершенной технологии труда его производительность ежегодно увеличивается на 8—11 процентов... в том числе — ремонтников... линейщиков... управленческого персонала... Снова — поток цифр.

Посмеиваясь, Матиаш вдруг сказал:

— А к цифрам у меня отношение особое с мальчишеских лет: был я когда-то ходячим счетчиком-контролером, которых теперь заменила автоматика...

Ласло рос в маленьком поселке под городом Веспремом, чуть севернее Балатона. И когда умер отец, перед войной, осталось их в семье пятеро: Ласло, две его сестры, одна из них тяжело болела с детства, бабушка и мама, которая, хотя и кончила когда-то акушерское училище, но на своей родине, куда они все вернулись после смерти отца, нигде не могла найти работу, потому что вышла-то замуж за католика, а там, под Веспремом, жили одни лишь истовые протестанты,

и они не могли простить землячке измену вере: вера разделяла людей на касты не меньше, чем деньги.

Впятером ютились в комнатенке для прислуги, у бабушки, которая обстирывала еще и соседей. И вот один-то из них, владелец предприятия, эксплуатирующего местные электросети, по просьбе бабушки и принял Ласло к себе на работу. Было Матиашу тогда лет шестнадцать, днями напролет он ходил из дома в дом, проверяя показания электросчетчиков, выписывая квитанции. Чаще всего с утра до вечера — без маковой росинки во рту. Потом даже и во сне в голове клубилось от цифр. Одновременно он учился уже и на электромонтера, мог быстро на ходу починить проводку — хоть и малые, но перепадали за это деньжата, которые он всегда отдавал матери.

Много разных разностей пришлось ему увидеть и выслушать, бродя так вот из дома в дом. Кто только не жил в округе: и бывший министр на пенсии, и чванливый полковник в отставке, и люди победнее... Невольно приметил Ласло: скупее всех богачи. И когда однажды дородный полковник за выполненную работу одарил его, как нищего, жалкими двадцатью филлерами, по русскому счету — гривенником, Ласло вынул из кармана и отдал ему свой заработанный раньше пенго, монету — самую крупную.

Матиаш умолк, вспоминая свое.

— И что полковник, Ласло?

— Отказал в работе бабушке: она и у него стирала белье.

Он взглянул на часы. Видно, больше не хотелось ему сейчас ворошить давнее. Предложил:

— Пока еще светло, поедемте-ка лучше смотреть город.

В Пече — самый старый университет в Венгрии, ровесник краковского: ему уже шестьсот лет. Отделение Академии наук. Национальный театр оперы, труппа классического и современного балета, известная во всем мире, музеи двух примечательных художников — Вазарелли и Чонтвари, свой литературно-художественный журнал, студия телевидения, газеты — на языках всех национальностей, которые здесь живут: венгерском, сербском, немецком...

Печу уже две с лишним тысячи лет. Римское его название — Сопиана. Через несколько дней после возвращения в Москву — бывает же так! — мы случайно наткнулись в «Известиях» на информацию. Вот она:

«Когда экскаваторщик сбросил в отвал очередной ковш породы, вниз по отвалу покатилась целехонькая бронзовая

голова. Прибывшие к месту происшествия специалисты из областного города Печ (Южная Венгрия) без труда определили: это Марк Аврелий — римский император. Высокие художественные достоинства скульптуры сразу же привлекли внимание специалистов: печский музей планирует показать ее на международной выставке в Вене».

Тщеславный Марк Аврелий даже и в честь самых малых своих побед без всякой жалости предавал закланию целые стада быков, потому современники сложили о нем такие стихи:

С белою шкурой быка приветствуют цезаря Марка.
Если ты вновь победишь, все мы погибнем тогда.

Верхнюю Паннонию часто грабили в те давние времена германские племена квадов. Однажды они даже перевалили через Альпы и вступили в Италию, осадили и сожгли несколько городов. А в тот же год племя костобоков, обитавшее в Восточных Карпатах, проникло в Грецию, дошло до Элевсина, чуть севернее Афин, и разрушило там знаменитый храм Деметры, построенный еще при Перикле.

Марк Аврелий вынужден был объявить в Италии, которая сто лет перед тем не знала воинских наборов — предпочитала обходиться кровью варваров-рабов,— всеобщую, как мы бы сказали теперь, тотальную мобилизацию. Были сформированы два Италийских легиона, в деньги перелили золотые сосуды из императорского дворца, продали картины, статуи и драгоценности императрицы. Но к бедствиям прибавилась еще и чума, занесенная легионерами с востока. От границ Персии до Рейна и Галлии она косила все живое. Италийские легионы почти целиком погибли под Карнунтом — близ нынешней Вены...

И лишь несколько лет спустя, в 172 году Марку Аврелию удалось одержать первую победу над квадами — не то чтоб значительную, война длилась потом еще много лет, но во всяком случае именно этим годом открывается список побед на известной колонне Марка Аврелия в Риме, которая и посейчас стоит, затерянная среди современных зданий, на площади Колонны, названной так в ее честь. Совсем невзрачная колонна, рельефы на ней лишь тщатся быть торжественными,— один из нас видел ее лет пятнадцать назад, когда был в Риме.

Мы не могли не вспомнить все это, когда Матиаш остановил машину у развалин древней крепостной стены. Но и другая причина была воспоминаниям.

Руднева, один из авторов книги, впервые-то попала в Венгрию как раз, когда Дунайская военная флотилия здесь тралила мины. А первый ее большой город в Венгрии был Сегед, теперь соседствующий с Печем областями, взятый после тяжкого сраженья. Но — чудо! — уцелел громадный собор. Он был пуст и темен. Но в нем играл орган — хорал Баха «Христос, который шел за нас на смерть». Случайный, наверно, органист. А может, и сумасшедший: еще недавно по ребрам улиц, словно бы пересчитывая их палкой, выстукивали очередями автоматные пули... А под сводами собора роились звуки хоралов. В паузах был слышен шелест мехов органа: будто тихий дождь накрапывал дробно о высокие витражи, о крышу собора, слабо и тревожно. И все остальное оттесняла музыка Баха. Казалось, она вместила в себя всю тревогу и боль, муки и горе, все выстраданное за все проклятые годы войны.

Играл орган. А кругом собора — пустые черные окна — глазницы домов. И лежала кругом Сегеда, по всей дороге до Будапешта разоренная страна. По голым полям бродили сельчане, выискивая в земле прошлогодние, случайно оставленные картофелины,— согбенные людские фигурки на весенних сквозных просторах...

Память об этом прихлынула, словно огнем обожгла, так внезапно, что сразу и сообразить невозможно было: что ж пробудило ее?.. Неужто Марк Аврелий, который, кажется, здесь, в Сопиане и начал писать свое сочинение «Наедине с собой»?

Но мы-то, в тот миг вспоминая иное, уже не могли даже вернуться к машине Матиаша, новенькой «Татре», такой уютной, удобно-убаюкивающей своим почти бесшумным, мягким ходом. Пошли пешком.

И как хорошо, что отпустили машину — это выяснилось почти тут же: иначе бы нам не понять, не почувствовать Печ. Он был полон жизни наивно-пестрой, пленительной, будто бы первозданной, город, который нельзя не полюбить, хоть раз приехав сюда.

Печ стоит на зеленых холмах и сам утопает в зелени каштанов, яблонь, лип, дикого винограда и окрестных буковых рощ. Верхушки холмов согласно перекликаются под высоким синим небом, и оттого пространство вокруг тебя не сдавлено ими, как это часто бывает в горах, а наоборот, на каждом повороте улиц, на каждом шагу еще раздвигается вглубь и вширь, ты знаешь заранее: на следующем шагу город распахнется совсем по-иному, сломав прежние ритмы

горбатых проулков и бегущих ручьев зелени и выстроив новые, которые, сколько ни жди их, всегда внезапны. Улицы разбегаются замысловатыми изгибами и вдруг смыкаются в правильные концентрические круги. Там, где ты думал увидеть церковь — вроде бы вот только что ее шпиль замыкал перспективу,—видишь головокружительный провал неба, а там, где по всем расчетам должна была просторно лечь автострада, встает за поворотом древняя стена — коричнево-серые плиты песчаника, обвитые, как плащаницей, зеленым плющом. Печ нельзя не полюбить за эти чудеса, которые он непрерывно творит с пространством.

Он весь в гору и весь с горы. Даже центральная соборная площадь скатывается широкими пологими ступенями — паперти, и каменной площадки перед торжественно-строгим епископским дворцом, и тротуара, обсаженного в два ряда могучими каштанами, и узкой полоски шоссе, и сквера, сдавленного с боков старинными домами, с окнами вытянутыми, узкими, печально-строгими, а ниже них — ступень второй ленты асфальта. Собор стоит на вершине этой причудливой лестницы и еще поднят ввысь четырьмя шпилями на углах; в легких этих шпилях, в сложной простоте настенного орнамента изящное, одухотворенное веселье, особенное, которое только и свойственно католическим храмам. А в самом низу замыкается площадь еще одним шпилем — другой, надвратной церкви, наверно, какого-нибудь бывшего монастыря; шпиль этот монументально-строг. Но даже и в таком смешении стилей — не эклектика, а согласие, подаренная тебе возможность оставаться самим собой, человечность.

Ласло Матиаш сказал:

— Это самая красивая площадь в Венгрии.— И не было в его голосе нот торжественных: он просто подтверждал очевидное.

И Жужа Алмаши, переведя слова его, еще добавила от себя:

— Когда мне бывает худо на душе, я прихожу сюда. И вот что странно: даже и с закрытыми глазами, сидя на лавочке в сквере, все равно вижу эту площадь, как она меняется постоянно... Может — по звукам?..

И мы все долго почти ничего не говорили, вслушиваясь в город. Печ нельзя было не полюбить хотя б за звуки, которыми был полон тот день.

Звонкие удары об асфальт перезревших каштанов — они срывались с ветвей и, прошелестев о листья, с цоканьем раскалывались надвое. И неровные людские шаги по нетесаным

камням соборной площади. И печальный звон колоколов, откликавшийся долгим эхом в окрестных горах. И шелест автомобильных шин, который вдруг становился гулким в узеньких средневековых улочках. И возвращение их устоявшейся тишины, водопадом ниспадающей на тебя, как только машина проедет мимо. А то — ритмичный шелест балетных туфель; в здании рядом с театром оперы, на втором этаже, сплошь застекленном, шли занятия танцовщиц, тени их метались по стеклу, как ночные бабочки, залетевшие в комнату, а казалось, мечутся, бьются о стекло сами звуки. И внезапный жужжащий свет реклам, разноязычный гул туристской толпы, когда переулки опять выныривали к площадям центральным. И терпкий запах винных подвалов — они здесь лежат чуть не подо всем городом, запах пробивается сквозь асфальт, камни, будто бы слышишь, как воздух, наполненный им, потрескивает, шуршит, дурманя голову. И скрип старого, рассохшегося окна, которое закрывают на ночь...

Но это уже было позже, много позже... А сперва мы вошли в прохладную полутемь собора на центральной площади.

Мы разглядывали небольшую деревянную скульптуру Христа. Он вышагнул из полутьмы собора навстречу нам, далеко выставив вперед правую ногу, прижав левую руку к нижним ребрам, будто б рану ею закрыв, полученную на Голгофе, но на самом-то деле ее показывая: ладонь была под багровым рубцом. А правую руку приподнял так, словно собрался приплясывать в горестном еврейском танце — вывернув ладошку вперед и вверх. Одна лишь набедренная повязка на нем да терновый венец на длинных черных волосах, испуганно-недоуменные глаза. Что-то простодушно-детское было и в позе этой, и в движении рук. Скульптура напоминала чем-то наших русских средневековых юродивых страстотерпцев, какого-нибудь Ваську Блаженного,— может быть, прежде всего наивною добротой резчика, бросавшейся в глаза... И невольно встали в памяти другие старые скульптуры, увиденные в этой и прежних поездках.

Святой Иероним, вот так же выглянувший на нас из сумрачной ниши Хальберштадтского собора в ГДР: нелепый, длинный и тощий, в громадной шляпе с круглыми полями и в плаще, перепоясанном веревкой. Древоточцы испятнали его лицо черными точечками, получилось — вроде ухмылки. Перед ним на задних лапах — лев. Святой большой, а лев маленький, как пудель,— может, выслуживал кусочек сахара.

А Иероним — добряк, но в улыбке — и недоверие тоже: мол, знаю я вас, как вы умеете прикидываться ручными собачонками! Знаю: рано или поздно сожрете меня, хоть я и кормлю вас... А может, он просто по старческой слепоте не отличал льва от пуделя, волчицу от кошки и равно тянул всем руку?

И другой лев — уже из собора Матиаша в Будапеште — на надгробии какого-то короля. Как-то не захотелось и имя короля запоминать, от его-то скульптуры, лежащей, только и остались в памяти — острые коленки, выглянувшие из-под лат, а все внимание забрал себе этот лев, лежавший в изножье. Такая у него была скукоженная от безысходной тоски морда, такие печально сложенные лапы — трагический лев!.. И там же в соборе Матиаша, в музее церковной утвари,— распятие: мускулистый Христос, с лицом искаженным, перекошенным от боли, а в то же время — тихо-печальным,— сочетание вроде б и невозможное. Но ведь в этом все чудо Христа: соединении несоединимого.

А еще — рельеф святого Георгия в подвалах будапештского Рыбацкого бастиона, вырезанный из коричнево-серого камня: что-то в нем было игрушечно-пряничное, в том, как замахивается он копьем, в самой позе дракона, развернувшегося в одной только плоскости — напоказ будто, глуповато-наивном лице принцессы, склонившейся с башенки замка неподалеку,— похожих Георгиев можно найти на русских лубочных картинках.

И это, и многое еще невольно вспомнилось: невероятный по богатству своему музей готической скульптуры во Вроцлаве и средневековое пражское собрание, иконы мастера Теодорика в Карлштейне, в королевском замке — всего даже и не перечислить, что всплыло перед глазами, пока мы разглядывали эту скульптуру в печском соборе. Но в памяти-то увиденное в разные годы, в разных странах перекликалось.

Искусство вроде б и самых далеких друг от друга народов часто ходит путями близкими, и мы порой даже и сами не подозреваем, сколько у всех нас общего. То ли потому, что еще плохо знаем друг друга, а может, и оттого, что история-то, с ее бесчисленными войнами, многосотлетними самоутверждениями государств в своих границах национальных, в своей особливости, по большей части, только и подсовывала нам на глаза разность нашу, отличия, забывая о главном: все мы родственны на этой земле.

Мы, вдвоем, о чем-то переговаривались тихонько и вдруг услышали вопрос, заданный нам сперва по-польски, а потом

и по-русски чьим-то надтреснуто-взволнованным голосом за нашей спиной:

— А вы не хотели бы, чтоб все объяснили вам на родном языке?

Оглянулись. Перед нами стоял маленький человечек, в вытертом до нитяной седины, мятом темном костюме, лысый, лишь над воротником топорщились белые редкие волосенки, светлые глаза смотрели с рыхлого лица искательно.

Между тем служка в черной сутане с крахмально-белым воротничком начал раскладывать, прибирать что-то у алтаря, а из ближнего притвора донеслись озабоченные мужские голоса — к службе готовились?

— Мы бы с радостью, но удобно ли здесь, сейчас?..

— Со мной все удобно! — радостно воскликнул человечек.— Я же священник. Хоть и не в этом приходе... Нет, не беспокойтесь: это — не служба. Это собрались мы... ну как бы вам сказать?.. по-русски — на семинар, да? Еженедельный. Со всех приходов. И семинар уже кончился.

— А как вы позволите называть себя?

Он смутился. Даже и пухлый маленький нос вспыхнул красноречивым багрянцем.

— Фамилия моя — Файт. Владимир Адамович Файт. Но я уж отвык от светского имени: отец Владимир... а вы можете говорить просто — Владимир. Так вам будет удобней? Пшепрашам! — вдруг вымолвил он опять словечко польское.

— Так лучше тогда — пан Владимир?

— «Пан Владимир» — это прекрасно! — воскликнул он с неожиданной, детской какой-то радостью.— Это... это... ну я вам потом обскажу, если вы захотите, конечно, почему это так прекрасно! «Пан Владимир»!.. А что вам показать здесь? Что вам любо? — Он говорил, чуть растягивая гласные и как бы смакуя отдельные слова: «любо», «обскажу»...

Мы объяснили, что ближе всего нам в католических храмах искусство готическое, и пухлые крохотные ручонки его суетливо забегали, одергивая, прибирая пиджак, рубашку.

— Тогда идите за мной, туда,— он показал на дверь в притворе, за которой слышны были голоса, и добавил смущенно: — К начальству, знаете... у всех есть свое начальство! Там — надгробья, собраны старые надгробья.

— Да удобно ли это?

— Вы — гости! Вам обязательно надо это увидеть! Пой-

демте, пока еще не закрыли комнату на ключ! — И он, взяв нас за руки, потащил за собой. Темперамент, однако!..

В светлой, просторной комнате было полно народу — все больше ординарные, будничные лица, затрапезные пиджачки — встретишь на улице, никак не отличишь в них священников. Переговаривались, стоя по двое, по трое, а иные спешно дописывали свое в толстые тетради, сидя за длинными широкими столами. Вполне студенческий семинар... У входа стояло человек пять вокруг высокого, статного мужчины с лицом величественно-суровым. К нему-то и подошел пан Владимир, что-то спросил по-венгерски, тот кивнул, на нас не взглянув, и пан Владимир — обрадованно, порывисто — к нам:

— Будьте так ласковы! Пшепрашам!..

И потащил нас к двум каменным стелам XVI столетия, прислоненным к дальней стене, в углу. На них были высечены фигуры каких-то епископов, лицом похожих на человека, стоявшего сейчас у двери. Что-то объяснял пан Владимир, торопливо и восторженно комкая слова. Но он сам был куда интересней своих пояснений, да и Ласло с Жужей ждали нас на соборной площади...

— Пан Владимир, если вы не против, может, мы где-нибудь просто посидим, поговорим?

— Паньство имеет время? — воскликнул он, и светлые его глаза просто-таки солнечно выжелтились от радости.— Я бы пригласил вас к себе. Мой приход рядом — десять минут ходьбы. Церковь святого Антония, вы не видели? Хотите взглянуть?..

Но тут же и встревоженная тень пробежала по лицу. Он стал объяснять: мол, не надо стесняться, мы не первые из русских будем у него в гостях; как-то он притащил к себе целую экскурсию из Ленинграда, человек двадцать, а другой раз — весь вечер и ночь напролет просидели в его комнатенке двое грузин, они даже свой коньяк выставили, по-русски говорили плохо, но все время повторяли ему: «Для тебя, отец, мы — русские», и пели они на три голоса «Сулико»... Пан Владимир, уже стоя на соборной паперти, и нам напел тихонько:

— «Где же ты моя, Сулико?..» Помните?..

Было что-то суетливо-испуганное в том, как он все это спешил выложить, будто боялся, что мы его оттолкнем каким-нибудь сухим словом.

Ласло сказал:

— Конечно, пойдемте!

2 Заказ 1098

И мы всей компанией двинулись вверх по узенькой горбатой улочке.

— Сегодня для меня праздник!.. Дюже пшиемно все для меня! — восклицал пан Владимир, семеня рядом. Он даже попытался забежать в какой-то дом по дороге, объяснив:— Тут я вина возьму, хорошо? Прекрасное вино, самоделка!.. Не хотите? Ну хорошо, хорошо, я не настаиваю! А вы знаете, с кем я однажды пил вино? С самим маршалом Толбухиным!.. Когда фронт пришел сюда, меня взяли в штаб переводчиком: тогда здесь никто не знал пшиемно и русский и венгерский зараз. О-о, это были великие дни! — Польский, украинский, русский — все смешалось в его речи.

— Да как вы-то здесь очутились? Вы — русский?

Он и сам не очень понимал, кто же он все-таки есть. Отец его, Адам Михайлович Файт — венгр, попавший в русский плен в первую мировую войну, познакомился с его матерью — «маминькой» — в Одессе, она — полька, Мария Кубик. А жили они в Белой Церкви, там и родился Владимир. Отец был прекрасным портным, мог сшить все: фрак и посконную крестьянскую рубаху. Но очень пил. В пять дней пропивал то, что зарабатывал перед тем за месяц. Нище жили. Иногда только тем, чем одаривали их соседи. А уже — двое детей: кроме Владимира, еще и сестренка. И когда разразился голод тридцать первого года, родители решили уехать в Венгрию. Кое-как добрались до границы, но там их высадили с поезда: у матери, советской подданной, не было разрешения на выезд. И вот там, на железнодорожной маленькой станции, они прожили две недели без куска хлеба, пока какой-то таможенник не то пограничник — «совсем малесенький чин!» — не сжалился и на свой страх и риск не разрешил пробираться дальше.

Когда они приехали в деревушку под Печем, где жила мать отца, у них только и было с собой — четыре подушки, четыре ложки, четыре вилки, одна кастрюля и — ничегошеньки больше!.. Но поднялись. Отец с полгода не пил. А потом, правда, быстро сгорел от вина. Учился Владимир в школе бесплатно — как отличник...

Но тут мы подошли к церкви святого Антония, не старой, прошлого века, наверно, с пузатым зеленым куполом над желтой, окатой крышей, и пан Владимир, забежав вперед, открыл боковую дверку, вынув ключ из кармана, щелкнув в темноте выключателем, одним и вторым, третьим — во всех окнах вспыхнул свет.

— Пшепрашам! — воскликнул он взволнованно из глубины.

Церковь недавно отремонтировали. На стене — два больших металлических рельефа под готику. Алтарное возвышение, стол для святых даров, изножие для библии — из свежеобтесанных глыб розового мрамора. Пан Владимир все показывал, то отбегая к стенам, то возвращаясь к алтарю. Каждый раз, прежде чем вступить на его плиты, он быстро обмахивал себя крестным знамением, преклонял секундно колено, будто бегун перед стартом. Спросил, явно удивить желая:

— А сколько б, вы думали, весит этот мрамор?

Мрамор, мы знали, тяжел. И нарочно назвали цифру побольше: тонна, по крайней мере.

Три тонны! — воскликнул, торжествуя, пан Владимир. Целых три! И это же вельми драго сто́ит! — тут он назвал совсем уж немыслимую для нас цену: сколько-то десятков тысяч форинтов. Впрочем, никак мы не могли привыкнуть к валютному пересчету — сто форинтов за шестнадцать рублей, и долго для нас любая цена — в форинтах — казалась несусветной.

— Откуда же деньги такие, пан Владимир? Много ли у вас прихожан?

Он оглянулся, словно бы исподтишка, словно боялся, не услышит ли кто еще, ответил:

— Если честно, мало. Очень мало. А точно сказать не могу.

— Но все же, сколько примерно верующих среди жителей?

Хорошо, если процентов пятнадцать. Или десять даже! Всего! — воскликнул он чуть не с удовольствием. Видно, и этим хотелось ему нас порадовать.

— Все же немало.

— То так! Так!.. Но живем-то мы чуть не за счет одной только помощи из Будапешта.

— А сколько платят вам, если не секрет?

— Совсем мало. Восемьсот форинтов в месяц,— и тут же поспешно добавил:— Но мне хватает! Это же — римско-католическая церковь, я один, без семьи, у меня ж обет безбрачия — хватает!.. Правда, маминька еще жива. Она здесь — под Печем, в деревне. И стыдно бывает приезжать к ней с пустыми руками. Но — ничего, я не жалуюсь. Вот вы посмо́трите сейчас, как я прекрасно живу: это — рядом!..

И опять он стремительно побежал к выходу, беспокоясь явно о нашем времени, не о своем.

Он занимал угловую темную квартирку на первом этаже, одна комнатенка — кладовка, кухня? — совсем без окон, вторая — вся заставлена не новой мебелью, случайной, не иначе подаренной прихожанами: продавленные кресла, пузатый буфет и комод, какие-то сундучки один на другом, обитые бронзовыми наугольниками, круглый громадный стол... На всем лежал толстый слой пыли. И окна светились тускло.

— У меня даже холодильник есть! — объявил пан Владимир и вынул из него литровую бутыль кока-колы и пиво — кому что по нраву.

Ни секунды он не мог посидеть спокойно. Доставал из металлического ларчика, закрывающегося на ключ, фотоснимок 1902 года, в углу которого витиеватым почерком было выведено: «Скорая электрофотография «Урсус», Варшава, площадь Св. Александра, 9». На ней были две женщины, похожие друг на друга, с лицами тонкими, умными («То маминька со своей сестрой, сестра уже вмерла...»). И тут же школьный свой аттестат показывал по очереди каждому, чтоб обязательно разглядели: одни только «единички» в аттестате, по-нашему — «пятерки», вот каким способным, прилежным парнишкой был пан Владимир!.. Из этого же ларчика — почтовую открытку с печальным российским пейзажем: березки, проталины в снегу, дорога, следы полозьев на ней... Пан Владимир и ее заставил всех рассмотреть, пояснив: эта открытка — от девушки из той ленинградской группы туристов, что была в гостях у него.

— Вот что она пишет, послухайте! Вы только послухайте!.. «Здравствуйте, Владимир Адамович! Ко мне вчера приехала из Белой Церкви моя подруга по институту, из той самой Белой Церкви, где и вы когда-то жили, а я так представила себе вас, и как мы сидели в вашей комнатке, и как пели песни, поэтому и решила написать вам, чтоб еще раз сказать свое спасибо за тот сердечный вечер...»

Пан Владимир прижал открытку к сердцу, поднял ее над головой и опять прижал к сердцу.

— Это такой подарок был для меня! Такой!.. Я тут же ответил. Но почему-то она больше не пишет. Но это не важно! Важно, что вот она, тут, есть у меня! — и он поцеловал открытку и спрятал в ларец.

И так он метался, рассказывая то одно, то другое: вспоминал отца и маминьку, какими они были раньше, и как искусно, стремительно освободили наши, русские войска Печ, окружив его, запечатав все дороги чуть не в один день, потому

только и не был разрушен город, и как бедовала его семья в тридцать первом, в Белой Церкви, Владимиру было тогда шесть лет, и какое же счастье было, когда знакомец их взял его к себе вроде как помощником — грузчиком на фуру, которая развозила хлеб...

А какой из меня грузчик? Ну совсем же малюсенький хлопец! Сам чуть побольше буханки. И вот помню, подъехали мы поздно вечером к станционному буфету, оттащили туда остатки хлеба, а последнюю-то буханку возчик вдруг сует мне за пазуху и говорит: «Беги, малец!» — «Как — украсть?!» — «Беги, дурошлеп, пока нет никого!» — и так я и побежал в потемках с буханкой хлеба за пазухой, целой буханкой!..

Тут Ласло сказал грустно:

Вот ведь как бывает: вы в шесть лет воровали хлеб и стали священником. А меня за благонравие, за отличные оценки в начальной школе взяли служкой в церковь, а родные мечтали отдать меня в семинарию. Ходил я, размахивая кадилом, вслед за священником. А теперь — секретарь партийной организации. Ну не странно ли?

Мы не знали, нет ли еще каких-нибудь неотложных дел у Матиаша.

Ласло, ничего, что мы здесь задерживаемся? Вы не торопитесь?

А если бы и торопился, это — не важно. Я люблю узнавать людей, а это — человек с трудной судьбой.

И тут вдруг пан Владимир объявил:

— А сейчас прошу внимания: я буду петь!

И выступил на середину комнаты, сомкнул на груди маленькие руки, закрыл глаза и запел старую украинскую песню — о парне, который плачет, стоя над рекой, потому что потерял свою любимую, сгибла она, и ничем ее не вернешь... Голос у пана Владимира был несильный, но хорошо поставленный, видно, на церковных службах, и чистый еще, а главное — такая пробивалась в нем боль, такая!.. Не о потерянной дивчине он пел: о родине. Парня из песни кто-то упрашивал не лить слезы попусту. А он отвечал:

Не можу не плакать: сердце гние!..

И, выговорив эти слова совсем тихо, пан Владимир заплакал. А мы неловко захлопали в ладоши и восклицали что-то о голосе, чувстве, с которым исполнил он песню. Пан Владимир стоял, не раскрывая глаз, и катились из-под век по пухлым, мятым щекам слезы. И все слова наши звучали

неубедительно Он, должно быть, и сам почувствовал это, вскинул голову и, открыв глаза, воскликнул:

— Такой у меня сегодня праздник! Дюже пшиемно мне все!.. Я... я лучше вот что спою! — и запел — уже венгерскую, плясовую, притоптывая. Ласло подхватил песню, а вслед за ними — и Жужа. А у нас будто камень с души.

Часом позже мы прощались у калитки, сюда уже подошла машина Ласло. Пан Владимир обнимал каждого, потом побежал открыть дверцы «Татры», опять обнимал... Наконец, поехали, оглядываясь. Он стоял у калитки, махал-махал руками, пока улица своим горбом не заслонила нас от него.

Минутой позже «Татра» наша поднималась на гору Мечек. Мелькали пообочь, снизу и сверху темные купы деревьев, кустов. Еще поворот — мы оказались на освещенной асфальтовой площадке. Ласло Матиаш попросил шофера остановиться. Мы вышли. Город далеко внизу зажегся огнями. А тут прямо перед нами два прожектора выхватили из сумрака памятник: на высоком постаменте, над самой кручей, стремительно и темно падающей вниз, не стояла — летела фигура с резкими изломами крыльев. Будто скрученные ветром, они все же приподнимались вверх в невероятном усилии, смыкаясь так, что можно было думать — фигура олицетворяет сам ветер, очистительный, вихревой. И что-то вызывало в памяти античный образ богини Ники. Скульптура-символ будоражила воображение, мысли, будила тревогу.

— Это — монумент в честь воинов Советской Армии, павших и живых, в честь освобождения Венгрии,— пояснил Ласло.

Мы присели поодаль. Подождав, пока мы как следует разглядим скульптуру, он вдруг сказал:

— В мои последние дни войны ох и ветер был! Не символический, вполне земной. Такой промозглый! Он меня уложил с воспалением легких.— Ласло поежился и замолчал.

— А где это было, Ласло, как?

После всего происшедшего за день, видно, он уже не мог не рассказать о тех тяжких днях.

Ему не было еще и восемнадцати, когда фашисты насильно забрали его в ополчение. Сперва он попал даже и не в армейскую часть: вместе с другими парнями, кто посильней, жившими на берегу Балатона, ему приказали ночами на рыбацкой лодке выходить на озеро, в охранение: южный берег озера почти сплошь заняли уже советские войска.

Было это близ поселка Балатональмади. Как раз там — надо ж! — в новомодерном отеле «Аврора», в номере на самом верхнем этаже, ночевал один из нас в предыдущую свою поездку по Венгрии. Стояла сырая зимняя погода. Ночью громыхал ветер листом балконной ограды, врываясь в комнату даже сквозь закрытую дверь, шелестел страницами раскрытой тетради на столе... Внизу вдоль берега шла железная дорога, как раз напротив отеля — станция, ярко освещенная фонарями. В их свете видна была кромка белопенного прибоя и закраина теряющегося во тьме залива. Небо на юге было чернильно-черное, оно будто опрокинулось, пролилось в озеро, смутно колыхавшееся вдали. А к берегу волны приходили не накатом, а сшибаясь на мели, дробились, всплескивая высоко, скручиваясь в немыслимой круговерти. Страшно было даже подумать, что сквозь такой вот прибой может кто-то уйти в открытую воду.

И ветер, ветер до самого рассвета гудом гудел. А может, то постанывал железный узенький виадук над железнодорожной станцией. Даже и издали видно было, как напрягались пластинчатые его перильца.

В такие вот ночи и выходил на веслах в озеро Ласло Матиаш. Но в одну из них этим штатским парням выдали военную форму и погнали на южный берег. Лишь на минуту он успел забежать домой, проститься, бабушка сунула ему в ранец кусок домашней колбасы. Конечно же, он понимал: война безнадежно проиграна немцами, она вообще бессмысленна — такой вывод ему нетрудно было сделать давно, во время своих обходов многочисленных домов округа, когда снимал показания электросчетчиков, — всяких людей пришлось повидать, понаслушаться разговоров разных. И когда обнимал второпях мать и бабушку, было искушение убежать, спрятаться, но выход из дома был один, а на улице уже орал ефрейтор, разыскивая его.

Всю ночь их гнали чуть не бегом, сперва — по шоссе, а потом — по бездорожью, ноги вязли в сырой пашне, но они шли и шли, пока не свалились изнемогшие от усталости в каких-то наспех отрытых укрытиях и забылись — не во сне — в беспамятстве, таком же зыбком, как и рассвет, вставший над ними. Даже не выставили охранения. Юнцы, новобранцы. А очнулись от окрика русского, приказавшего встать, сложить оружие, вещи. Ласло, у которого не было даже винтовки, бросил в общую кучу свой рюкзачок, об одном жалея: что не успел даже попробовать колбасы, сунутой ему бабушкой.

Два дня их держали в каком-то погребе, а потом пешком на юг, вдоль железнодорожной насыпи. На теневом ее склоне еще лежал местами нерастаявший снег. Черно, страшно выделялись на нем пятнами трупы убитых. И дул, не стихая ни на мгновение, все тот же пронзительный ветер. Потом — три недели в лагере военнопленных на окраине городка Темешвар. Однажды вечером вдруг — дождь, ливень; Ласло скинул с себя всю ненавистную эту зеленую форменную одежду, пропитавшуюся духом гнилых испарений, и в чем мать родила выбежал из барака во двор, под холодные струи, падавшие с низкого неба, чтоб хоть как-то помыться.

И в ту же ночь часть из них, в том числе и Ласло, погрузили в теплушки и повезли в сегедскую тюрьму для военнопленных. Ласло после ливневого купанья свалился от жестокого двухстороннего воспаления легких. Он терял сознание. Его вынесли в лазарет. Сколько он там пролежал, Матиаш не знает.

В мае вдруг объявили: тех, кому нет еще восемнадцати, отпускают по домам. А Ласло как раз здесь, в сегедском лазарете, встретил свой восемнадцатый день рождения — 21 апреля и уж думал: теперь-то уж больше не повезет, отсюда не выбраться... Но вдруг, едва он начал ходить, его вызвал к себе врач-венгр из Красного Креста и сказал: «Ты можешь отправляться домой».

Два дня пешком и на крышах переполненных вагонов он добирался до Балатональмади. Когда вернулся, весил всего-то тридцать семь килограммов, и это при росте — метр восемьдесят пять. Дома, выхаживая его, продали последние тряпки. У матери и двух сестер Ласло — на троих — осталась одна юбка. А через три месяца, когда уж Ласло выходил на улицу и даже начал искать работу, мать получила извещение из Красного Креста: «Ваш сын скончался в тюрьме для военнопленных в городе Сегеде». Как уж так могло получиться, Ласло и до сих пор толком не знает. Скончался кто-то, записанный под его, Ласло Матиаша, именем?.. Все могло быть в неразберихе тех месяцев.

Ласло умолк. А мы спрашивали:

— А дальше? Что было дальше?

Дальше все как у многих в те годы: работа электромонтером, а по вечерам учеба в городском училище — в течение двух лет Ласло удалось сдать экзамены за четыре класса. Вступил в социал-демократическую партию. Его направили в органы рабочего контроля. И опять — заочная учеба в техникуме, четыре года Ласло смог уложить в три, а пос-

ле должности счетовода, диспетчера и, по направлению партии, работа в деревне с бригадой, изымавшей излишки хлеба у кулаков, облагавшей налогами добро тайное, и снова заочно — вуз, который он смог закончить только в шестьдесят третьем году, начальник планового отдела одного из энергетических предприятий, главный бухгалтер, и вот уже полтора года — здесь, в «Дедасе»...

Биография — как у тысяч других людей. Должно быть, и Ласло, подумав об этом, сказал:

— Год назад я ездил с нашей городской делегацией во Львов, Львов — побратим Печа. Так вот, и у вас среди энергетиков, в частности, встречал немало людей такой же нелегкой судьбы. Вы бывали во Львове, в Мукачево?.. Если случится, разыщите двух братьев — Василия и Йозефа Кичуров. Я бы мог, не боясь ошибиться, назвать их и своими братьями. Всегда вспоминаю их, когда прихожу к этому памятнику, по-моему, лучшему в Венгрии из всех, что поставлены в память о боях с гитлеровцами.

А кто автор его, Ласло?

— Это тоже интересно: Агамемнон Макрис, грек.

Опять — Макрис!.. Но Ласло добавил:

— Рассказывают, он не то сам бежал, не то вывезли его, спасая от террора греческой хунты совсем мальчишкой. И рос здесь. Так что считайте — и венгр он.

Стало совсем темно. В небе зажглись звезды. Прожекторы подсвечивали фигуру чуть снизу, и оттого, наверно, металлические крылья на изломе, излете, теряясь в сумраке, отблескивали млечно. Город лежал внизу, укрытый этими крыльями.

Мы уезжали из Печа на рассвете. Утро было ясное и холодное. В низинах, на лесных полянах, куда уже успели добраться солнечные лучи, клубился легкий туман. Про такой туман у нас на севере говорят — «зайцы пиво варят».

Дорога спустилась с гор, замелькали мимо еще сонные деревеньки. Листья виноградников близ домов, мокрые от росы... Старая мельница, красная черепица на крыше поросла зеленым мхом... Парень в синем комбинезоне и резиновых сапогах ведет вдоль улицы, держа за недоуздки, двух грудастых ломовых лошадей, шкура их бугристо лоснится на солнце... Опять низина и туман. Навстречу нам друг за другом проехали на велосипедах три старика — наверно, в поле, на весь долгий день. К багажникам привязаны целлофано-

вые пакеты с едой. Мы оглянулись. Спины у стариков совсем сутулые. Свитера обтягивали острые лопатки. Вдруг в полосе тумана колеса велосипедов стали невидимыми, старики, казалось,взлетели над дорогой, не касаясь ее,— почти нереальная явь...

«Зайцы пиво варят. Варят пиво зайцы!..»

Нет, вовсе не хмельными мы были. Просто, чем дальше старики отъезжали от нас, тем явственней становился туман над шоссе и тем выше взлетали в воздух старики и парили, чуть покачивая сутулыми спинами, подруливая острыми лопатками, так похожими на небольшие крылья.

Вернувшись в Будапешт, мы уже не могли не разыскать скульптора Агамемнона Макриса.

Средневековая причудливая улочка на высоком берегу Дуная, в старой Буде. Калитка. Дворик, кажется, весь занятый разлапым высоким инжиром. И вот уже напротив нас на узкой лестничке стоит высокий, массивно сработанный — что плечи, что торс, литая грудь, грива седых спутанных волос — Мастер. У него крупные черты лица, умный взгляд. Он протягивает нам руку, иссеченную, с темными морщинками на потемневших, потрескавшихся пальцах, и вся ладонь будто разузорена резкими, черно-коричневыми штрихами. Не ладонь — заезженная, перехоженная, перетоптанная дорога. Не рука — свидетельское показание непрерывного сражения с жестким материалом, красной медью. Мастер бьет и бьет молотком по листам, гнутым, вогнутым, перегнутым самым неожиданным образом, покрывая их зазубринами, вмятинами, рождает из меди, на меди — свет, тени, блики...

И вовсе мы не сожалели, что он сед, хотя ожидали увидеть, поверив легенде, рассказанной Матиашем Ласло, чуть ли не молодого человека. Агамемнон, заметив, как мы переглянулись, спросил, в чем дело, и мы вынуждены были повторить легенду. Он рассмеялся легко, заразительно. Воскликнул:

— Это прекрасно!.. Но тут одно только правда: Венгрию я выбрал второй родиной давным-давно, уже два десятка лет минуло. Но приехал-то сюда сложившимся художником, после того как участвовал в Греции в Сопротивлении и бежал от преследований во Францию, а спустя несколько лет мне и эту страну предложили покинуть. Кстати сказать, в одно время с Пабло Нерудой, моим другом, черное для коммунистов время — было такое и во Франции. Так что — нет, не маль-

чишкой я сюда попал и не юношей. И неужели такое рассказывают? — опять и опять переспрашивает Макрис. — И рос здесь?.. Да, с некоторыми соотечественниками так и случилось.

Но дальше начинается совсем уже для нас неожиданное.

Один из нас дарит Макрису свой последний роман. Роман называется «Последние листригоны». О судьбе балаклавских греков, и о том, как они еще в 1905 году прятали русских матросов с восставшего крейсера «Очакова», и об их помощи осажденному Севастополю в Отечественную войну. В романе – народные предания, обычаи греков, сохранявшиеся в Балаклаве еще с давних пор. Консультировал его наш московский друг — тоже участник Сопротивления — Апостол Мисурис.

· Апостол? вдруг кричит Макрис. — Так ведь мы же с ним были в одном партизанском отряде! С ним и великой нашей трагической актрисой Папатанасиу. А вы знаете, где он живет в Москве?

В одном дворе с нами, в соседнем доме.

— Так я же был в вашем дворе! Жил у Мисуриса, когда приезжал в Москву!..

И он обнимает нас. Все смешалось в разговоре нашем. Мы говорим, кажется, сразу обо всем: и о том, что Апостол плавает как дельфин, о его жене, кореянке, для которой греческий язык стал родным, и о том, какое ошеломляющее впечатление на нас, как и на других московских зрителей, произвела гениальная игра Папатанасиу; мы видели ее Электру, когда она приезжала на гастроли с Пирейским театром в Москву. И потом, уже совсем недавно... И опять — об Апостоле Мисурисе: как, приговоренный в Греции к смертной казни, проявил он невероятную выдержку, мужество, и о нашем московском дворе, Макрис помнит в нем даже и тополя, под которыми сиживал с другом вечерами...

А теперь мы сидели в просторной комнате Агамемнона. Одна ее стена — сплошь стеклянная — над самым обрывом к реке. И казалось, отсвечивает синева распахнутого неба на полированном столике, и заглядывают прямо в комнату с противоположного берега фасады зданий «представительного» Пешта — парламента, отелей, министерств, и легкие, быстрые облака отбрасывали тени на пустое пространство пола перед нами — комната, распахнутая всему миру; в тот миг метафора эта вовсе не казалась метафорой.

И как бы для того, чтоб подтвердить это, Агамемнон Макрис повел нас этажом ниже, в свою мастерскую. Слева

от порога на высокой подставке стоял скульптурный портрет Поля Элюара, тоже из красной меди, но звучавшей приглушенно, лирично: благородная, высоколобая голова, крупные, словно б дышащие губы сомкнуты, и взгляд поэта, обращенный как бы внутрь себя. Цельность, строгость, благородная сдержанность, столь свойственные Элюару живому,— это и мы могли свидетельствовать: в Москве мы видели поэта близко, слушали его выступление, стихи.

Но если хоть один из убитых войной
В нашей памяти встанет во весь свой рост,—
Вся наша жизнь против смерти встает,—

прочла Любовь Руднева стихи Элюара.

— Вы помните его строки наизусть? — спросил Макрис растерянно.

Мы уж не стали объяснять, что Руднева, по второй своей профессии — чтец, выступала с ними в самых разных аудиториях.

— А я дружил с ним,— коротко, с грустью проговорил Агамемнон.— С ним и с Нерудой... И вот я,— он обвел рукой вокруг себя,— тут. А они?

Но словно б и Элюар слушал его в тот миг.

Совпаденья не кончились и на этом... Совпаденья? Наверно, не очень уместное слово... Макрис шагнул вперед, мы — за ним, и из бокового окна высветились, поднялись в рост с пола фигуры готически вытянутых людей, с поднятыми вверх руками, взывающими к небесам. Но ведь фотографию этого памятника маутхаузенцам давным-давно подарил нам один из наших друзей, бывший узник концентрационного лагеря. Столько лет стоит фотография в нашей комнате, за стеклом книжной полки, но до сих пор не знали мы имя автора этого памятника — Агамемнон Макрис. Сам памятник установлен на бывшем концлагерном аппельплатце, а тут в мастерской,— его реплика.

Как же могли мы упустить такое?.. Когда признались в том Макрису, он усмехнулся.

Что ж, значит, мои усилия достигли цели. А имя растворилось по дороге к вашим душам. Может, так и должно быть?..

И пристально следил за выражениями наших лиц, пока мы обходили скульптуру вокруг. А люди — те, из Маутхаузена хотя и были как бы выжаты бедой, но выбрасывали к небесам пружинящую силу своего бунтарства. В них вовсе не было

холодящей отстраненности иных памятников-скульптур. Ноги расставлены, они опирались твердо на ту же землю, на которой стояли и мы, живые, а руки, резко выброшенные вверх, чуть разведенные в стороны, как бы образовывали силовое поле, массивные кулаки напоминали молоты. Едва намечены были лица, и это придавало головам монументальную основательность. А все вместе фигуры выстраивались подобием крепкоствольного леса...

Залетное облачко прошло мимо окна мастерской, и уже иначе высветилась бугристая, обработанная Макрисом медно-красная фактура памятника, словно была она текучей.

Но Макрис уже вел нас дальше. Вдруг во взгляде его проступило волнение, и вроде б даже складки просторной, мягкой робы легли на широких плечах строже. Он сказал:

Теперь я себе учиню экзамен: покажу вам то, над чем работаю сейчас...

Оказалось, из мастерской есть еще один выход — на площадку над самым обрывом к Дунаю. Тут, прямо на каменистой земле, стиснутое решеткой ограды, громоздилось под самый балкон дома причудливое скульптурное изображение из тех же неровно обработанных, любимых Макрисом листов красной меди. Площадка совсем маленькая. И вблизи трудно было понять сразу, что замыслил художник. Мы отступили к самой ограде. Он попросил:

Не спешите с ответом. Вглядитесь. Что напоминает вам эта скульптура?

Цветок?.. Нет, скорее гигантский плод, как бы разломленный светом, очень естественно, на крупные, плотные доли. Их было четыре. Три — почти слитно одна с другой, лишь чуть-чуть разделенные ершистой фактурой медных листов, а четвертая еще как бы росла, тянулась вверх, немного отступя, накренившись в сторону. В самом верху, там, где острия долей расходились друг от друга, изогнулась небольшая фигурка — словно бы дух воды, какая-то русалочья пластика была в ней, но безо всякой красивости, преодоление трудного сочеталось в фигурке с парящей легкостью.

— Какой-то экзотический плод,— сказал один из нас

И Макрис рассмеялся, крепко ударил ладонью о ладонь.

— Так!.. А знаете, где он будет стоять? Здесь, недалеко от Будайской крепости, на площади Москвы. Еще до заказа этого меня поразила не только архитектура, но и лепка куполов вашего храма Василия Блаженного. Он вроде б вырастает из земли как огромное растение, как он сказочен и монументален! Сродство с ним я и хотел передать в своей компо-

зиции. Это будет фонтан. А плод этот раскроется навстречу струям воды, ниспадать они будут на мозаичные круги, разноцветные. Разверстый плод — посреди просторной площади, представляете? Тут своя игра с природой, перемешается рассветное и закатное, просеиваясь сквозь облака, смещаемые ветрами. А вечером? Когда начнется игра светофоров? Представьте, как меняющийся цвет будет отражаться в воде и в меди, и в бликах парящей над ними фигуры, в мозаике у подножия фонтана... Многоцветье и многосветье! — Агамемнон сам рассмеялся своему неологизму, радуясь как ребенок тому, что — не он! — мы выдержали экзамен.

И тут же решил отпраздновать это событие, потащил нас в кабачок напротив своего дома, сожалея, что вот нет нынче в Будапеште жены его Зизи Макрис. Она — мозаичист и график. Она-то и будет, между прочим, делать мозаику для фонтана на площади Москвы. И пока мы сидели в кабачке, Макрис рассказывал о жене.

Она — француженка. Познакомились и поженились они в Париже. Но у нее теперь не две, как у Агамемнона, а три родины: Франция, Венгрия, но и Греция — тоже. Первый раз она поехала в Афины еще во времена правления хунты. Но тамошние власти, узнав, что она жена видного участника Сопротивления, бросили ее в тюрьму. С трудом удалось Зизи вырвать оттуда. Впрочем, об эпизоде этом мы узнали позже, в Москве, от Апостола Мисуриса. Сам Макрис о том, видимо постеснялся рассказывать.

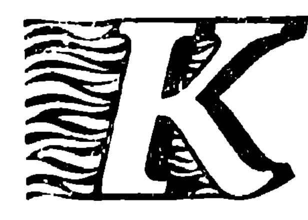
А он говорил нам о мозаиках, которые Зизи как раз сейчас выполняла в Афинах, о ее путешествиях по Советскому Союзу. С берегов Камчатки, Чукотки Зизи привезла сотни рисунков. Потом, вернувшись в дом Макриса, мы разглядывали и их. В динамичном штрихе художницы сочетались ее стремительный темперамент, а вместе с тем и волевое жесткое начало. И уже по-иному разглядывали и скульптурный портрет Зизи, выполненный Агамемноном: удлиненная шея, чуть вытянутый овал лица, резкий абрис лба, носа, губ... По-своему женственный облик ее опровергал привычные каноны красоты и выразительности.

А солнце уже давно скатилось за Будайскую гору. Дунай под кручей стал темен. Прощаясь, мы опять напомнили Макрису строки его друга Поля Элюара — уже иные:

> У меня так много братьев,
> Что остаться не смогу я
> Одиноким на земле...

СНЫ ЛЕОНИДА ЩЕКИНА





Книга эта складывалась не сразу и не просто. Самыми разными были цели наших поездок за рубеж: иногда командировки за очерками о тех или иных проблемах экономической интеграции социалистических стран, а чаще они были связаны с работой над романами, повестями, темы которых вроде бы и не сам выбираешь подчас: они диктуются всей твоей предыдущей жизнью, то ли военными годами, жизнью морского флота, то ли связью с рыбацкими экспедициями, а то — давним трудом строителя или дружбой с бывшими узниками фашистских концентрационных лагерей... И потому случалось порой — вроде бы дороги тянули нас в разные стороны, потому что прозу мы всегда пишем порознь, а совместные очеркистские поездки начались всего лет двенадцать назад.

Но время и новый опыт невольно интересы одного из нас делали насущными и для другого. И потому, даже бывая в поездках поодиночке, все равно старались мы примечать, копить важное для обоих. Так постепенно вырисовывались контуры главных тем, глав и этой книги: трудовое содружество людей разных стран, их практический, а не лозунговый интернационализм, и темы эти открывались в жизни людей самых разных профессий, подчас далеких друг от друга: энергетиков и ученых-океанологов, строителей и художников.

Проще было б, конечно, взять какую-то одну отрасль промышленности и в ней пройти, проследить по цепочке снизу доверху все многообразие и сложность связей людских в разных странах. Или даже сделать героем книги, к примеру, одну какую-то совместную стройку стран — членов СЭВ.

Но нам-то вынужденные поначалу разные цели поездок потом, позже, открыли иную возможность: из их разноцветья сложить как бы некую мозаику, в которой тоже хоть и не выразить всего многообразия связей наших стран, но все ж возможно высветить суть их с разных сторон.

К тому же эти поездки порой позволяли нам к иным героям возвращаться и не единожды и видеть их с самых неожиданных сторон; даже когда командировки наши — за «прозой» — бывали плотно, по дням и часам расписаны еще в Москве, мы уже не могли уходить и от этого документального повествования. Оттого время в поездке обретало подчас совсем не обычные измерения.

Лишь через год после Пакша нам удалось попасть на строительство атомных станций такого же типа — «ВВЭР-440» — в ГДР, в Грейфсвальде, и в Словакии, в Ясловских Богуницах. Но нам-то в те дни казалось: не было вовсе этого перерыва в год, а памятный разговор с Бениамином Сабо о развитии атомной энергетики в наших странах длится с непреложной последовательностью, и вот воочию перед нами воплощаются слова и мечты, боль и тревоги Сабо в тысячи кубометров уложенного бетона, в трубы, поднявшиеся к самому небу, атомные реакторы, уже установленные и работающие во благо людское. И не так уж важно, в этом смысле, что встречи, одну от другой, отделяли годы и границы, безусловно то, что сегодняшние Ясловские Богуницы, Грейфсвальд и есть завтрашний Пакш.

Даже и в людях, какими бы разными ни были их духовный и профессиональный опыт, кругозор,— и в них время и расстояния порой подчеркивали не отличия, а общность.

В Грейфсвальд, на строительство атомной электростанции

«Норд» Леонид Щекин приехал второй раз. Первый — в семьдесят втором году, в командировку. Он работает на заводе, который изготавливал реакторы станции, и послали его на три месяца согласовать кое-какие вопросы монтажа, а пробыл — все девять: специалистов на станции не хватало, и Леонид (по профессии он — конструктор, значит, обязан придумывать новое, а на таких стройках все внове) волей-неволей ввязался в монтажные дела не только в реакторном отделении, но и чуть ли не по всей площадке. И потому, когда через четыре года его попросили поехать заводским шеф-монтажником, ответчиком за все и про все, он согласился почти не раздумывая.

Не то чтобы в первый раз ему так уж все понравилось в Грейфсвальде. Честно говоря, он и разглядеть толком ничего не успел. За девять месяцев даже не сходил ни разу искупаться, хотя море рядом. Ел в столовке, не разбирая вкуса еды. На работе каждый день торчал допоздна, выматывая себя так, чтоб только-только донести к ночи голову до подушки и отключаться тут же, как только уляжешься. И так случалось даже когда вроде б и не было в этом прямой необходимости. Все и дело-то в том, что Леонид — семьянин страстный и попросту не умеет жить один. Для него «один» — это как бы для себя только, а зачем жить для себя?.. Так что любую командировку, и не рассуждая об этом, он воспринимал как всего лишь такую полосу жизни, которую надо перетерпеть, заглушая себя запойной работой, не важно, куда эта командировка — за рубеж или, как несколько лет до того, в Воронеж, на тамошнюю атомную станцию.

А тут предложили ехать с семьей. Можно будет, наконец, оглядеться и хотя бы себе самому ответить на вопрос, который ему в России тысячи раз задавали все знакомые: «Ну как там немцы живут?» — и каждый раз у Леонида даже уши краснели от стыда, он хмуро бормотал: «Ничего. Живут»,— фразой акой обрывая всякую возможность продолжать разговор.

Но дело было еще и в другом. У Щекиных подрастало двое сыновей. А семья долго бедовала в коммунальной квартире. Наконец получили кооперативную, внесли пай, и как раз тут родилась еще дочь, Оля. Жена Леонида — учительница, филолог — вынуждена была уйти с работы. Как выкрутиться на одну зарплату впятером? Очень даже кстати оказался этот договор на трехлетнюю работу в Грейфсвальде.

Советские специалисты живут здесь в новом районе города Шёнвальде: монтажники, пусконаладчики, эксплуатационники. Их чуть больше ста человек. А бывало — до пуска

первых двух блоков — и двести, и двести пятьдесят. Каждый блок мощностью в 440 тысяч киловатт, первый дал ток 17 декабря 1973 года, ровно через год — его двойник. Когда мы там были. в начале 1978-го — готовили к пуску четвертый. Один однотипный блок пристраивался к другому. Общая длина реакторного корпуса приблизилась к километру — алюминиево отсвечивающие под солнцем коробки смыкающихся строений, аккуратные, внешне — ничего вроде б особенного, почти конторские здания, вот только без окон. Лишь градирни, стоящие чуть поодаль,— громадные, пузатые, туповерхие кувшины, над горловинами которых постоянно клубятся облака пара, перекликаясь с облаками небесными, будто б и те рождаются здесь, над станцией, а потом уплывают в морские дали,— лишь эти градирни дают хоть какое-то зрительное представление о той таинственно-грозной, немалой силе, что рождается в простецких с виду коробках реакторного корпуса.

И почти не видно людей на строительной площадке. Технология работ давно отлажена, предельно механизирована, стройка катится словно сама собой. Вовсе не удивляет, что уже вскоре «Норд», достигнув мощности в три с половиной миллиона киловатт, станет крупнейшей атомной станцией в Европе, не считая советских.

Пуск каждого следующего блока — это еще и школа для немецких инженеров, техников, строителей и эксплуатационников. Вот поэтому-то ежегодно уменьшается колония «спецов» из Советского Союза. Вот потому-то нет теперь нужд' и для Щекина пропадать на стройке до ночи. Механизм работы, связанного с нею быта отлажен поминутно: в 6.15 автобус — у подъезда дома, полчаса — дорога к заливу Грейфсвальдер-Бодден, 12.00 — перерыв на обед, 16.00 — автобус обратно.

За весь первый год, может быть, раз десять задерживался Леонид на работе до позднего вечера, и то было это в самом начале здешнего житья-бытья, пока еще не вошел в его ритм,— тогда приходилось добираться до дома электричкой, до главного вокзала Грейфсвальда, который чуть не в центре старого города, а оттуда — рейсовым автобусом.

Но как раз с тех-то поездок и начались странные его сны, неотступно преследовавшие его в Грейфсвальде многие месяцы. Задним числом он даже точно установил, что же оказалось для них первым толчком: водопроводный кран в кирпично-черной, потемневшей от угольного дыма стене грейфсвальдского вокзала.

Ничего-то в нем не было особенного. Кран как кран: давно заржавевший, никому не нужный, с изогнутой шейкой и крючком на самом носике — для ведер или бидонов; чуть повыше можно было не прочесть, а, скорей, угадать стершиеся белые буквы «кохендес вассер» — «кипяченая вода». Леонид, кажется, и внимания не обратил на него: спешил к автобусу на привокзальной площади, скорей бы попасть домой, чтоб успеть еще погулять с Олей, малышкой, все представлял себе, как катит он коляску по чистому асфальту шоссе, по пустырю, отделявшему кварталы Шёнвальда от старинного университетского ботанического сада, как в темноте шебуршатся в листве садовых деревьев птицы, они там собираются на ночлег тысячами, наверное, со всего города; если одна шелохнется во сне, качнет ветку, то чуть не вся стая хором начинает ругаться — сварливые птичьи голоса слышать так странно!.. Леонид улыбался, представляя это, а еще — какая удобная у него сейчас квартира: мало того, что в новом доме, и не только со всей обстановкой, но даже и с холодильником, со всякими кухонными причиндалами, кастрюлями, плошками, ложками, а на стенах, в каждой комнате, висят репродукции картин из Дрезденки — живи, никаких тебе забот...

Он тогда и думать не думал об этом злосчастном кране!

А ночью приснился сон. Ему — Лене — еще нет семи лет, сорок первый год, заводской эшелон из города Токмак, с Украины, гонят на восток, под Махачкалу; в эшелоне все хозяйство дизелестроительного завода, где работал отец Лени, и семьи заводчан, и мастера, рабочие, которых не взяли в армию, оставили на брони, чтоб поднимать завод в новом месте. Бесчисленные станции и полустанки, почти на каждом из которых поезд останавливался, и никогда не угадать, сколько он простоит — пять минут или пять часов, и бомбежки в пути, ночная степь, вдруг вспыхивающая по всему окоему пугающим пожаром, и последний кусок хлеба, который достала мать из полотняной наволочки, служившей дорожным мешком... Но это все — как бы за кадром, хотя и висит над душой бедой неминучей, но ничего такого во сне Леня не видит, а видит-то уж саму беду: кирпичное зданьице крохотной станции посреди степи, торчит из стены изогнутый кран с крючком на носке — кипяток, наконец-то нашлась станция, где еще можно набрать его. В теплушке-то вскипятить воду не на чем, дети маются животами, сестренка Лени — ей всего год — заходится в крике, матери от нее не отойти; отец — начальник цеха — старший в эшелоне, ему надо обежать на остановке весь состав, вот потому-то Леня («Ты теперь заглавный му-

жик после меня в семье»,— сказал ему отец) и стоит в очереди за кипятком с чайником, крышка которого привязана к ручке веревочкой.

Очередь длинная, молчаливая, хмурые лица, никто и не смотрит на мальца, на Леню, не знает никто, как он боится отстать от поезда, пуще всего он сейчас боится именно этого; для него «война» — это даже и не бесконечный путь в неизвестное, не бомбежки, не голод и жажда, не вонь и вши теплушек, «война» — это страх отстать от поезда. И вдруг — гудок паровоза, короткий, совсем не страшный, понарошке вроде; Леня наливает чайник, как раз подошла очередь, заглядывает в него, нужно дополна налить (когда-то еще кипятком разживешься!), его сейчас только и беспокоит — донесет ли, не расплескает ли?.. Оглядывается: никого рядом, а поезд, до того стоявший на дальних путях, тронулся, уходит, покачивая задним тамбуром. Леня бежит вдогонку, тяжелый чайник бьет по ноге, крышка бренчит. Леня босой, а камни меж шпалами такие острые, и такая бесконечная, пустая степь вокруг -- это он успевает ухватить боковым зрением, а смотрит-то только на задний этот тамбур, на подножке которого висит мужик в красной рубахе и что-то кричит ему, машет рукой, и сам Леня, кажется, тоже в ответ кричит, но сейчас, во сне, он ничего не слышит, кроме звона крышки о чайник. Тамбур, мужик на подножке все меньше-меньше, уплывают к самому горизонту. Леня знает, что догнать эшелон он сможет, если только бросит чайник, тогда вмиг бежать станет легче. Но почему-то для него это невозможно — бросить чайник. Поезд исчезает, а он все так и бежит скособочась, крышка бренчит-бренчит... Никогда, вовек не догнать ему поезд! Леня спотыкается, падает, ударяясь головой об рельсину. И просыпается.

Звенит будильник. За окном осенний сумрачный рассвет. Запах жареной колбасы долетает из кухни: жена уже встала, готовит завтрак...

Вот с той-то ночи и повадились к нему эти щемящие душу сны — из военного, сирого детства. Разные. Причем во всякое утро, проснувшись, Леонид силился припомнить, что именно во вчерашнем дне разбудило до сих пор дремавшую в нем эту память о давнем. Наверное же, это были сущие пустяки, ему все казалось: догадается, так и сон не приснится.

Вот это и маяло больше всего. С малых лет отец приучил Леню к самоанализу. Впрочем, сам-то отец, должно быть, и слова такого не знал — «самоанализ». Рабочий, безо всякого образования, трудолюбием, добросовестностью, талан-

том выдумщика, неотступной честностью сумевший подняться до постов инженерных, он и Леню с малых лет заставлял жить по-своему. Говорил ему, совсем еще мальцу: «Запомни, человек от животного отличается тем, что всегда понять может, почему он поступил так, а не иначе. Вечером вспомни, кого ты за день обидел и кто тебя обидел и почему, какая твоя вина, а какая чужая. И тогда назавтра ты уже такой промашки не дашь и не позволишь другому над собой нагличать. Расти человеком!..»

Он любил порассуждать, отец, на всякие такие вроде б отвлеченные темы. А Леня рос тихим, старательным пареньком. Всегда — «пятерочник», и в школе, и в техникуме, и на флоте, где отслужил матросом, а потом — в Ленинградском кораблестроительном институте. Но не потому «пятерочник», что ему хотелось выделиться среди ребят, а просто он не мог иначе, «иначе» — было ниже его достоинства, которым, однако, он тоже никогда никого не теснил, не укорял. Леня вообще не из говорливых, не из тех, кто лезет вперед других,— наоборот, всегда удивляется только, когда эти другие-то сами выталкивают его впереди себя. Ему все кажется, любые его заслуги преувеличены, а стоит заговорить о них, он мучительно краснеет, даже маленькие аккуратные уши становятся розовыми, мямлит что-то невразумительное, а и говорить о себе он не умеет.

После защиты диплома его оставляли в «Корабелке», на кафедре технологии, аспирантом, и предлагали на выбор любое место на ведущих ленинградских заводах, но он уже тогда был женат, своего жилья — никакого, ютились у тещи, вчетвером в одной комнатенке, у черта на рогах, на станции Понтонная, и вот там-то в местном заводишке ему пообещали сразу дать квартиру, если придет технологом в сдаточный цех. Это и решило выбор Лени. Но когда оформился, начальник отдела кадров попросил его:

— Вы пока пропишитесь у жены, это ненадолго...

Леня прописался. Прошел один месяц и второй, об обещанной квартире — никто ни слова. Начальник отдела кадров объяснил:

— У нас люди по двадцать лет работают и ждут жилья, разве я мог вам какое-то слово давать? Вы — на очереди, ждите.

Ждал три года. Давно стал ведущим технологом в отделе главного технолога. Он и тут был «пятерочником», хотя работа эта оказалась не по душе ему: всегда мечтал о конструкторской, высшее наслаждение — работа над чертежом,

сидя у кульмана, мысленно и на бумаге крутить какую-нибудь детальку и так и эдак, разглядывая ее со всех сторон, меняя форму ее, а то и суть, пока она не встанет на единственное ей положенное место и так, чтоб рабочему удобно было ее расточить, приварить самым надежным швом, чтоб сносу ей не было. Леня знал свою силу: она прежде всего вот в этом незаурядном зрительном воображении, будто он себя самого всякий раз представлял на месте такой детальки и потому мог предвидеть на годы вперед, удобно ли ей будет крутиться, что может помешать, вывести ее из строя.

Тосковал без конструкторской работы, но смирял себя — ради семьи, ради обещанной квартиры. И так — три года, пока не узнал — совершенно случайно! — его даже на очередь на жилье не поставили. Он принес директору заявление об уходе с работы. Тот, выяснив все обстоятельства дела, предложил Щекину занять любую квартиру в новом заводском доме, который как раз заселялся. Но на это уж Леня не согласился: с людьми, которые его обманули, работать не мог. Так он и попал на другой завод. Рассказав нам эту историю, Леонид вдруг покраснел и счел нужным пояснить:

— Я тогда, знаете, был еще... с ушами,— и потерхал кончиками пальцев собственное ухо. Лопушок, дескать. До тех пор говорил он опустив голову, а тут поднял ее, в серых его глазах было по-детски неизбывное недоумение... Был он худой и бледный, длиннорукий, нескладный. Прямые белесые волосы рассыпчато падали на лицо, и Леня даже их стеснялся лишний раз откинуть рукой.

Мы помолчали.

Час назад нам рассказали о нем другую историю. На монтаже реактора работы бывают всякие, в том числе в опасной зоне. И тут жесткий медицинский контроль: никто не имеет права в год получить облучение больше пяти рентген, в день — больше восемнадцати миллирентген. Каждому рабочему выдается специальный счетчик, ведется повседневно журнал, специальные отметки на пропусках. И если «взял» свою норму, хоть бы и сам рвись в зону — не пустят.

Как раз перед нашим приездом монтировали ту часть реактора, в конструировании которой Леня принимал участие, и что-то там не так сладилось, возникла угроза выбиться из графика, а Леня все скорректировал не то чтобы по просьбе чьей-то, наоборот, вопреки запретам, и медики-то узнали об этом лишь задним числом. в одну из недель он «прихватил» сто пятьдесят миллирентген! А как ему удалось об-

мануть контроль, никто и до сих пор понять не сумел. И хваля, и ругая его, попросили нас:

— Трудяга безответный! С Доски почета и тут не сходит. Но в житейских-то делах вроде бы такой рохля! А тут — самый дошлый из нас не может докумекать, как он все же ухитрился всех переловчить. Так, может, хоть вы ненароком расспросите его об этой истории? Как раз вам-то он и может проговориться, он же наивный! Просим ради него самого. И чтоб в другой раз не смог он использовать эту уловку. Мы же заметили: вы — первые, наверно, которым он вдруг доверился и о себе стал рассказывать. Ведь просьба только на пользу ему...

Нет, и об этом не могли мы Леню расспрашивать. Именно потому, что наивный. И потому, что доверился. Мы предпочитали только слушать. А он вдруг опять возвращался к первым месяцам работы в Грейфсвальде, к тем своим снам. Однажды вечером услышал тут по радио мелодию немецкой народной песни, и в ту же ночь сон отбросил в войну. Сорок третий год, Леня пошел учиться в школу, урок пения; первоклашки хором старательно вытягивают бетховенского «Сурка»:

По белу свету я брожу,
И мой сурок со мною.
Когда я сыт, когда я пьян,
И мой сурок со мною.
И мой сурок, и мой сурок...

И как тогда, внезапно эти слова вызывают голодный спазм: Леня — мальчишка — забыл, когда же это он был сыт в последний раз. И сам себе кажется сурком, похожим на бездомную собачонку-дворнягу, которую уже никто и не накормит.

И во сне видит он заводской цех: станки стояли чуть не под открытым небом, а меж ними на кольях, вбитых в землю, висели сохнувшие рыбацкие сети. Поселок Двигательстрой расположился прямо на берегу Каспия, и по ночам отцы уходили на лодках в море, добывать рыбу. Почему-то ловилась одна осетрина, жирная, отвратительно пахнувшая. И голодного Леню начинало мутить. И запах пробирался в сон — школьный класс провонял осетриной, а ребята вокруг, стриженные под нулевку, с тонкими шеями, с округлившимися от старательности глазами, тянули бетховенскую мелодию, каждый раз срываясь на высоких нотах. Учительница, худая, маленькая, от волнения раздраженно стучала указкой, кричала:

— Нет! Нет! — и тоненьким азартным голоском выводила верхние ноты припева: — И мой сурок, и мой сурок...

Она вдруг обратилась к нему:

— Вот ты, мальчик... Леня Щекин?.. Ну-ка, спой один. Остальные молчат! Внимание!..

Стоял, опустив голову. Вокруг уже хихикали. Учительница настаивала:

— Ну Леня?.. Давай вместе со мной!..

Он, наконец, решался открыть рот, что-то хриплое вырывалось из горла, и Леонид... проснулся.

В Шёнвальде рядом с их домом строили новый квартал. Щекин любил наблюдать из окна, как немцы работают.

Часто на площадке и день, и два, и неделю не бывало ни одного рабочего. Изредка только приезжали автомашины, сгружали колонны, панели, уезжали, и опять — все пусто.

— У нас бы как было? — сравнивал Леня.— Нужно, к примеру, поставить двадцать колонн, а завод-изготовитель прислал пока только две, монтажников все равно уж обязательно направили б на площадку, и они бы начали ставить колонны, на ходу маракуя, как лучше это учинить, на ходу и обучаясь. И глядишь, пока первые-то две поставили за несколько дней, подоспели бы следующие, дело уже пошло скорей, последнюю колонну поставили бы в рекордные сроки.

А тут — никого, ничего, пока не подвезут все двадцать, пока инженеры-технологи, посоветовавшись с коллегами заводскими, не типизируют все виды работ. Вот тогда только и приходят монтажники на площадку. Однажды утром за несколько часов они и положили прямо на землю рельсы узкоколейки, по ним бегал во все углы площадки электрокар, который наши работяги почему-то прозвали «Али-баба»; никто ничего не нянчит руками, и глядишь, несколько дней, и новый дом стоит, уже убраны рельсы, под метелку вычищен весь мусор, которого, впрочем, почти и не было. Вроде даже и трава вокруг дома не примята.

Щекин специально осведомлялся у строителей: на подготовку немцы иногда тратят времени вдвое и втрое больше нашего, но потом за счет типизации всех работ, и того, что строительная база, как правило, вдвое мощнее наших, и что отличная организация внутриплощадочного транспорта, широкое применение малой механизации, получается производительность труда каждого строительного рабочего намного выше, чем у нас, в Союзе. Хотя и работают здесь, если поглядеть со стороны, вроде б даже с прохладцей. Коли

случится вдруг — нет нужного подъемника, рабочие сядут и будут ждать.

Часто слышал Леня, как наши монтажники с завистью, но и одновременно с бахвальством рассуждают:

— Нет, они пупа не надрывают. Если б мы так филонили, то и на хлеб-соль не заработали бы...

А ему нравилось безлюдье на стройплощадке, он видел из окна дома, как в вечернем небе вроде б сами собой вдруг вычернились железобетонные балки перекрытий еще одного дома в новом квартале.

А ночью-то вдруг всплывали в сознании другие балки-стропила: первого их четырехэтажного дома в поселке на берегу Каспия. Им на две семьи, вместе с другом отца Павлом Николаевичем Шевченко, дали одну комнату. И крыши еще не было, а только черные стропила под звездным небом. И ничегошеньки в комнате, кроме кое-как сколоченного из досок стола и одной-единственной табуретки. У Шевченко тоже трое детей. Сколько же их всех жило в той комнатенке? Десять человек, малышня, крику не обобраться, матери старались их выгнать на улицу — вольница. Но один запрет неукоснительно соблюдался в обеих семьях: на единственную табуретку за завтраком, обедом, ужином садились только отцы. Они всегда спешили, примащивались оба, бочком каждый на свой уголок: все некогда было сколотить хотя бы еще одну.

Ночи теперь не приносили отдыха. Одно время, чтобы избавиться от снов, Шекин повадился по вечерам ездить в старый Грейфсвальд, гулять по его узким средневековым улочкам.

Островерхие черепичные крыши, красные, розовые, очерневшие, и узкие вытянувшиеся кверху, к небу окна, и разноцветные вывески маленьких магазинчиков, и торжественные, а вместе с тем уютные порталы трех церквей, заложенных еще в XIII веке,— «Длинного Николауса», «Толстой Марии» и «Маленького Якоба», и вытянувшиеся многооконной шеренгой здания старинного университета, и древние дубы, ветлы, стоявшие совсем рядом с центральной площадью,— все это делало городок почти сказочным и успокаивало.

Потому все сохранилось в целости, что весной сорок пятого года комендант Грейфсвальда полковник Петерсхаген, рискуя жизнью, вопреки приказам гитлеровских фанатиков сдал город советским войскам без боя. Шекин еще дома видел немецкий телевизионный многосерийный фильм об этом

событии. Петерсхагена в нем прекрасно сыграл известный киноактер Эрвин Гешонек, сам был он узником концлагеря Нойенгамме и чудом, в числе немногих, спасся с затопленного вместе с заключенными в Любекской бухте океанского судна «Кап-Аркона».

На станции «Норд» старожилы рассказывали, что однажды, когда АЭС только начала строиться, приезжал на стройку и первый советский комендант Грейфсвальда генерал-майор Синеокий, которому Петерсхаген когда-то вручил ключ от города. Память об этом, как ни странно, тоже помогала Щекину избыть свои сны о войне.

Но вот новое лихо: Грейфсвальд — городок туристский, и когда Леня пообжился, он уже не только понимал, но и говорил по-немецки и невольно начал выделять даже в многоголосой толпе резкие вульгарные интонации. Именно с такой интонацией чаще всего разговаривают в наших кинокартинах о войне гитлеровские солдаты. И теперь уж, как только слышал он такую речь, всякий раз Леня, поеживаясь, останавливался. Во время немецкого наступления на Северном Кавказе их завод снова эвакуировали, на этот раз — за Каспий, в Красноводск. Щекины уезжали чуть не последними. Леня до боли остро запомнил вдруг омертвевшую улицу поселка, предвечерье, дома с пустыми, кричащими окнами, ветер, который закруживал, гнал песчаные водовороты вдоль голой этой улицы... Не сейчас, а тогда еще, перед отъездом он представил себе, как идут по поселку немцы-солдаты: в гимнастерках с закатанными выше локтя рукавами, автоматы косо висят на ремнях, вольно идут, ничего не боясь, и голоса эхом летают от дома к дому — те самые интонации... Немцы тогда так и не дошли до их поселка, но вот, оказывается, видение то осталось жить в памяти и возвращалось, раня. Он уже думал так и жить давними, военными видениями во все свои грейфсвальдские ночи, пока не окончится срок договора, как вдруг маленький эпизод вернул ему чувство покоя.

Промаявшись в какую-то из ночей, Щекин не услышал будильника. Когда выскочил из подъезда, автобус давно ушел. Ни разу он еще не опаздывал на работу. Что делать?.. На счастье, показалось такси.

Шофер, большеглазый, тонкогубый, с породистым подбородком, угадав в нем русского, удивился: не ближний свет на марки гонять такси от Шёнвальда до «Норда». Разговорились. Герхард — таксист — был родом из маленького приморского городка, Щекин забыл название.

— А вы ведь войну застали? Помните? — вдруг спросил Леонид у шофера. Лицо Герхарда помрачнело.

— Застал...

Он оказался года на четыре постарше Щекина. Рассказал: и последние предвоенные годы помнит, а особенно — еврейские погромы в городке, как забрасывали камнями витрины лавчонок, выволакивали на улицу избитых, окровавленных людей, куда-то их гнали...

— Ну и как же вы? Вы-то сами? — допытывался Щекин.

— Честно?... Я еще, конечно, мал был. В первый раз просто испугался и убежал. Во второй — смотрел, как на пожаре. Страшно было. А в третий уже и иная мыслишка мелькнула: раз учиняют такое многократно и принимают участие в этом всеми в городке уважаемые дяди — значит, может, так надо? Но все давило как кошмар. Спросил у отца, а он выругал: «Не задавай глупых вопросов! Это тебя не касается!» Через два года он погиб на фронте,— Герхард замолчал.

Машина шла ходко.

— Ну а дальше?— спросил Щекин.

— Нас трое было у матери. Я — старший,— ответил невесело Герхард.— Хлебнули лиха!

— И нас тоже трое было, я тоже старший!— воскликнул Леонид.— Голодали?

— Всяко случалось. Особенно — в сорок пятом.— Герхард помолчал и вдруг заговорил быстро. Леня не все успевал понять, но смысл — улавливал.

Городок Герхарда сперва заняли американцы, а потом передали его в советскую зону. А там оказались громадные склады, продовольственные; но прежде, чем уйти, американцы выпахали бульдозерами ямы и в них бросили — на глазах у оголодавших жителей городка — мешки с мукой, банки консервов, все облили бензином и подожгли: вывозить, мол, себе дороже, так пусть никому не достанется, ни русским, ни немцам.

— Мы для них вообще нелюди были!— воскликнул Герхард.

Русских ждали со страхом. Всякие слухи ходили. Городок будто вымер. Но Герхард вышел на улицу. Еще издали услышал шум грузовика, почему-то единственного, он въехал на центральную площадь и остановился. В открытом кузове стояла кровать с пружинным полосатым матрацем. На кровати сидел солдат в сбившейся на затылок пилотке. На коленях — аккордеон. Склонив голову к плечу, солдат неумело подбирал одной правой рукой грустную какую-то

мелодийку и пел. Выпрыгнул шофер, встал рядом с машиной, огляделся и стал слушать товарища. Потом они запели вдвоем. И так — пять минут, десять... Из окон начали выглядывать любопытные. А потом и вышли на площадь, толпились поодаль, слушая импровизированный этот концерт.

Получасом позже на площадь въехала походная кухня. Повар в гимнастерке и белом колпаке, размахивая поварешкой, подзывал жителей, крича: «Битте! Битте! Зуппе!» У кухни выстроилась очередь с котелками, кастрюльками.

Герхард рассказывал, уже посмеиваясь. Леня спросил:

— А что пели? Не помнишь?— Почему-то казалось естественным перейти на «ты».

Герхард напел мотив, и Леня подхватил по-русски:

— «Синенький скромный платочек...» Это?

— Точно!— обрадованно воскликнул шофер.

— А знаешь, что мы разучивали в сорок третьем, в первый класс я пошел? «Сурок»! Бетховена!

— Не может быть!

— Правда! Слушай!— и Щекин негромко запел:

По белу свету я брожу,
И мой сурок со мною.
Когда я сыт, когда я пьян,
И мой сурок со мною...

Такси уже остановилось у проходной стройки. Герхард воскликнул:

— Ты же совсем опоздаешь!

Но сам стал тихо подпевать — по-немецки. Выключил счетчик, потом воскликнул:

— Рейс — за мой счет!

Леня запротестовал.

...И с того самого дня отлетели, оставили Леню Щекина эти сны возвращения в военное детство. Как отрубило.

Эта война... Столько она напутала в судьбах людских, в море судеб. Волны набегают до сей поры, и никогда не угадаешь, какая, где настигнет тебя, вдруг накрыв с головой.

После Грейфсвальда мы заглянули в Штральзунд. Лет десять, наверно, назад мы были на штральзундских верфях. Тогда еще в мыслях не было этой очерковой книжки. Действие одного из романов Л. Рудневой, который она писала тогда, разворачивается в некоей западноевропейской стране, его

герои — кораблестроители и океанологи. Вот потому-то мы и колесили в ту пору по северу ГДР.

По верфи нас водил молодой инженер — черноволосый, худой, с тонкими, нервными пальцами, глазами настороженно-внимательными. Он подробно рассказывал о том, что только советские заказы помогли верфи после войны наладить серийный выпуск судов и завоевать авторитет на мировом рынке, рассказ подробнейший — с цифровыми выкладками и пояснениями новых конструктивных поисков в судостроении, достижений и экономических перспектив сотрудничества наших стран в этой отрасли промышленности. Но какой-то подчеркнуто суховатый, сдержанный разговор шел до поры. Хотя и подробен был наш инженер в объяснениях, но как-то слишком уж официален. Может, устал: как раз тогда готовили к сдаче советским приемщикам два судна — самая нервотрепка.

Была зима. Ветер погромыхивал листами железа у одного из цехов. Они отсвечивали переливчато, холодно. И было приятно взбежать по трапу в тепло коридоров и кают судна.

— Условия обитания достаточно комфортные,— сказал инженер и открыл — ключ у него был с собой — каюту капитана. Но мы только заглянули через порог, а пошли в матросский кубрик. Он был уютен. Пахло свежим деревом. Мы присели. Приятно было думать о том, как кто-то из наших матросов через этот вот самый иллюминатор увидит впервые землю Австралии или Южной Америки.

Не помним уж, как зашла речь о прошлом верфей. Нам хотелось узнать, что здесь было при Гитлере. Инженер сказал резковато:

— Меня это не интересует!

— Почему же?

— У меня достаточно своих проблем на работе, от которых и так болит голова. Я живу сегодня.

— Но разве сегодня началось не вчера?

Он хмуро молчал, отвернувшись. И мы больше ни о чем его не стали спрашивать. Но минут через пятнадцать не к месту он сам вдруг сказал:

— Я не хочу вспоминать прошлое. Не хочу! Я рос без отца. И потом... в общем, все для себя выстраивал сам. И теперь, наконец, у меня интересная работа. Хотя бы ради нее я не имею права возвращаться даже наедине с собой к этому проклятому прошлому, так исковеркавшему мою жизнь: меня просто не хватает на это! Вы понимаете?

Мы и это понимали. Как могли, успокаивали его. Он был

примерно одного возраста с Леонидом Щекиным. Значит, десять лет назад только-только начиналось его становление как специалиста. Можно было представить, как трудно это давалось ему. И в рассуждениях его была своя логика, хотя для нас-то самих, лично для нас, не очень приемлемая. Мы и не спрашивали его, что случилось с отцом, сам он сказал, что тот погиб на фронте.

— В Севастополе. В сорок четвертом. В обороне Севастополя.

О господи! Для них-то, немецких солдат и обывателей немецких тех лет, все было наоборот: то, что у нас называлось «штурмом», «освобождением», для них было — «обороной». Это тем более нелепо прозвучало, что Любовь-то Руднева, одна из многих десятков тысяч — на штурм Севастополя было брошено более пятидесяти дивизий,— в составе батальона морской пехоты участвовала в этом штурме. А потом, много позже, когда писала книги о тех событиях, дотошно порасспросила более тысячи людей, перерыла горы документов, пытаясь представить себе, как оно все было в те дни, и не только в наших частях, но и в немецких.

У нас дома висит походный ранец солдата немецкого горнострелкового полка, обшитый телячьим мехом,— вещественная памятка о войне, подобранная как раз за Севастополем, на мысе Херсонес. Ранец, пропоротый штыком.

— А в какой части служил ваш отец? — спросила Руднева.

— Кажется, в горнострелковом полку,— и вдруг добавил срывающимся голосом: — А меня забрали в гитлеровский детдом, муштровали и запугивали.

Он замолчал. Только тут мы и приметили, как, в сущности, беззащитен наш новый знакомец: узкие губы и белесый пушок вокруг них, тонкие пальцы с синевато-нежной, почти прозрачной кожей. Мы рассказали ему, что пережили наши солдаты и моряки в Севастополе.

— Откуда вы-то все знаете? И так подробно?! — повторял он смятенно.

— Я шла в Севастополь с батальоном морской пехоты.

— Вы? Женщина? Там?— В первое мгновение он не мог поверить в это, но, наверно, отыскал в глазах ее что-то, убедившее в правде сказанного. И тогда он заплакал. А она — тоже невольно — обняла его и гладила по голове, и говорила что-то успокаивающее то по-немецки, то по-русски, забыв на миг, что он не понимает нашего языка. Но, кажется, он все понял.

Минут через пятнадцать нас разыскали в этом матросском кубрике ленинградские моряки — приемщики судна. И мы долго говорили с ними о ходовых испытаниях, об их жизни в Штральзунде, а потом встречались еще с кем-то в управлении верфи, и опять шли разговоры сугубо деловые. Перед тем как они завершились, наш гид, инженер, отлучился куда-то, и никто не мог найти его.

Мы уже ехали на машине к воротам верфи, когда увидели, как он бежит вдогонку, в одном костюмчике, даже снял с головы и держит в руке защитную каску-шлем — без такой никто не имеет права ходить по территории верфи. Он размахивал ею, что-то крича.

Машина остановилась. Подбежав, он спросил:

— Ведь вы в Росток едете, да?.. Я навел справки: там живет вот этот человек.— Он сунул нам в руки какую-то бумажку.— Он все знает о прошлом верфи, расскажет вам, я буду ему звонить, а тут его телефон и адрес. И уж, конечно,— тут он усмехнулся горько,— сам обо всем его расспрошу... Счастливого вам пути и спасибо вам, спасибо!

— За что же спасибо? Мы так растревожили вас.

В глазах его опять показались слезы. Он махнул рукой и отвернулся, и шагнул к проходной близ ворот — она была рядом,— вошел в нее, так ничего больше и не сказав, не обернувшись. Худая, какая-то мальчишечья, несчастная спина была у него.

Между тем в Ростоке в ту поездку нас ждала встреча, тоже не из обычных. Зная, что и там нам нужно побывать на верфях, один наш приятель, лейпцигский журналист, дал координаты работника информационного отдела их управления Хорста Циема: «Он хороший мой друг, через него удобно будет достать все необходимые материалы».

Цием оказался человеком умным, тонким, доброжелательным. Помог всем, что было в силах. Нам сразу понравились и его сдержанная манера вести разговор, и внешность: высокий, чуть сутуловатый, пристальные коричневые глаза за стеклами очков,— долго не исчезало ощущение, что не только мы к нему, но и он к нам постоянно приглядывается изучающе. А приглядевшись и что-то решив для себя, он вдруг сказал:

— А ведь я жил в Москве.

— В Москве?.. Когда?

— Военнопленным, совсем еще молодым парнишкой. До сорок седьмого года.

Отец Хорста — крестьянин — был социал-демократом. Фашисты отобрали у него маленький надел, а в первые же дни мировой войны забрали в армию, хотя был он преклонных лет. Погиб он где-то в Польше. Семья бедствовала. В сорок четвертом Хорста, шестнадцатилетнего мальчишку, призвали в армию. Восточный фронт. Бомбежка. Ранение в грудь, навылет. Плен. Госпиталь. Москва. Работа на стройке. И учеба в антифашистской школе.

— А что вы строили, Хорст?

— Жилые дома.

— Где? В каком районе?

И вот тут-то выяснилась подробность, ранившая нас больше всех иных: Хорст строил дома, соседние с нашим, в котором мы жили много лет, мы и посейчас ходим мимо них чуть не каждый день. А жил он в бараках возле стадиона «Динамо», и их мы тоже хорошо помним. Они еще долго стояли после войны. В сущности, только случайно не ставил Хорст Цием именно наш дом. Но мы-то представили себе: вот эти руки, не сильные, с заметно вздувшимися под кожей венами — у Хорста с войны больное сердце,— усталые руки интеллигентного человека, выкладывали кирпичные стены, которые мы столько лет видим изо дня в день. Такие уж нити повязали нас вместе, может, и крепче родственных... Это почувствовал и он. Но он-то ладно. А вот дочка его, пятилетняя Даниела, которую мы увидели в тот же день,— она мгновенно признала в нас людей близких... Вот это нас совсем проняло.

Данни была тогда длинноногая, с глазами умными и смешливыми, говорила быстро и сбивчиво... Она играла с нами в цирк, понимала шутку, жест. Она притащила из соседней комнаты охапку резиновых, матерчатых своих игрушек, с минуту понаблюдала, как мы разговариваем с ними, тут же взобралась одному из нас на колени и теперь, если уж и слезала с них, для того только, чтоб вместе побежать за мячом, или попрыгать на одной ножке по кафельным плиткам пола на кухне, или принести бумагу и карандаши для рисования.

На следующий день было воскресенье. Мы раньше еще сговорились встретиться в Варнемюнде, на верфях, с капитаном там ремонтировавшегося советского судна. И потому еще раз созвонились, попросили разрешения привести с собой Хорста и Данни.

Пригородная электричка. Катер у причала, ожидавший нас. Чайки над заливом. Причалы с грузами, пустые сейчас, в воскресенье, мы их обходили стороной. Уютная башенка

маяка поодаль. Клювы кранов над штабелями леса. Черная коробка плавучего дока. Хорст нам показывал все это. И непоседа Данни притихла.

Капитан, крепкий мужчина лет сорока, с лицом квадратным, кирпично-красным, встретил нас в своей каюте. Был он словоохотлив и вроде б даже сердечен. Долго рассказывал, как точны немцы в работе, как пунктуально выполняют свои обязательства перед заказчиком, настолько, что и нашей команде судна, тоже участвующей в ремонтных работах, приходится жить без раскачки, перекуров, но и без авралов,— общепринятый на верфи ритм заставляет подчиняться себе. Мы выспрашивали подробности.

— Но по вечерам-то и в воскресенье, вот как сегодня,— вдруг пожаловался капитан,— некуда себя деть! Такая тоска! Хоть бы кто к себе домой пригласил для разнообразия! Не то что в России...

Не первый уж раз мы слышали этакие вот сопоставления русского гостеприимства с иным, чужеземным, и убеждались: не от душевного богатства они рождаются. По многолетнему опыту поездок в разные страны мы знаем: конечно, бывают негостеприимные хозяева, но, увы, есть нелюбознательные или чванливые гости. Если люди увидят твой искренний, неподдельный интерес к их жизни, настоящей и прошлой, если умеешь обрадоваться их счастью и пережить их боль как свою, они пойдут навстречу тебе. Мы не стали спорить с капитаном, но только спрашивали его — он же здесь уже второй раз: когда-то полгода жил на достройке, приемке судна и вот уж второй месяц теперь. А был ли в Морском музее в Ростоке, где собрана одна из лучших в мире коллекций ганзейских времен?.. Нет, не был. А был ли в Доберанском соборе — это же чудо поздней северной готики, и тут рядом — на паровичке, будто вывалившемся из прошлого века, по узкоколейке часа полтора езды...

— Э-э, я вижу, куда вы гнете. А я — неверующий. Зачем мне ихние соборы?

Но, может, тогда выбрался капитан хотя бы на остров Рюген? Видел его знаменитые на весь мир обрывистые, белые, блистающие под солнцем меловые скалы?.. В войну как раз напротив них, напротив мыса Кап-Аркона затонул транспорт с узниками концлагеря Штутгоф, среди них было и советских много,— знает ли об этом капитан?

Нет, и на Рюгене не бывал. А о Штутгофе слышал впервые. Перед нами сидел человек, ничего не желавший знать и не умевший думать. Мы ни словом не обозначили, что

поняли это. А все же он почувствовал: что-то не так. Стал суетлив. Вдруг предложил водки. Мы отказались.

Между тем наступило время морского обеда. Был уже первый час. В каюту дважды заглядывал круглолицый кок в белом колпаке. Капитан спроваживал его небрежно-властным жестом руки, видимо, привычным для них обоих. Не знаем уж, почему получилось именно так... У нас на судах это не принято. Мы попрощались. Механик, молодой архангельский паренек, который нас привез на катере и теперь должен был отвозить обратно, узнав о том, зло, шепотом, так, чтоб не слышал Цием, выругался и куда-то исчез на минуту, а вернулся с горстью значков в одной руке, в другой — с каким-то пакетом, совал все это Данни, приговаривая:

— Это тебе, дочка, тебе!..

В пакете оказался парусный кораблик, искусно выделанный из морской раковины. Данни тут же достала его и, увидев, как солнце отсвечивает в перламутре, улыбнулась.

Механик проводил нас до самого вокзала, по деревянным мосткам через канал, у стенки которого была рыбацкая пристань. Разноцветные маленькие сейнеры, стоявшие здесь, после морских судов казались совсем игрушечными. Чайки летали над самыми их снастями. И ярились на солнце красною черепицей крыши старых домиков, выстроившихся вдоль канала.

За мостком, справа, стоял павильончик-стекляшка, рядом, прямо под небом,— широкие столы: там торговали горячими колбасками с булками. Мы разом взглянули туда, а потом друг на друга и, рассмеявшись, вдруг припустили чуть не бегом к оконцу, из которого, услышав наш смех, выглянула продавщица в белом, тоже улыбавшаяся. Механик опередил всех. Вернее, его отличила продавщица.

Немало лет уж минуло с той встречи. Мы переписывались с Циемами. А потом пригласили их в Москву. Они приехали все трое на рождественские каникулы. Данни вытянулась — ростом чуть не с отца. На следующий по приезде день мы все впятером пошли смотреть дома, которые Хорст строил в Москве. Денек был пасмурный, туманный, невеселый. Но это уж -- рассказ особый.

И опять мы на атомной электростанции, на этот раз — в Ясловских Богуницах, в пятидесяти километрах от Братиславы и совсем рядом со старинным городком Трнава. Точ-

нсе — тут две станции. Первая — «А-1» — дала ток еще в семьдесят втором году. Она уникальна.

Как мы уже писали, сейчас типовым, так сказать, реактором для атомных станций во всех странах сэвовского содружества избран — водо-водяной: в нем и замедлителем нейтронов, рождающихся в реакции ядерного деления, и теплоносителем — веществом, которое переносит энергию деления в котлы, является вода. Но есть станции, например Белоярская АЭС, где роль замедлителя играет графит или литий. Топливом же обычно служит на них обогащенный уран. Не вдаваясь в подробный анализ преимуществ и недостатков этих станций разного типа, скажем только: чтобы выявить вариант, пока наиболее выгодный для всех стран, атомная энергетика и должна была пройти эти разные для себя пути; только опыт, практика эксплуатации АЭС и могли стать критерием их экономичности.

Чехословакия первая из стран СЭВ, вслед за СССР, стала развивать эту отрасль энергетики. По заказу ЧССР ленинградским отделением института «Теплоэлектропроект» совместно с пражским институтом «Энергопроект» и была спроектирована «А-1» в Ясловских Богуницах, единственная в мире станция, которая работает на природном, не обогащенном уране, с «тяжелой водой» — в качестве замедлителя и с теплоносителем — углекислым газом.

Уже в ходе проектирования пришлось столкнуться с определенными трудностями, так как, кроме обычных, присущих каждой атомной электростанции блоков, или, как еще выражаются, «контуров» — таких, как спецводоочистка, спецвентиляция и тому подобных, пришлось предусмотреть большое отдельное сооружение газового хозяйства, а так же помещения в главном корпусе, в которых могли бы разместиться «контуры» по сжиганию гремучей смеси, газовой очистки.

Реакторный корпус «А-1» сваривали прямо на строительной площадке. Это было новинкой в мировой практике. Да и многое еще было внове: марки стали, машина для непрерывной перегрузки реакторного топлива, которое тут требуется менять сравнительно часто, особые компрессоры... По существу, проектные разработки шли одновременно с научными изысканиями. И многие изменения в проект вносились даже в ходе строительства АЭС. Работа оказалась чрезвычайно сложной. Длилась она почти пятнадцать лет. И в итоге выяснилось: хотя, в принципе, большинство проект-

ных предположений подтвердилось, все же получать промышленную энергию в больших количествах таким способом нерационально: и малоэффективно топливо, и сравнительно много его отходов, и дорог замедлитель — «тяжелая вода», и непроста станция в эксплуатации.

Чехословацкая ядерная энергетика была переориентирована на водо-водяные реакторы — ВВЭР. Так, что же, считать «А-1» в Ясловских Богуницах досадной ошибкой? Специалисты считают: нет, так думать нельзя. Во-первых, сооружение «А-1» помогло решить ряд проблем, важных и для станций всех других типов. Во-вторых, оно помогло становлению чехословацких специалистов — проектировщиков, эксплуатационников АЭС и машиностроителей. Заводы «Шкода», например, расположенные в Брно и выполнявшие ряд заказов для «А-1», вслед за советскими выпускают теперь реакторное оборудование и для ЧССР, и для других стран СЭВ. И совсем неслучайно атомная энергетика в Чехословакии будет развиваться особенно быстрыми темпами.

В 1978 году дал промышленный ток первый блок атомной станции «В-1» в Ясловских Богуницах, соседней с тяжеловодной АЭС, в 1979 году вступил в строй второй «ВВЭР-440»... Близ Брно, в Дукованах одновременно идут строительные работы на атомной станции «В-2». Запланировано и сооружение других АЭС. Предполагается, что в течение десятилетия — с 1980 по 1990 год — будут вводить в строй по одному типовому водо-водяному реактору ежегодно и к концу этого срока около тридцати процентов электроэнергии республики будет давать мирный атом.

Так что «А-1» в Ясловских Богуницах — не ошибка и не оплошность. Она — лишь веха на том трудном пути, который прошла ядерная энергетика всего мира.

Вся территория близ корпусов этой станции заасфальтирована, и лишь маленькие полоски земли вдоль тротуаров голы. На них растут розы. Но — не обычные. Их вырастили нелегким способом: год за годом садовник так подстригал боковые ветви, вытягивал вверх на специальных распорках центральную, что кусты превратились в деревца. Не такие уж маленькие: до пояса взрослому человеку, а иные — и выше. Узловатые черные стволики с алыми, красными, белыми шапками цветов, как бы на корню собранных в букеты, почти без листьев, одни цветы. Кожистые наросты годовых утолщений едва не наползают друг на друга, и, глядя на них,

чуть ли не физически чувствуешь, как тяжко было розам преодолеть свое естество.

Уродцы? Или красавцы?.. Не ответишь даже себе: уж очень непривычны эти деревца. Но такими уместными они кажутся здесь, на атомной электростанции, необходимыми даже, словно бы овеществился в них вполне зримый образ того тяжкого поиска, который шел когда-то в корпусах «А-1» и длится сейчас неподалеку отсюда, на строительной площадке станции с водо-водяными реакторами.

В ту поездку мы были гостями треста «Словацких энергетических предприятий». Дней десять — всего — было в нашем распоряжении. А Йозеф Лукачка, генеральный директор треста, наш давний знакомый, конечно же, от душевной щедрости, от хорошего желания показать «товар лицом» наметил для нас такую программу, которую, наверное, невозможно было бы выполнить и за месяц: мы должны были побывать на действующих и строящихся тепловых электростанциях в Братиславе, в Кошицах, в Воянах, на гидроаккумулятивной электростанции в Липтовской Маре (в часы пиковых нагрузок днем станция эта дает электроэнергию, а по ночам ее генераторы работают как насосы, перекачивая воду из нижнего бьефа в верхний, в водохранилище, чтобы днем она опять обрушилась на лопатки турбин,— станция оригинальнейшая по своим техническим решениям), на строящемся каскаде гидростанций на реке Черный Ваг, на трансформаторной подстанции в Левицах, которая, в частности, соединила чехословацкую энергосистему с венгерским городком Альбертиршей, куда шагнула от нашей Винницы самая протяженная в мире ЛЭП-750 киловольт, сверхвысокого напряжения.

По дороге мы еще должны были хотя бы день побыть в Высоких Татрах, иначе ведь, считай, что и не был в Словакии. И только потом — попасть в Ясловские Богуницы.

Не очень-то представляя себе, что нас ждет, мы согласились на эту программу. И потому каждый день отмеривали на машине километров по пятьсот-шестьсот, а то и больше, добираясь до гостиницы глубокой ночью и зная, что рано утром нас уже будут ждать люди на очередном предприятии, они предупреждены о приезде.

Дело в том, что еще в первом разговоре с Лукачкой мы обмолвились: нам хотелось бы встречаться не только с начальством или инженерами, знающими техническую и эконо-

мическую сторону дела, а еще и просто с интересными людьми, со своей судьбою, характером... Но, конечно же, мы понимали: при таких-то темпах где уж там — толковать о судьбах!..

И год назад, и сейчас пытались расспрашивать Лукачку о нем самом. Человек он явно неординарный. Вырос в громадной семье чернорабочего, в заштатном городке. С четырнадцати лет мыкал жизнь в одиночку — сперва в Братиславской промышленной школе-интернате, позже — в техникуме и в Высшей технической школе. Все годы — без чьей-либо помощи. И в тридцать лет стал главным инженером одной из крупнейших в Чехословакии строительных организаций — «Электровод», строящей по всей стране линии электропередачи и трансформаторные подстанции, еще через пять лет — ее директором. А когда мы познакомились, его только-только назначили генеральным директором треста.

Он невысок. В сорок лет волосы его, еще густые, были сплошь седыми — лунная какая-то, особенная, чуть-чуть серебристая белизна. А глаза голубые, молодые. Всегда внимательные и готовые осветиться улыбкой. Говорил он короткими фразами, в которых каждое слово точно выверено и поставлено на свое место,— лаконизм, выработанный, должно быть, многолетней привычкой к предельно сжатым проектным описаниям. Всякий раз от разговора о себе он уходил:

— Судьба, каких тысячи.

И все, что нам было известно о нем, мы узнавали от других. Теперь-то, выслушав наше пожелание, Лукачка дал команду, чтоб повсюду встречали нас люди, действительно интересные, техники и рабочие, инженеры и бригадиры, парни совсем молодые и люди, хлебнувшие лиха еще в Словацком восстании против гитлеровцев... Минимум человек по пять-шесть сразу — для того, видимо, чтоб была у нас возможность выбора. Поначалу мы и не подозревали об этакой команде Лукачки...

А выглядело это так. Мы приезжали на предприятие. Директор или главный инженер рассказывал нам о нем. А потом вставал из-за стола, открывал дверь, за которой располагался зал заседаний или так называемая комната отдыха, и говорил:

— А теперь пройдемте сюда.

И нам навстречу из-за другого стола вставали эти люди — некоторым из них Лукачка, оказывается, и сам звонил по телефону из Братиславы,— люди, которые якобы должны

были нам рассказывать о своих судьбах, о самом сокровенном, вот так, с ходу, принародно... А у нас всякий раз бывало в запасе не больше двух-трех часов. Более неловкую ситуацию трудно себе представить!

Расспрашивать кого-то одного, а остальные пусть уходят или сидят, слушают — невозможно. Расспрашивать всех сразу? Как? О чем?.. Оставалось — особенно поначалу — говорить и спрашивать о самом разном: кто и откуда родом, из какой семьи, давно ли работает здесь, учеба, зарплата, квартира, дети, родня, перспективы... А если кто-то не расположен был говорить о себе или начинал изъясняться языком официально-штампованным, мы перемежали разговор расспросами о местных обычаях, традициях, об истории здешних городков и сел. И спустя час или полтора, когда разговор или даже спор общий уже шел вовсю, один из нас с кем-нибудь, кто — скорее чувствовали, догадывались мы, чем успевали узнать,— ближе нам по душе, характеру, отсаживались в уголок, подальше ото всех, чтоб поговорить о вещах более интимных, а может, и сокровенных... Все так!

И уж конечно, каждый раз, уезжая, жалели: вот с тем-то и тем-то не час, не два и не три надо было б еще поговорить, а пожить бы рядом — недельку, ну хоть дня два! Только тогда и могло бы случиться знакомство не репортажно-журналистское, а такое, что — на всю жизнь. Могло бы! Мы видели: не только нас потянуло к иным, но и их к нам тоже.

Мы позвонили в Братиславу и попросили отменить назначенные наперед коллективные «исповеди». Но Лукачка не стал этого делать, и опять, куда бы мы ни приехали, нас встречали фразой:

— А теперь, пожалуйста, сюда...

И опять навстречу нам вставали люди, смущенные и растерянные не меньше, чем и мы сами... Лукачка не мог не понимать неловкости таких встреч. Так зачем же устраивал их, теперь уж и вопреки просьбе нашей?

Это мы поняли лишь задним числом: весь смысл был в этом немалом количестве и в повторности встреч, хотя и случались они с людьми разными, порой контрастными по характерам, но судьбы-то большинства из них оказались, кстати, схожими с судьбой самого Лукачки.

Только недавно, особенно в последние десять-пятнадцать лет, Словакия вступила на путь бурного промышленного развития, и потому-то почти все наши новые знакомые были из крестьянских семей, рабочие в первом поколении. Жизнь их отцов и прадедов веками зависела от случая: прогорит

какой-нибудь мелкий предприниматель или, наоборот, наймет тебя на работу, случится урожай или нет... Все эти действующие электростанции и новые стройки для их работников не только предприятия, которые дают или станут давать стране столь необходимую ей энергию,— они им-то самим, людям этим, помогли впервые обрести стабильность жизни, возможность совершенствоваться в избранной профессии, уверенность в завтрашнем дне.

Один электрик на теплоэлектростанции в Воянах, самой мощной в Чехословакии, работающей, кстати сказать, на донбасском угле, отец троих детей, черноволосый, худой, с лицом напряженно-красным от волнения, поначалу на все наши вопросы отвечал единственной фразой: «Я спокоен». Уже и мы улыбались, и посмеивались добродушно его товарищи, сидевшие рядом, но он даже интонации не менял, сосредоточенно-убежденной.

— А какая квартира у вас?

— Я спокоен.

— Ну все же, какая?

— Я спокоен.

— А зарплата?

— Я спокоен.

Что-то забористое по этому поводу сказал его сосед, все рассмеялись, и тогда электрик проговорил обиженно:

— Ну что вы ржете, как кони краденые! Вы же знаете, у меня мать — цыганка. Старуха уже, чего только в жизни не было, а теперь со мной живет, комната своя, телевизор в ней, еды — сколько хочешь, и знает: без денег я тоже ее никогда не оставлю. Но все равно вот она-то даже и помирать неспокойно будет: покажется ей, и в смерти ее обделили чем-то. Так будет — я знаю. Но я-то сам — спокоен. Правда,— последние слова он проговорил, уже улыбаясь.

С тех пор фраза эта стала нашей семейною поговоркой. «Я спокоен»,— и все этим сказано, проблема исчерпана.

Когда мы попали в Ясловские Богуницы, один из блоков «В-1» как раз готовился к пуску. Уже привезли и поставили в шахту реактор — тупорылую, сигарообразную посудину из голубовато поблескивающего металла, не такую уж маленькую: двенадцать с лишним метров высоты, четыре метра в диаметре, двести десять тонн веса. Немалый путь проделал реактор: по Волго-Балту и Черному морю — до Измаила, потом вверх по Дунаю — до Братиславы, а дальше — уже по суше, на специальном трейлерном поезде. Пришлось кое-

где укреплять, или, как говорят строители, «наращивать», мосты, а близ Трнавы маленькую речушку предпочли форсировать вброд.

Блок строящейся станции делится как бы надвое мощной железобетонной стенкой, в самом верху которой торчат пока еще, словно волосы, вставшие дыбом, бесчисленные прутья арматуры. Впрочем, это одно слово — «прутья»: иные из них в диаметре толще руки... За стенкой — «первичный контур»: реактор, задвижки, парогенераторы, циркуляционные насосы... По другую сторону стенки, ближе ко входу — все как на обычной тепловой электростанции: громады котлов, рядом с которыми совсем крохотными кажутся уже смонтированные генераторы.

Одной из внешних стен здания пока еще нет, уложен только ее фундамент. С той стороны примкнет к этому блоку АЭС следующий. В открытый проем далеко видно зеленую равнину и замыкающую горизонт полоску лесов. А площадка рядом со зданием вся взрыта, вздыблена — глинистая, рыжая на солнце.

Да и в самом здании строительные работы идут одновременно с монтажными. И потому повсюду набросаны обломки, обрезки железа и досок, покареженные, взломанные отбойными молотками бетонные плиты, щиты, небрежно брошенные через ямы вместо мостков... Где-то подтекает труба, и идти приходится по доскам, кинутым в лужу. Ералаш лесов, опалубки, торчащих штырей арматуры — как таежный подрост; в иных закоулках блока мы едва пробираемся, то бочком, а то согнувшись в три погибели.

Нас водят по стройке главный инженер проекта Виталий Александрович Крюков, ленинградец, и заместитель генерального директора АЭС Леонид Пестов.

Трудно представить себе людей более разных.

Крюков — молчаливый, с узким прищуром темных, умных глаз. Он из простой семьи, все ему в жизни доставалось тяжко, своим горбом, добросовестнейший трудяга, и ночь, и две просидит над чертежом, коли есть в том нужда, а потом даже словом не обмолвится об этом — что ж тут особенного?.. Он курит «гвоздики» — пирамида из пачек «Прибоя», привезенных из Ленинграда, занимает у него тут дома чуть не половину платяного шкафа. В квартире — а вечером мы наведались к нему — лишь самое необходимое, но именно у Крюковых чаще, чем у кого-либо еще, собираются посумерничать его советские и словацкие коллеги. Причем на вечеринках таких самого-то хозяина вроде бы и не видно.

сидит где-нибудь в уголке, улыбаясь шуткам друзей, а те чувствуют себя вольготно, но знают: говорить можно только о значимом для всех, за болтовню пустую тут и высмеют.

А Пестов: душа нараспашку, темперамент неудержимый, вместе с тем неукоснительная, чуть не педантичная честность. Пестов возглавляет в дирекции все строительные работы, и на его долю достается больше всего конфликтов, споров, недоразумений.

Дело в том, что тут, на площадке АЭС, равно властвуют три по существу независимых друг от друга ведомства — примерно та же картина, что и в Пакше, в Венгрии. Дирекция — она представляет Министерство топлива и энергетики ЧССР — всего лишь, как здесь говорят, инвестор: владетель денег, финансирует строительство. В его праве оплатить или не оплатить уже сделанную работу, но в ее ход дирекция формально вмешиваться не может. А ведет стройку «Гидростав», одна из крупнейших организаций Министерства строительства Словацкой республики. Но только лишь действительно стройку: весь монтаж оборудования — в руках Министерства тяжелой промышленности, машиностроительных заводов-поставщиков, главным образом фирмы «Шкода», которая, в свою очередь, командует еще пятнадцатью субподрядчиками, по местной терминологии — «финалистами».

Три этих ведомства абсолютно равноправны. Никто никому ничего не может приказать Они могут только просить, рекомендовать Но могут, скажем, и скрыть свой грех за чужой спиной, зацепившись за какую-либо формальность. Экономика, и стройка, и монтаж — все взаимосвязано, и, конечно, всегда можно, при желании, подставить соседу ножку.

И даже в правительстве ЧССР апеллировать за помощью в повседневных делах по существу не к кому: там есть, правда, министр-координатор всех ведомств, участвующих в строительстве атомных электростанций, но и он может только просить, уговаривать. Власть употребить в спорных случаях — вот как наш министр энергетики и электрификации СССР Непорожний — он не имеет права. Конечно, принципиальные, коренные вопросы развития энергетики решаются на заседаниях правительства ЧССР или в рабочем порядке его Председателем, заместителями Председателя. Но ведь с каждодневными конфликтами в такие высокие инстанции выходить не станешь. А споров всегда множество на любой стройке.

И вот потому-то — так уж исподволь повелось в Ясловских Богуницах — все здесь предпочитают с любым сложным

вопросом обращаться к Пестову, а не искать правды на стороне. Знают: он может и вспылить, и высмеять принародно слишком уж зарвавшегося, но всегда сумеет отделить в споре объективное от субъективного и пощадит чье-то самолюбие, если это нужно в интересах дела, вообще всегда исходить будет прежде всего из этих интересов, а не из каких-либо еще. Человек причудливой судьбы, он способен даже и на добрую авантюру какую-нибудь, если она — самый короткий путь к цели.

Отец Пестова — русский военный летчик, штурман, попавший раненым, с госпиталем, во время первой империалистической войны в Болгарию, там женился и осел в Габрово. Он до последних лет преподавал в гимназии. С сорок пятого года и до сих пор возглавляет местное отделение болгаро-советской дружбы. У него — двое сыновей-близнецов: Леонид на пятнадцать минут старше своего брата. Брат в сорок четвертом вступил в Советскую Армию, воевал, а потом принял советское гражданство, кончил московский институт и сейчас по контракту уехал на несколько лет работать в Алжир, геологом.

А Леонид еще юношей перебрался жить к тетке, в Братиславу, в пятьдесят шестом году — в Прагу, а как только началась стройка в Ясловских Богуницах — сюда. У него — чехословацкое подданство. Но все на стройке, в том числе и сербы, и поляки — есть тут рабочие из стран соседних, внешне отличающиеся от других, впрочем, лишь иным цветом защитной каски: так удобней для мастеров, бригадиров,— и, конечно, советские специалисты, все считают Пестова «своим». Кстати, и это тоже помогает ему улаживать иные конфликты. А сам о себе, смеясь, Леонид говорит:

— Кто по национальности я? Славянин!..

Высокий, плечистый, с открытым лицом, очень рельефным,— прямой нос, крепкий подбородок, большой, чуть выпуклый лоб, волнистые волосы... Внешне, пожалуй, похож Пестов на нашего популярного когда-то актера Столярова, переигравшего в кино, кажется, всех сколько-нибудь примечательных героев русских сказок.

Но особенно хороши Пестов и Крюков вместе, рядом. Дотошный Виталий Александрович воспользовался и нашим совместным походом по стройке — останавливает Пестова чуть не на каждом шагу.

У блока компрессорных установок:

— Леонид, ты бы мог тут начать монтаж?

Пестов только плечами пожимает: о чем, дескать, речь?

— А шкодовцы говорят, вон та стенка не покрашена, видишь?

— Так я же сличал их спецификации: они сами чуть не треть закладных частей не довезли еще!..

Пестов тут же разыскивает представителя одного из шкодовских «финалистов». Что называется, на пальцах доказывает ему: площадка для монтажа готова, нечего ссылаться на недоделки маляров, наоборот, даже лучше стенку-то эту потом покрасить... Они разговаривают, бурно жестикулируя.

А Крюков, сутулый, маленький, в очочках, стоит в сторонке молча, будто и сам сторонний чему бы то ни было тут. Только глаза хитро поблескивают, когда он объясняет нам: стройка сейчас выбилась из графика, но еще не поздно поправить дело, если совместить во времени, в пространстве монтажные и строительные работы. Первоначальный-то график рассчитан на срок раза в полтора больший, чем на наших АЭС, в России. Механизация работ в Ясловских Богуницах такая же, производительность труда рабочих, пожалуй, и повыше — вполне можно успеть, если состыковать все эти организационные межведомственные противоречия... И минут через пятнадцать, уже в реакторном отделении, он опять останавливает Пестова, объясняет ему: в том-то и том-то изменен проект производства монтажных работ на одном из узлов, изменен, чтоб таким вот единственным способом увязать новую концепцию техники безопасности, увеличившиеся в связи с этим объемы работ с прежним их графиком. Чертежи, расчеты посланы в Прагу, в «Энергопроект», на согласование, но стоит ли ждать этой визы-галочки — иного решения все равно не найти... Пестов перебивает его:

— Это я беру на себя. Считай, что есть у тебя виза-галочка.— И тут же поворачивается к нам, говорит усмешливо: — Иные понимают демократию как возможность свою вину подарить соседу. И тут дело даже не в том, чтоб и проектировщиками, и монтажниками, и строителями, и финансистами командовал один хозяин, вот как у ваших энергетиков — Непорожний. Это, конечно же, лучше. Но и к Непорожнему не со всяким спором пойдешь. Бывал я на ваших стройках, видел, как на планерках ищут крайнего — кажется, у вас так это называется?.. Кто крайний в очереди, тот и виноват. Нет, тут все сложней. Тут такие организационные формы искать нужно, чтоб невыгодно, ни к чему стало б искать крайнего-то... Вы с опытом нашего «Электровода» в Братиславе не знакомились?..

знакомились. Еще в предыдущую свою поездку в Словакию. Мы тогда несколько дней колесили по строящимся здесь линиям электропередачи, трансформаторным подстанциям с начальником проектного отдела Йозефом Чупкой. Уж очень хотелось ему, чтоб не на карте, а воочию мы смогли представить себе всю изящнейшую схему энергоснабжения страны, ее связей с энергосистемами стран соседних: Венгрии, ГДР, Польши, схему, в которой ни одного штриха лишнего.

Нам-то поначалу казалось: ну зачем? Что изменится от того, что посмотрим мы еще и еще одну ЛЭП, каких видели уже не один десяток, пусть бы и у себя в России или в других странах, увидим так похожие друг на друга подстанции в Подунайской Бискупице, Крижованах, Левице,— хватило бы и одной из них!.. Но Чупка-то знал: важно физическое ощущение пространства, пейзажа. И позже, когда увидели мы, как все эти опоры ЛЭП высятся на дальних синих горах и ближних коричнево-зеленых холмах, на полях среди убранного уже хмеля, но проволочные вешала его, подставы еще торчат в небе, будто антенны, беспрерывно что-то транслируют сердцу, уму; когда мы увидели, как разлапые конструкции опор вышагивают по окраинам деревень, где сразу за асфальтовыми обочинами — клумбы с розами, ничем не защищенные, никакими оградками или строгими надписями,— и никто не рвет, надо же! — и как выстраиваются они шеренгами на лугах, сверкающих осенней, последней, пронзительной зеленью, и на краю оврагов, заманивающих своей темной кустарниковой глубиной; когда увидели мы на всех этих подстанциях мощные портальные опоры — «входные ворота», поднявшие плечи свои к самому синему небу,— только тогда, конечно же, не раньше и смогли мы представить себе всю громадность работы, проделанной «Электроводом» за последнее десятилетие, только тогда даже и те из опор, что удалены друг от друга на сотни и тысячи километров, поднялись для нас в единственно точных, необходимых местах, словно две соседние: вот стремительными, ритмично-изящными дугами висят провода меж ними, и ни на шаг ближе ли, дальше опоры эти поставить нельзя.

Поначалу было нам немного не по себе: начисто выбили из повседневной работы Йозефа Чупку. А отдел его проектирует множество новых объектов, и не только в Чехословакии: вместе со своим коллегой Людовитом Быстраном Чупка участвовал, например, в конкурсе на проектирование одной из ЛЭП в Кувейте, и они победили в нем, хотя кроме них конкурсантами были специалисты из целого ряда стран —

Индии, Болгарии, ФРГ, Франции... Победили за счет более совершенной конструкции опор, более легкого веса их, сборности сложных фундаментов, экономичности ЛЭП.

Мы стали расспрашивать подробности об этой ЛЭП, и Чупка остановил машину у какой-то придорожной корчмы, чтоб сесть за стол, за столом удобней набросать схемки ЛЭП, ее опор, фундаментов — мы должны все себе представить в точности!.. Опять — задержка?.. Но Йозеф, рассмеявшись — он молодой еще, курчавый, веселый человек,— успокоил нас: дескать, увидим — все к делу. И вообще для него такая вот дорога, многочасовые разговоры об уже сделанном, а то и вовсе стороннем — самый лучший отдых; и еще — дорога, по его мнению, это и есть жизнь, а все остальное — лишь досадное приложение к ней. Он и начинал-то с проектирования подстанций, а через года два переключился на линии передачи ради единственного: чтоб больше ездить.

В корчме, за столом, сколоченным из широченных, гладких, голых досок, мы пили кофе, а Чупка, достав из портфеля листы бумаги, чертил и рассказывал.

В Кувейт он летал раз пять и подолгу жил в столице, Эль-Кувейт — городок причудливый. Особняки неграмотных шейхов — владельцев нефтяных земель, разбогатевших в одночасье, а рядом — таборы иностранных рабочих чуть не со всей Европы, которые круглый год живут под открытым небом, благо средняя годовая температура здесь не ниже двадцати пяти градусов жары. Фантастический базар из сказок «Тысяча и одна ночь», на котором можно купить все, но и все потерять, и жизнь в том числе, если зазеваешься. Кондишен и неизменная прохлада гостиницы, расположенной на окраине города, близ пустыни, ее раскаленных песков, о которых даже вспомнить страшно, помотавшись перед тем день напролет среди коричнево-черных барханов — через них-то и тащили спроектированную Чупкой ЛЭП. Роскошный дворец Сейф — официальная резиденция главы государства, а напротив — набережная, где швартуются, как и восемь веков назад, арабские баркасы «дау», первые в мире суда, на которых был применен треугольный парус, позволивший им двигаться против ветра с помощью простого лавирования. А еще чуть поодаль — громады современных супертанкеров...

И жара, изнуряющая даже ночью; только и можно дышать — тут, близ моря. В Эль-Кувейте у Чупки впервые начало шалить сердчишко, и сейчас даже дома чуть что — испарина на лбу: за любовь к дороге надо платить. Но Чуп-

ка считает — игра стоила свеч: часть кувейтского гонорара за проектирование ЛЭП — в валюте — перечислили и «Электроводу», проектный отдел приобрел несколько американских портативных электронно-вычислительных машинок, точно таких, какими пользовались космонавты в программе «Аполлон»,— сто операций в миллисекунду, девять памятных устройств хранят по сто бит информации каждая.

Потом, в Братиславе, Чупка покажет нам эти «игрушки»: можно подключить в электросеть, а можно вместе с батарейкой чуть не в карман сунуть. В полминуты оператор на наших глазах проделает все расчеты сложнейшего фундамента, который мы попросим гипотетически поставить в болоте, а болото это загоним в горы, на немыслимую крутизну,— ситуация в жизни невероятная. Обычная счетная машина затратила бы на эту головоломку не меньше часа, а вручную инженеры отдела просидели бы с нею сутки. Между прочим, теперь, год спустя, проектировщики «Электровода» получили и еще одно вычислительное устройство, с памятью в 7000 бит. И несколько машин — множителей чертежей: они сами задают экспозицию, снимают, копируют, режут и складывают чертежи. Вместо десятка человек на этой работе теперь занят один.

Все это, конечно, не могло не заинтересовать нас, и прежде всего вот с какой точки зрения: откуда у «Электровода» такие возможности? Какова организационная структура его?

— Все было,— объяснил Чупка,— как и на любом обычном строительном предприятии, пока не назначили директором «Электровода» Йозефа Лукачку. Вот он-то и решился на смелый эксперимент и сумел настоять на том, чтоб позволили осуществить его: объединил под одной крышей, под одним началом и строителей, и проектировщиков.

Но тут мы должны сделать еще отступление. Мысль о таком объединении — не новая. Одному из авторов этих строк в пятьдесят шестом году пришлось работать в Братске, когда там все только еще начиналось. И как раз тогда шли яростные споры проектировщиков и строителей, впрочем, так и не утихшие до самой сдачи ГЭС в эксплуатацию. Главный инженер строительства, один из талантливейших энергетиков нашей страны, Арон Маркович Гиндин, которому впоследствии присвоили звание лауреата Ленинской премии за Братск, доказывал: только главный инженер проекта и может стать главным инженером строительства, или наоборот; Братская ГЭС уникальна, потому и самое время именно

при ее сооружении осуществить этот необычный эксперимент,— пожалуйста, говорил Гиндин везде, где только мог, он готов либо свой пост уступить, либо занять эти два сразу: дело не в его или чьем-то еще самолюбии — в принципе. Иначе споры о любом пустяке будут тянуться годами, проектировщики, девять десятых из которых сидят в Москве или в других европейских городах Союза, никогда не смогут узнать досконально местные условия, не смогут работать оперативно, неизмеримо вырастут непроизводительные расходы и по проектированию, и по строительству ГЭС, и вот тогда-то вопросы престижа, самолюбия действительно станут важней интересов дела, подпись-виза под чертежом, борьба за честь мундира перевесят все остальное.

Увы, так оно часто и случалось впоследствии. На стройке даже вынуждены были организовать свою мощную проектную контору, которая, кажется, только тем и занималась, что «доводила» чертежи, выпущенные, завизированные «Мосгидепом», до ума. И таким образом строителями было осуществлено великое множество рационализаций, с одной стороны, конечно же, усовершенствовавших проект ГЭС, удешевивших ее стоимость, но с другой-то, в конечном счете, влетевших государству в копеечку. Так было двадцать пять и двадцать лет назад. А не так уж давно на строительстве КамАЗа на одной из планерок стали мы невольными свидетелями случая почти анекдотичного.

Была осень, и грязь на стройке — безвылазная, библейская какая-то хлябь. Когда застревал в иных местах самосвал и начинали его выдергивать тягачами, то, случалось, рвали раму пополам, вытаскивали лишь передок машины, а кузов так и оставался в яме. А надо было спешно, до зимы дать тепло в корпуса строящихся заводов-гигантов, а значит, подать туда и ток, поставить рядом трансформаторную подстанцию. И вот проблема. по бетонке подвезти к корпусам тяжеленные трансформаторы — пустяковое дело, но на сотню-две метров дальше, туда, где им назначено стоять по проекту, в самую хлябь, как затащить эти многотонные и деликатные, словно ящики с хрусталем, махины?.. Выход один: проложить сперва от основной дороги вбок такие же бетонные «усы».

Для такого гиганта, как КамАЗ, это плевое дело, тут вроде и проблемы нет. Но на планерке уперлись проектировщики: не должно быть бетонных усов, а всего лишь — времянка, чертежи не подпишем. А без такой подписи банк не примет документы к оплате. И как им ни доказывали: время сейчас дороже этих денег, не дадим тепло в корпуса

до зимы — потеряем не сотни, а миллионы рублей, проектировщики стояли на своем. И даже не по дурости или там вздорности: у них ведь тоже своя смета, с них тоже спрашивают, им тоже важно уложиться в определенную сумму затрат... Словом, оправданий, вроде и объективных, в таких случаях всегда можно найти множество. Спор шел истовый, словно бы мы сидели все на заседании правления какого-то захудалого колхоза, а не на крупнейшей в стране стройке, где ежедневно тратятся миллионы рублей, где проектирование главных объектов велось одновременно с их строительством, и потому здесь в зависимости от последних достижений техники, находок технологических меняли уже не раз самые главные, принципиальные решения проекта с тем, чтобы КамАЗ в ходе стройки не отстал от передового уровня в мировом автомобилестроении, а, наоборот, стал его флагманом.

Но это — «главные», «принципиальные». А вот в мелочах...

«Усы», конечно, построили, трансформаторы дотащили до места, тепло в корпуса дали. Но мы так и не знаем: оплатил ли банк эти мизерные расходы на бетонные «усы» вместо времянок или так и повесил их строителям на убытки. Впрочем, такие ли уж мизерные?.. Там — «усы», там — «бакенбарды», там — «бородка»: по волоску-то и пышная шевелюра наберется.

Словом, проблема эта для нас давняя. Суть ее проста: не удорожат ли смету переделки проекта в ходе строительства, сколь они многочисленны могут быть, кто несет ответственность за них и не скажется ли другой, чем сейчас, порядок проектирования и выполнения работ на их качестве? Споры такие можно вести до бесконечности, не имея иной практики.

В Братиславе до пятьдесят восьмого года все проекты, необходимые «Электроводу», тоже выполняла организация, независимая от него,— «Энергопроект». А потом «Электровод», по инициативе Лукачки, взял в «Энергопроекте» десятка три инженеров, набрал и новых еще. Кстати, отдали из «Энергопроекта» одну лишь молодежь, без особого опыта — не жалко, мол. И новички — тоже только из института. Но оказалось в этом одно из преимуществ: работники нового проектного отдела не обросли еще косными привычками, охочи были ко всему новому и, вот как Чупка, согласны были в любое время выезжать на строящиеся объекты, выполняя там любые задания.

И теперь «Электровод» все новые линии передачи и трансформаторные подстанции проектировал сам. Двадцатилетний с лишком опыт такой работы выявил ряд преимуществ, о которых прежде строители могли только догадываться. Оказалось, во-первых, можно разделить проектирование как бы на две части. Сперва решить главные, конструктивные элементы проекта и уже тогда сделать первые заказы заводам — поставщикам материалов, оборудования, не дожидаясь, как прежде, одобрения заказчиком всего проекта в целом. Ну, скажем, определить тип опор и начать их изготовление — а это трудоемкое, нескорое дело! — еще до того, как будут решены проектировщиками всякие электротехнические хитрости, индивидуальные чуть не для каждой ЛЭП. Зато потом-то, когда проект будет одобрен, сразу же можно приступать и к его выполнению: копать котлованы, бетонировать фундаменты, монтировать опоры, не промедлив ни одного дня.

Во-вторых, проектировщики и строители перестали валить вину за ошибки друг на друга: все на одном корабле, и все одинаково старались не допускать этих ошибок — их теперь попросту меньше стало в несколько раз, подсчитать было нетрудно. Может, из-за того еще меньше, что новый опыт аккумулировался отныне в одном месте, в одних головах.

А опыт такой, особенно в условиях сложных — идет ли ЛЭП через горы, а их много в Словакии, или болота, или в густонаселенных промышленных центрах,— очень часто можно добыть не за кульманом сидя, а только лишь практикой, на строительной площадке. Тут невозможно все предусмотреть заранее, будь ты и семи пядей во лбу. И надо себя поправлять, постоянно корректируя фантазию практикой. Это — в-третьих.

А в-четвертых, именно поэтому проектировщики постоянно вынуждены бывать и на стройплощадках. Вот и Йозеф Чупка, случается, работает время от времени то в качестве начальника участка, а то и бригадирит, всякое бывало. Мы потом, позже, побывав с ним у строителей, убедились, что это так, уже по одному тому, как он разговаривает с рабочими: мало того, что многих из них знает по именам,— так разговаривать, по тону, стилю, может лишь человек, побывавший и на их месте, похлебавший с ними лиха не неделю и не две подряд. И важно, что такое вот «совместительство» неизбежно вырабатывало единую для строителей и проектировщиков техническую и технологическую концепцию любой

стройки. Спорить по пустякам стало некогда, да и незачем.

А что касается качества строительных работ, все еще проще. Как и обычно, контроль за ними осуществляет еще в самом ходе строительства заказчик, «инвестор», а кроме того, и отдел технического контроля «Электровода», ОТК. А когда работы окончатся, создается специальная комиссия, в которую входят представители всех заинтересованных организаций. Комиссия дотошно перечисляет в своем протоколе погрешности, отступления от сметы и первоначальной схемы проекта.

Вот что еще важно: при этом никто не канючит — мол, есть недоделки, но вы все-таки акт о приемке объекта подпишите, потому что план горит, а мы, дескать, потом эти недоделки устраним,— так, как оно бывает у нас зачастую. Не канючит, потому что потом, в течение года, линия будет проходить испытания, она еще и не будет числиться окончательно принятой к эксплуатации, и все недоделки, обнаруженные за это время, строители «Электровода» все равно должны будут выполнить за свой счет. А «Электровод» — организация хозрасчетная, и ему просто невыгодно допускать большое количество таких недоделок, что-то оставлять на «потом», тем более и окончательный-то расчет с банком — лишь спустя год, и тут, как это бывало, ни на слезу, ни на горло, ни с кондачка, рассчитывая на спешку и на срочность, никого не возьмешь, не убедишь, не разжалобишь.

Да и незачем это делать. Ведь через год-то, прежде чем линия перейдет в полную власть эксплуатационников, все огрехи, если они есть, неизбежно выплывут наружу. И лишь тогда, после вторичной приемки линии и нового заседания высокой комиссии, подбиваются все бабки и выплачиваются «Электроводу» те самые прибыли, за счет которых он волен, в частности, и премировать своих лучших работников, и улучшать их культурно-бытовое обслуживание, и покупать новую технику для развития производства.

Был проделан подробный анализ многолетней работы по-новому. И вот что выяснилось. Не учитывая многие иные перемены в «Электроводе», которые произошли за эти годы,— ну, например, сооружение собственных заводов строительной индустрии, завода металлоконструкций в Жилине, железобетонных изделий в городе Сенец, арматурного — в Кремнице, не учитывая новой передовой технологии, внедренной в производство: оцинковки металлических опор в специальных ваннах, в заводских условиях, вместо ручной их покраски, дорогостоящей, кропотливой, трудоемкой, такой,

как была прежде, не учитывая количественный рост «Электровода», его техническую оснащенность и прочие новации этих лет,— без всего этого, вместе взятого, простое совмещение под одной крышей проектировщиков и строителей только по времени дает для любой стройки выигрыш минимум в год. Подумать только — всего-то: чуть иначе перетасовал карты одной и той же колоды, и на тебе за это год жизни! Задарма, вроде б за «так»!..

А ведь плюс к тому совмещение такое как раз и позволило быстрей, эффективней внедрить, в частности, и те новшества, о которых мы писали абзацем выше и многие, многие иные. Так и они — не в счет. Год жизни — из ничего вроде бы... Почему же не провести подобный опыт у нас? Поначалу хотя бы в одной-двух строительных организациях. А сколько их у нас всего, в Союзе?.. И вот если каждой ни за что ни про что — год?.. Ну пусть не каждой! Ведь и «Энергопроект» по-прежнему благополучно здравствует, и вот, в частности, по его проектам строится атомная электростанция в Ясловских Богуницах, при его участии решаются и все иные проблемные вопросы энергетики страны.

Конечно, масштабы иных строек у нас не сравнить со словацкими. Мы накопили и свой опыт по проектированию и строительству таких гигантов, как Братская, Красноярская, Саяно-Шушенская гидростанции, Нурекская, с ее самой высокой в мире насыпной плотиной, Вилюйская — первая крупная гидростанция, построенная на вечной мерзлоте, и тысячи километров линий электропередачи, проложенных в тяжелейших условиях непроходимой тайги, болот, гор,— все это мы прекрасно знаем и не можем не гордиться, когда читаем восхищенные отзывы об этих стройках специалистов из разных стран, в том числе и из тех, где не очень-то принято нас хвалить. Все так!..

Но в данном-то случае речь об организационных принципах, одинаково насущных как для маленьких, так и для больших строек. Важно только внедрить это новшество и у нас, пусть бы и на одной поначалу стройке,— когда преимущества ее станут очевидными, и другие, малые и большие, не захотят работать по старинке.

Вот об этом мы и толковали теперь, год спустя после первой встречи с Йозефом Чупкой, сидя поздним вечером дома у Виталия Александровича Крюкова вместе с Леонидом Пестовым и с Анатолием Михайловичем Шоховым, возглавляю-

щим здесь, в Ясловских Богуницах, монтаж реактора АЭС, и с Всеволодом Викторовичем Гумой, одним из ведущих специалистов научно-исследовательского московского института, разрабатывающего, в частности, технологию монтажных работ. Гума вел самый сложный монтаж на всех наших АЭС, начиная еще с Обнинской, и вот приехал сюда, в Словакию, куда он впервые попал с частями Советской Армии, спешившими на выручку словакам.

Странная, в самом деле, получилась ситуация: словацкие энергетики, завидующие организационному опыту наших строителей, в основе которого — один хозяин, единоначалие в разнородных предприятиях, организациях, сами же и шагнули чуть дальше вперед по тому же пути, сумели в «Электроводе» объединить не только лишь формальное руководство проектировщиками и строителями, отдав его директору право приказывать тем и другим,— нет, объединили их каждодневные усилия.

Об этом мы и толковали все вместе. И нам не надо было доказывать друг другу, что и этот, чисто организационный опыт, разный во всех наших странах, в конце концов, рано или поздно, теми или иными путями, но неизбежно станет достоянием каждой из них. В этом тоже одно из неизбежных последствий экономической интеграции всех участников сэвовского содружества: вседнευно общаясь друг с другом, страны, как и люди, просто не могут не взять и все лучшее, что есть в каждой из них.

Разговор затянулся до позднего вечера. А ночевать нам надо было ехать в дом отдыха «Электровода», под Братиславу, за несколько десятков километров. Мы добрались туда затемно, едва живые, мечтая о том, как завтра впервые за всю эту поездку сможем полдня отдохнуть — единственный перерыв в круговерти, уготованной нам гостеприимным Йозефом Лукачкой. Не подозревали мы, что сами же и сорвемся с места еще до света, увлеченные поиском следов совсем иных людей, о которых прежде мы почти не знали и чья судьба причудливо вплелась в историю наших стран.

А началось все с глиняной птичьей фигурки, стоявшей на полке в столовой дома отдыха. Длинный клюв и пышный нимб из лимонно-коричневатых перьев вокруг головы... Мы осторожно взяли скульптуру в руки, а она будто высвобождалась из них для своего таинственного полета, скосив круглый глаз и напрягая тонкие лапки. И будто что-то знакомое примере-

щилось в фантастической этой птице, так же, впрочем, как и в росписи блюд и кувшинов, стоявших рядом с нею на полке.

Пани Мария, радушная хозяйка дома отдыха, объяснила:

— Это все подарки Игнаца Бизмайера. Он народный мастер и наш сосед, потомок хабан.

Так вот в чем дело! Вот откуда особенный, прозрачный, а вместе с тем блестящий свет глазури на кувшинах, блюдах и такая причудливая птица эта, и в реальность ее не поверить никак нельзя, вот в чем дело!.. Но неужели живет, в самом деле, здесь потомок хабан, этого удивительного племени, расселившегося когда-то в порубежье нынешних Словакии, Моравии, Венгрии и лет двести назад ушедших отсюда в Россию, а оттуда откочевавших в Америку? И не просто живет, а множит художественные традиции их?.. Пани Мария, заметив удивление наше, предложила: утром Игнац Бизмайер едет в Стражницы — как раз сегодня о том шла речь, там какой-то народный праздник и там же живет Герман Ландсфельд, старый художник — учитель Игнаца, историк хабан,— так вот, если мы хотим, она сейчас же сходит к Бизмайеру и попросит взять нас с собой. Так оно все назавтра и сделалось.

Как раз в эту поездку, всего несколько дней назад в братиславском музее впервые увидели мы работы хабан. Там была их, увы, временная выставка. Почти на каждом блюде, кувшине и фаянсовой банке, изукрашенной орнаментами, изображениями невиданных зверей, птиц, странных человечков, была пометка: имя мастера, год, когда на свет появилось изделие. Мы пришли туда на час, а застряли на выставке надолго, нам разрешили остаться в залах и после закрытия музея.

И мы узнали: в XV веке в Швейцарии возникло под руководством Якуба Гутера братство — община хабан. Будто наименование их произошло от слова «Haushaben», были они немецкоязычны. Одевались в кафтаны, носили широкие шляпы — не случайно на сосудах, изготовленных ими, многие человечки в таком же одеянии,— не брили бород, не употребляли спиртного, не курили. Все заработанное в общине делили поровну, общими были ясли, школы. Хабаны отказывались от воинской службы и, мирные ремесленники, яростно выступали против кровопролитий и войн. Ни на одном сосуде мы не увидели батальной сцены или смертельной стычки... Жили они — Дворами, по сотне человек. И будто в Моравии было таких Дворов множество, а в Словакии — 13. Неизвестно,

почему они пришли сюда из Швейцарии, но уж здесь к XVII веку, пока не изгнала их за антивоенную проповедь императрица Мария-Терезия, развивали разные ремесла и особенно высокого мастерства достигли в гончарном промысле и искусных росписях своих изделий, обогатив ими свою временную родину.

Миссионеры-хабаны подолгу жили в Италии, Испании, есть версия, что и на Востоке, в Японии, Китае, вызнали тайны народных традиций гончаров-художников этих стран, способы обжига, поливы, нанесения красок, составы их, секреты оловянной глазури, восприняли необычные мотивы орнамента и неожиданную символику.

В Братиславе, в самом центре Европы, было заманчиво-странно наблюдать, как у горловины кувшина становится на задние лапы лев, высунув острый язык варана, а в нижнем ярусе — у основания сосуда — куст напоминает яркие языки горящего костра.

Завораживала и своеобычная красочная гамма, светящийся металлический блеск — люстер — их оловянной и свинцовой глазури. Хабаны добавляли в нее окись меди или железа, и стекловидная поверхность приобретала зеленоватый, а то желтовато-коричневый колорит. Нельзя было глаз оторвать от росписей по кобальту, от узоров белой глазури по голубому и синему глазурованному же фону. И в каждой росписи — свой, неповторимый мотив: порой цветок смахивал на птицу, птица — на растение, и красочные живые нити как бы связывали их то со сказочными человеческими существами, а то с будто б и вовсе реальными.

Хабаны донесли свое мастерство и до наших российских земель. Их колонии были в нижнем течении Дона, на реке Молочной, в северном Крыму. Будто б и здесь находили черепки их причудливой майолики. Но, к сожалению, никто из наших специалистов историей хабанского искусства, кажется, не занимался. Правда, хабаны и жили здесь недолго: Екатерина II, как перед тем Мария-Терезия, изгнала их, противников войн, и они перебрались за океан.

Но то все происходило давным-давно, а вот тут — сегодня, сейчас, рядом — потомок и продолжатель художественных традиций хабан! Соединялось вроде б и несоединимое.

Высокий, статный, курчавый, со спокойным и вдумчивым взглядом голубовато-серых глаз, Игнац Бизмайер выглядел от силы лет на тридцать пять — сорок, хотя перевалило ему далеко за пятьдесят. Он только усмехнулся, когда мы заговорили об этом вслух

— Вот увидите Германа Ландсфельда: ему под восемьдесят, а темперамента хватит на толпу юношей! Если б не он, я скорее всего и не проснулся бы как художник...

Мы сидели втроем на заднем сиденье машины, Игнац держал руки на коленях, но порой растирал каким-то привычным манером ладони, пальцы, быть может, то была привычка гончара. Он заметно обрадовался, узнав, что может изъясняться с нами по-словацки, и рассказывал охотно:

— Герман научил меня своему отсчету времени. Знаток-коллекционер, он до тонкости понимает народное искусство, точно ощущает, как и что творил каждый мастер с глиной и краской. Как никто, чувствует крепость, если хотите, свежесть изделий хабан — уж он-то никому не даст скинуть их со счетов нашей собственной жизни... А первый раз я увидел его, когда мне было лет десять: в Кошолне, близ Трнавы, у нас во дворе — смотрю, стоит, маленький, худенький, быстрый, с пронзительными глазами, в руках лопата и мешок, спорит с моим дедом, уговаривая разрешить ему тут же, за домом, покопаться в земле: «Я знаю, тут жили хабаны-гончары». Он похож был на гнома. Ростом чуть ли деду не по пояс! А дед басил сверху: «Детвора играет в какие-то черепки. Кому ж еще нужна битая посуда?!. Ну, если так, подождите, выкопаем картошку — тогда...» Но Герман начал копать уже через день. И аккуратно тут же раскладывал на земле осколки кувшинов, блюд, чаш. Потом ему удалось некоторые из них склеить, восстановить. Я пристрастился ему помогать и сам не заметил, как, слушая его бывальщины о хабанах, научился примечать свойства разных черепков. Герман будто и ненароком выспрашивал, как я определяю особенности того цвета и другого, а однажды попросил меня показать свои рисуночки — я так любил рисовать. И уж после того Ландсфельд пришел, специально приодевшись, к отцу. Я понял: из-за меня. И сидел в саду, под раскрытым окном, слушал. Сперва они толковали тихо, но вдруг отец повысил голос: «С какой стати я отдам его вам в ученики, когда у нас, Бизмайеров, во многих поколениях насчитываются искуснейшие столяры!» — «Это так,— отвечал Герман.— Но прежде-то в вашем доме жили гончары-кудесники. Вот смотрите...» Он начал показывать изделия хабан. А я уж бредил их причудливыми орнаментами, забавными человечками, разгуливавшими по кувшинам, диковинными зверями, птицами... И начал я примечать в сумеречные часы, на ранней зорьке и вечерней, что деревья в нашем саду, и даже кустарник, таят в себе такую жизнь, о какой раньше я, мальчишка, и не подозревал

Все наши словацкие песни и сказки будто виделись в образах живых существ, населяющих и мой двор, и близлежащую рощу, и речку... И такое состояние, знаете, не проходило...

Бизмайер взглянул на нас исподлобья и, вдруг рассмеявшись, добавил:

— Между прочим, и посейчас не проходит... Кстати, не показалось ли вам, что в Словакии быт, и не только деревенский, но и городской, пронизан особым пристрастием к фольклору, к изделиям народных мастеров?..

Это — правда. На этот раз мы проехали страну вдоль и поперек и сколько раз, даже торопясь, останавливали машину, чтоб рассмотреть какую-нибудь горную хату, ее убор, или даже в придорожной харчевне разглядывали жбаны и вышивки. А что уж и говорить о скульптурах — «обитателях» часовенок и костелов, скорее не святых, а простолицых селян, то скорбных и задумчивых, то исполненных неуемной жизненной силы. Во всем этом высвечивает дух, характер народа. Неслучайно тут росписи примитивистов не кажутся нарочитыми и в городских квартирах, а многие песни-старины поются как современные, что молодыми, что пожилыми.

И теперь водитель машину не гнал. Словно хотел нам дать время разглядеть каждую придорожную рощицу, долину, перелесок, и вот ту маленькую часовенку на холме, и вот это селение, где нарядно — голубым, белым, розовым — изукрашены наличники. Будто и пейзаж, движущийся за обочиной, участвовал в нашем разговоре.

Так вовсе не заметно для нас совершился переезд из Словакии в Моравию. В Стражницах машина остановилась у длинного, старого, ничем не примечательного снаружи дома. Игнац перегнулся через спинку переднего сиденья, нажал несколько раз на клаксон и не успел вышагнуть на землю, как из дома — узнал наверняка голос машины — уже выбежал ему навстречу маленький, сухонький Ландсфельд. Они обнялись. Игнац, чуть расставив локти, наклонился к Герману нежно и бережно, а тот, запрокинув продолговатую голову, снизу вверх с довольной усмешкой смотрел на большущего Бизмайера. И почти тут же метнулся к нам, с быстротой, поражающей в этом усохшем существе, с горячностью заговорил по-чешски:

— Рад вам, рад! Игнац вчера все объяснил по телефону. Пойдемте наверх, к хабанам, пойдемте! — и потянул нас сразу обоих за собой, его узенькие ладошки доверчиво сжимали наши запястья.

Мы друг за дружкой поднялись по дряхлой лестнице на гигантский чердак, он тянулся надо всем нелепо длинным домом и оказался на диво вместительным. Старые балки переплетались над нашими головами, темные доски стеллажей расчертили все пространство, а на них аккуратно были расставлены, разложены не то что сотни, а многие тысячи изделий глиняных, деревянных, резных, и из кости, и отделанных металлом... Тут время нынешнее встречалось с веками давними, мастера Словакии — с моравскими... Казалось невероятным, что все это мог отыскать, раскопать, собрать, опознать, сохранить вот этот вот, такой невзрачный с виду, слабый человек, пусть бы и потратив на это немалый срок — больше полувека, но чтоб — в одиночку такое!.. А он сновал вокруг нас, мгновенно и кратко давая характеристику каждому предмету, заинтересовавшему нас. Игнац молча следовал за нами.

— Ну как вы чувствуете себя в преисподней Ландсфельда? — спросил сам Герман, чуть искоса поглядывая на нас.

— Уж скорее — в раю, а не в преисподней.

— Так? — Он тихонько рассмеялся. — Ну тогда — сюда, за угол: здесь-то и живут мои хабаны...

И теперь уж Герман сам извлекал то один, то другой предмет из самой глубины полок, тянувшихся в несколько ярусов, речь его стала еще стремительней:

— Семнадцатый век, кобальтовое блюдо. Они шли из Трансильвании через Банску-Бистрицу и вот... осели... Видите, ворон как ворон! Но крылья золотой птицы! Понимали: самая умная птица,— и, сам удивившись в очередной раз, Герман воскликнул: — Какой выразительный глаз, взмах волшебного крыла! Видите?.. Это — раскопки на Дивине. Жили они и в Суботиште, Сливен Доле... А это — Кошолня. Там и самая моя удачная раскопка, которой я горжусь больше всех,— вот! — и Герман дотронулся чуткими пальцами до локтя Игнаца, лукавые серповидные морщины легли вокруг его длинненького носа. Бизмайейр, отшучиваясь, попросил разрешения уйти: его уже ждали устроители праздника в Стражницах, где он был выбран в жюри.

Мы рассматривали майоликовый карниз хабанов, на нем соседствовали птица, коняга и клоун, совсем маленький, разглядывавший нас из своего давнего века, чуть скособочившись у подножия старинного замка. Чего мы только не перебрали своими руками — файки-трубки, глиняные и фаянсовые, малые и большие сосуды!.. А Герман все кружил-кружил вокруг нас, успел показать карту странствий хабанов,

рассказывал — не без гордости, как списывался с колонистами из Нижней Дакоты:

— Представьте, посланцы их приехали к нам в 1937 году, в тех самых кафтанах, широких шляпах, бородатые, какие — вы видите — вот тут на кувшинах двухсотлетней давности. Конечно ж, они утописты, но сколько вольнолюбия, мастерство какое!.. Вместе мы были в Модре, городке, где я создавал тогда художественно-промышленную школу, в ней-то и учился позже Бизмайер,— так там странники эти, встав на колени, гладили землю руками. Она ж для них была тоже родиной!.. А во время второй мировой войны они слали нашим беднякам свою помощь: одежду, еду, деньги. Нет, как хотите, но они — люди действия и без ханжества нравственные...

Так мы добрались неспешно до конца стеллажа. В дальнем углу чердака оказалось крохотное пустое пространство, что-то вроде малой комнатенки, косо освещенной через крохотное окно; два стула, табурет, какой-то сундучок с расписной крышкой. Увидев его, Герман вдруг всплеснул руками, воскликнул:

— Все! Отдых! Иначе глаз потеряет свежесть! — и вытащил из сундучка громадный аккордеон, чуть не больше него самого, уселся на табурет и заиграл польку. Да так лихо, подпевая себе самому давно знакомые нам стихи — «Польку» Яна Неруды: «Это мчится наша полька...»

И прокричал нам:

— Нет-нет! Хватит прохлаждаться! Станем в пары!..

Будто нас было много... И мы послушно встали в центре прохода, а Герман опять лихо развел мехи аккордеона, и ничего не оставалось нам делать, как пуститься в пляс. А потом он заиграл вальс, притопывая в такт одной ножкой, едва достававшей до полу. А после вальса запел песню, которую знали и мы: ее не однажды пели мы в нашем московском доме со своим старым другом, словацким народным поэтом Яном Кострой.

Запевал Герман, у него отличный слух и прекрасное чувство ритма, а главное, тот артистизм, который, наверно, хоть и развивается в течение жизни, но заложен в таком вот человеке от рождения:

Гей, горы, долины,
То ельник, то хвойник.
Отец мой был честным,
А сын стал разбойник.

Разбойником стал я
С неправды великой,

Неправда — с панами,
А правда — за нами.

Разбойною правдой
За кривду ответим.
А если не сгинем,
То пулей отметим!

Ландсфельд, едва мы пропели последние слова, да еще по-словацки, сорвался с места, положив аккордеон прямо на пол, обнял нас, а потом принес большое расписное блюдо: Яношек — народный мститель, разбойник — подпрыгнул высоко-высоко, к самому краю блюда, держа в руках топорик-валашку, а его дружина по обе стороны от него, только ниже ярусом, отплясывала танец свободы.

— Этот мотив, яношевский, да и другие, по-своему и очень оригинально разработал Игнац Бизмайер,— объяснил нам Герман. — Вы все увидите у него дома. Так обратите внимание, как сквозь романтику, самую искреннюю, всюду, не споря с ней, проглядывают у него точнейшие детали быта. Его Яношек уже плавал и за океан, на выставку, в Монреаль. Кстати, и там сейчас есть колонии хабан, их Дворы. Вот, смотрите, они прислали мне оттуда. — Он подвел нас к грубо сколоченному столу, открыл лежавшую на нем увесистую книгу в кожаном переплете. — Это — одна из Хроник хабан XVII века, фототипия. Такую — каждый Двор свою имел. Они берегут и поныне свои обычаи, братство и — главное для меня — мастерство. Вот потому-то я счастлив, что Игнац на этой земле, тут у нас, приумножил, расширил и их традиции, хабан, и словацкие, и моравские...

Об Игнаце, его работах, выставках в Японии, в нашей Литве Герман рассказывал долго. Но ни звуком не обмолвился о том, о чем успели мы узнать по дороге сюда от самого Бизмайера: как Ландсфельд все-таки сумел настоять перед родителями Игнаца и увел мальчонку с собой, в Модру, как потом терпеливо учил его рисунку, помог перейти от подражания образцам народного мастерства к композициям собственным, едва почуял в мальчике желание привнести в роспись хоть что-то свое, и придумывал ему специальные задания, и позже еще много лет не упускал его из виду.

Уже стемнело, когда Игнац заехал за нами. Герман вышел нас проводить, спросил грустновато:

— А вы заметили — иной раз можно и за несколько часов будто общую жизнь прожить с новыми для себя людьми. И вот у меня будто груз с плеч! — и на самом деле расправил узенькие свои плечи, взмахнул руками. В тот миг стоял он к

нам в профиль, и невольно вспомнилась хабанская птица-ворон с умным глазом и золотым крылом. Мы благодарили его, а он, отшучиваясь, промурлыкал насмешливо начало старой народной песенки, изменив в ней одно лишь слово:

Германа бы встретить да сказать с любовью:
«За науку да за ласку дай вам бог здоровья!»

— Так, что ли, друзья мои?! И вам спасибо — за братство, пусть и не гутерско-хабанское...

Обратно доехали быстро. В просторном доме распахнулся перед нами населенный самыми контрастными образами мир Бизмайера.

Игнац не торопился что-либо пояснять нам. На керамическом панно мы сами долго рассматривали тонкое лицо словацкой задумчиво-одухотворенной девушки, и оно договаривало то, что перечувствовали мы, странствуя по этому краю, глубоко затаенное. Выразительные скульптурные фигурки крестьян будто выходили перед нами из глубины затененного пространства вечерних комнат, навстречу своей судьбе, порой и вовсе нелегкой. Неожиданные ракурсы, жесты, сдержанная, но всегда своеобразная цветовая гамма притягивали взгляд, создавая, пожалуй, атмосферу общения со странниками и странницами, с веселыми парубками и девчатами. Но были и те, кто нес порой непосильную ношу,— и как же умел Игнац передать ощущение тяжести этой ноши, физическое и психологическое! Потому мы запомнили самые разные спины несущих хворост, мешки, корзины, а в скульптуре «говорящая» спина оказалась особенно красноречивой. Помня наказ Ландсфельда, внимательно разглядывали мы панно яношековские. Игнац в своих композициях, не разрушая единства их, в отличие от предшественников, не побоялся углубить пространство; дружина тут — уже не фон для героя, а действователь. Она образовывала несколько групп — на одних лицах лежала печать задумчивости, другие были почти безмятежны или полны решимости ринуться в бой... А Яношек, с неизменной своей валашкой-топориком, вскинутой вверх, летел в плясе надо всеми, самый безудержный, а вместе с тем и самый распахнутый. И так ярко по ритму, по цветовой перекличке, психологическим контрастам разворачивалось все происходящее, что невольно возникла у нас ассоциация с композицией вознесения Христа — и это вобрал в себя бизмайеровский Яношек.

Игнац вел нас по дому дальше. Горница, убранная по-старинному, прадедовская деревянная мебель, висели и лежали

вышитые скатерки, полотенца, а по стенам разместились древние народные резные или расписные образа, триптихи: богоматерь, чертенята, святые и крестьяне...

— Всё — учителя мои,— обронил Игнац. К слову рассказал и о нынешних своих пристрастиях-дружбах.

Оказалось, давний наш друг, турецкий поэт Назым Хикмет тоже провел под этим кровом долгие часы, а Назым понимал толк в тонкостях гончарного мастерства. И еще, как и мы, Бизмайер увлечен работами итальянского скульптора Джакомо Манцу.

— А вот взгляните-ка! — Игнац протянул нам кувшин, расписанный его предшественниками-хабанами. — Не правда ли, есть тут перевернутый вверх ногами, летящий в звезды мир Шагала?!.

Одно — видеть кувшин за стеклом, совсем другое ощущение — когда берешь его в руки, чувствуешь объем, вес, вертишь в руках, рассматривая, как вьется, подчеркивая форму, ее переходы от широкой части к горловине, орнамент.

Над двумя рядами причудливо разбросанных, стилизованных цветов, ближе к горловине кувшина летел человечек в широкой хабанской шляпе и кафтанчике, вытянув вперед руки, а за спиной его трепыхались, как парус, крылья. Ноги он чуть согнул, босой Икар XVII века. Правая рука едва касалась венка, в котором, как в медальоне, красовались многоцветные символы хабанских ремесел: сапожный нож перекрещивался с вилкой, а сбоку летел по воздуху топорик... Уравновешивали фигурку два экзотических зверя, легко наведенных светлыми тонами; они расположились по обе стороны летящего.

Бизмайер дал нам насмотреться вдосталь и лишь потом сказал:

— Странно, но и самый невероятный вымысел почти всегда соседствует с давними народными фантазиями — это наша подпочва. Вот и перекрестились у Шагала сны Востока со славянскими мотивами его родины. И вы заметили, как именно это свойство — совмещать контрастное — вызвало прекраснейший взрыв фантазии у хабан?!. Никогда я не забываю, что начал свой путь, вырос в старом-престаром, бывшем хабанском доме. Приданое важно не только для девиц; и для художников оно не безразлично!..

АНГАРСКИЕ ПЕРЕПУТЬЯ



В этих поездках по строящимся за рубежом с помощью советских специалистов атомным электростанциям вот что еще мы невольно вырешили для себя. Коли у́ж повсюду — и в Венгрии, и в Словакии, и в ГДР — присматриваются, примериваются к нашему организационному опыту по созданию крупных энергетических объектов, а в то же время и нашим строителям явно есть чему поучиться у зарубежных своих коллег,— может быть, для нас-то, очеркистов, надобно побывать на одной из совместных строек, которые ведутся сразу несколькими странами СЭВ. Опыт такой стал обычным в последние годы: газопровод Оренбург — Западная граница СССР, Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат... Тут, пожалуй, контрастней выявятся как плюсы, так и минусы строительной практики разных стран.

И если уж выбирать, лучше всего — лесопромышленный комплекс в Усть-Илимске. Ведет эту стройку все то же Министерство энергетики и электрификации СССР. А плюс к тому один из нас когда-то работал на Ангаре, там многое знакомо, и тем заметнее будут перемены; там и давние друзья, на них, пожалуй, интересно будет взглянуть еще и глазами их зарубежных коллег, работающих с ними рядом, на одной площадке который уж год. Вот это последнее — впечатления рабочих и инженеров из ГДР, Болгарии, Венгрии, живущих сейчас в Усть-Илимске,— будет, пожалуй, поучительнее многого иного.

Так совпало: командировка наша в Усть-Илимск подошла к концу, утром мы уже должны были возвращаться в Москву — билеты на самолет, которые летом достать так трудно, в кармане, и вдруг — звонок: полчаса назад прилетели из отпуска, с родины два немецких инженера, шеф-монтажники, они здесь живут почти три года — Герберт Зеглитц и Ганс Энгельманн. Зеглитц — из города Ниски, Энгельманн — из Плауена, там — металлургические заводы, которые согласно контракту должны поставить на строительство Усть-Илимского лесопромышленного комплекса 42 тысячи тонн металлоконструкций. Еще вчера Зеглитц и Энгельманн были дома.

Ниски, Плауен — это юг ГДР. И мы представили: поезда там неспешные, чуть не полдня они идут в Берлин, аэропорт, таможня, паспортный контроль, два часа лету, опять контроль, таможня, и ожидание самолета в Братск, и еще пять тысяч километров лету, и пересадка в Братске на другой самолет... Да они сейчас помертвели от усталости! Но уехать, не повидавшись?.. Мы уже были здесь в отряде болгар-шоферов, водителей КрАЗов, у венгров, они — на бетонных и отделочных работах: штукатурят, малярят, столярничают. Несколько месяцев жили здесь и немцы-рабочие, точнее — студенческий отряд; ему отдали бетонировать один из многих объектов очистных сооружений ЛПК. Говорят, хорошо сработали студенты. Но их давно уже тут нет. Так что же, нам так уехать, не повидавшись ни с кем из немцев?

Усть-Илимский лесопромышленный комплекс строят сразу шесть стран: Болгария, Венгрия, Германская Демократическая Республика, Польша, Румыния и СССР. Первую очередь комплекса ввели в строй примерно спустя

год после нашего приезда сюда, в июле семьдесят девятого, а сейчас строят вторую. В этой пятилетке на сооружение объектов ЛПК и города, в котором будут жить лесопромышленники, намечено затратить полтора миллиарда рублей. Каждая из шести стран — участниц строительства несет свою долю затрат. В счет идут и равные расходы на импорт наиновейшего технологического оборудования из Швеции, Финляндии, Франции, и поставки кровельных, стеновых панелей из Бургаса, и металлоконструкций из Румынии, Венгрии, ГДР, и прямое участие рабочих почти всех стран на стройплощадке.

Лесопромышленный комплекс в Усть-Илимске будет выпускать ежегодно 500 тысяч тонн целлюлозы высших сортов, 1200 тысяч кубометров пиломатериалов, 250 тысяч кубометров древесностружечных плит, фурфурол, скипидар, дрожжи и множество иных побочных продуктов. Вся продукция будет распределяться между странами, подписавшими контракт, соответственно доле участия в стройке каждой из них.

Одновременно со строительством комплекса осваивается для него и лесопромышленная база на территории в 25 тысяч гектаров. Тут строят семь леспромхозов, дороги, ремонтно-механические мастерские. На всей этой территории растет по преимуществу сосна, лишь с небольшой примесью пород лиственных. Лес заведомо расчерчен на делянки; расчет такой, чтоб на каждую из них лесорубам возвращаться только через семьдесят пять лет, когда поднимутся здесь в полный рост новые сосны. «Лесорубам» — слово неточное, потому что они же будут заниматься и воспроизводством леса. Если правильно повести хозяйство, базы этой хватит Усть-Илимскому комплексу на веки вечные. В том-то и смысл, чтоб не повывести местную сосну. Ведь не зря, например, в Англии, пожалуй, самом давнем импортере сибирской древесины, говорят: «Вагон ангарской сосны стоит столько же, сколько и вагон сахара».

Потому вдвойне выгодно нашим партнерам из социалистических стран не на валюту покупать продукцию Усть-Илимского комплекса, а приобретать ее — в течение двенадцати лет — в обмен на эти вот панели, швеллеры, балки, фермы, колонны, на труд, затраченный рабочими.

Каждая из стран-партнеров будет получать, в среднем, по 40 — 50 тысяч тонн целлюлозы в год. А потом, через двена-

дцать лет, еще два десятилетия целлюлоза будет экспортироваться по двусторонним договорам. И у нас свой расчет-выгода. Прежде всего — во времени.

Конечно, можно было все сделать иначе: сперва возвести хоть и в самом Усть-Илимске или в Братске еще несколько предприятий строительной индустрии, а где-нибудь на Урале — новые металлоплавильные и прокатные цеха и уж потом только начать строительство этого ЛПК, обойдясь лишь своими силами. А построил — знай себе, подсчитывай выручку за целлюлозу в звонкой монете. Примерно так оно и было с Братским ЛПК. Но и в те годы, а сейчас особенно, материалов не хватает и на других стройках: у нас ведь строят больше, чем в любой другой стране. И несложные подсчеты экономистов показали: объединение усилий социалистических стран даст такой выигрыш во времени, который перекроет — в финансовом отношении — ту «чистую» выручку, которую мы могли бы взять за целлюлозу, обойдясь лишь своими силами.

Простые цифры: лесопромышленный комбинат в Братске, примерно такой же мощности, что и в Усть-Илимске, строили что-то около десятка лет; на усть-илимскую площадку строители пришли в конце семьдесят четвертого года, а первую целлюлозу сварили здесь в семьдесят девятом. В два раза быстрей!

Мы хорошо помним, как это было в Братске. Взрыта, перевернута земля на громадной площадке, равной, наверно, по площади новому городу, который здесь одновременно и возводили. И было тогда особым шиком козырять астрономическими сравнениями: сколько раз можно опоясать земной шарик трубами, подземными коммуникациями, а сколько — надземными, и какой из океанских островов можно целиком покрыть листами ватмана, на которых разместились проектные чертежи ЛПК,— диковатые, если вдуматься, сравнения.

Как раз в то время один из авторов этой книги три года проработал в Братске и потом возвращался туда не раз, жил подолгу и, как все, прошедшие ту школу ангарскую, невольно и до сих пор — не для разговора вслух, а в глубине души — считает себя братчанином.

Так вот, однажды, уже в Москве, когда все самое трудное в Братске осталось позади, бывший главный инженер «Братскгэсстроя» Арон Маркович Гиндин, человек не ревнивый к собственному престижу и потому никогда ни на что не жаловавшийся, воскликнул:

— Проще было бы еще две Братских ГЭС построить, чем один ЛПК.

Если бы сами не слышали, никогда не поверили бы, что это мог сказать Гиндин, для которого Братская ГЭС — венец его трудного пути гидростроителя. И вот темпы — в два с лишним раза большие.

Пусть Усть-Илимский комплекс куда как совершенней, компактней Братского: тут все основные цеха под одной крышей, а значит, уже поэтому его строителям проще. Пусть прибавилось у них опыта. На КамАЗе, на планерке, в минуты авральные Александр Андреевич Кича, наш хороший друг, строивший ранее очистные сооружения Братского ЛПК, а здесь начальник строительства автосборочного завода, вспылив, сказал: «Господи! Да если мы Братский ЛПК поставили на ноги, так неужели этот автосборочный, этот сарай, не сделаем в срок!» — мол, с точки зрения строительной технологии, здание автосборочного не так уж сложно осилить: одинаковые панели стен, конструкции крыши, которые собираются на земле блоками, а потом поднимаются целыми пролетами кверху и там свариваются... А все же сказано в запале — «сарай» больше километра в длину, да и не один тут стены и крыша: подземные тоннели — для главного конвейера и стружкоуборочный, фигурные, сложные для бетонщиков фундаменты под сотни станков... И все же доля истины была в словах Кичи: ему-то как инженеру работать на КамАЗе было проще, чем в Братске.

Итак, пусть прибавилось теперь у строителей опыта. Да и еще одно преимущество усть-илимцев не отметить нельзя: хоть многие материалы идут сюда из-за рубежа, но именно потому их поставки более ритмичны, чем от заводов наших собственных, внутрисоюзных. Не было ни одного случая за эти годы, когда бы наши партнеры из социалистических стран не уложились в намеченные сроки. А вот случаи обратные: когда вдруг менялся проект и нужно было в связи с этим срочно перекраивать производство заводов-поставщиков, чтоб дать все же нужные конструкции, а они их все равно присылали в срок,— такое бывало.

Но не надо думать, что раз уж собрались на усть-илимской площадке люди из разных стран, сплюсовали свои преимущества, то теперь у строителей — масленица. Нет, такая экономическая интеграция вносит и свои дополнительные трудности. Ну, скажем, с теми же поставками материалов. С панелями действительно дело нехитрое: они типовые, шлепай в пропарочных камерах на заводе, грузи на железнодо-

рожные платформы, а тут, в Усть-Илимске, майнай краном наверх. Из соседнего Братска они или из Бургаса, с берегов Черного моря,— разницы нет. А вот с тем же металлом уже сложней.

Высота варочного цеха, к примеру, 98 метров: ниже нельзя, по технологии такими громадными должны быть котлы, в которых станут варить целлюлозу. Еще чуть повыше должны быть несущие колонны, пронизывающие цех снизу доверху. И каждая — из нескольких секций. А все же некоторые конструкции достигали веса пять тысяч тонн с лишком. А к ним-то крепятся сотни ригелей, уголков, поперечин. Но это тоже только звучит так ласково: «уголки» — вес их бывает и по две, и по две с половиной тонны. И всю эту массу металла надо поднять на высоту. Пространство над площадкой просто нафаршировано железом. Взгляд новичка плутает в нем, как в урманной тайге среди чащобы деревьев, кустов. Поначалу даже трудно понять, куда какая балка идет, к какой крепится... Но не просто крепится: их даже не сваривают, не подгоняют на высоте; конструкции, изготовленные за тысячи километров от Усть-Илимска, в Плауне и Ниски, должны состыковываться дырами для болтов с точностью до долей миллиметра. И так оно и было.

И дело не только в том, что за тысячи километров. Генеральный проектировщик ЛПК — в Ленинграде, субподрядные проектные организации — в Киеве, Москве, десятке других городов. На тех же заводах в Ниски и Плауене — свои проектировщики. У каждого — собственные нормы, привычки, стандарты, манера вести дело, производственные возможности. И вот, чтобы там, на головоломной этой высоте, над площадкой Усть-Илимского комплекса все сошлось — отверстие к отверстию, болт к болту, какую же кропотливейшую работу по согласованию, выверке проектов, сроков изготовления любой самой пустяшной железки надо было провести, прежде чем начинать стройку в Сибири,— трудно представить!

Со стороны советской одним из непременных руководителей этих работ был Феликс Львович Каган. Все последние годы он работал первым заместителем начальника «Братскгэсстроя» по строительству Усть-Илимского комплекса, а как раз в дни нашего приезда на стройку его утвердили главным инженером всего «Братскгэсстроя», епархии, раскинувшейся на многие сотни километров от Нерюнгри, в Якутии, где строится мощная ТЭЦ близ угольных карьеров, которые поднимает к жизни БАМ, до створа Богучанской ГЭС, где уже

тоже начались подготовительные работы. На место Гиндина.

Это сейчас мы вынуждены именовать Кагана по имени-отчеству, со всеми положенными титулами. А когда-то был он для нас просто Феликс, начальник участка в котловане Братской ГЭС, невысокий, кудрявый паренек, с круглыми, карими, воспаленными от усталости глазами — он, кажется, дневал и ночевал там, в котловане, но — характерно — при любой запарке всегда оставался подчеркнуто вежлив, корректен, и если надо было разобраться в размашистой суете тех дней, в каком-либо скандальном происшествии, всегда лучше всего идти к Феликсу, даже если речь не касалась участка, на котором работал он сам: Феликс был в курсе всех дел на стройке, стремясь осмыслить, понять все, и если даже его точка зрения не совпадала с начальственной, всегда и ее высказывал без околичностей.

А вечерами мы встречались иногда в клубе, на выпусках устного молодежного журнала «Глобус»; о чем только не говорилось там — о летающих тарелках и «Ухабах» Тендрякова, о таежных цветах и канадской практике освоения Севера, о протопопе Аввакуме, сидевшем некогда в Братском остроге, и о битлзах... И в «Глобусе» Феликс принимал, помнится, самое активное участие. Как у нас хватало времени на все это — непонятно.

Еще до того, как прийти в котлован ГЭС, он год или полтора проработал в техническом отделе и технической инспекции управления строительства, позже руководил экспериментами на водосливе ГЭС, отыскивая его оптимальные конфигурации, а еще через год, когда гидростроителям поручили строить Коршуновский железный рудник, алюминиевый комбинат, лесопромышленный комплекс и нужно было срочно поднимать к жизни мощную базу строительной индустрии, Феликса назначили главным инженером вновь созданного управления, и он успел до Усть-Илимска вникнуть во все и на самом ЛПК и на строительстве БрАЗа.

Такой вот путь. Только на первый взгляд он кажется слишком уж разбросанным: и проектировщик, и гидростроитель, и промышленник, и экспериментатор, и практик... Были случаи, когда и сам Каган спорил по поводу новых своих назначений с начальником строительства Иваном Ивановичем Наймушиным, а тот, грузный, обрюзгший, с узкими татарскими глазами, хитро поблескивающими, только отшучивался: «А кем же мне еще дыры затыкать, если не такими, как ты?..»

И вот давно погиб Наймушин — осенью семьдесят третьего года. Но незадолго перед смертью, назначая Кагана своим заместителем в Усть-Илимск, Наймушин, всегда немногословный и вроде бы недовольный чем-то, обронил и такую фразу: «Тебе бы давно пора догадаться, что все эти переброски твои неслучайны. Уж сколько лет я к тебе присматриваюсь и готовлю — ни много ни мало — главным инженером всего «Братскгэсстроя». Кто-то должен прийти нам на смену?.. А как главный инженер такой махины ты должен знать и уметь все! Повариться нужно во всех котлах». Давно нет Наймушина, а планы сбываются.

И вот теперь в вестибюле нового здания «Братскгэсстроя», поднимаясь к Феликсу Львовичу Кагану, мы прошли мимо Наймушина, сработанного из гранита. Хорошо, что из гранита. Оттого фигура его выглядит грузно-весомой, и из-под тяжелых век внимательно и хитровато следят за нами глаза. Все мы, и спорившие с ним при жизни, теперь считаем себя его учениками. Даже недруги Наймушина — а таких тоже было немало — никогда не могли отказать ему хотя бы в одном: умении рисковать, в ситуациях трудных без колебаний брать всю ответственность на себя (об этом еще впереди речь!) — не последнее дело не только для инженеров...

Каган в подробностях рассказал нам, сколько было споров по согласованию проектов Усть-Илимского ЛПК и сроков поставки материалов на стройплощадку, не меньше года, чуть не целиком, пришлось ему провести в командировках в Ленинград, и Киев, и за рубеж. И почти все разговоры главным образом — о металле. Сто тысяч тонн металлоконструкций надо было смонтировать только для пуска первой очереди комплекса, уложить железобетона полмиллиона кубометров. Для сравнения: в плотине Усть-Илимской ГЭС бетона в девять раз больше, но ведь там громадные блоки, вали и вали в них бетон, трамбуй, а тут что ни блок, то своей конфигурации, и арматуры в нем иногда больше, чем бетона.

Каждая позиция обговаривалась по нескольку раз. Зато потом — это чудо! — откуда бы ни пришли колонны, швеллеры, ригели, их оставалось только поднять в воздух и стянуть болтами. Все — тютелька в тютельку, будто сталь причерчивалась, подрезывалась не на заводах-изготовителях, в ГДР или в Румынии, а в Усть-Илимске, на монтажной площадке. Был только один случай, как раз на строительстве варочного цеха, когда из-за внезапного изменения проекта пришлось конструкции сваривать, а не крепить болтами, и подрезать, подгонять на месте.

И надо же — как раз во время разговора об этом телефонный звонок из технического отдела. Выслушав, Каган, растерявший за эти годы кудри свои Феликс, чуть огрузневший Феликс Львович, но улыбка-то — лишь в уголках губ и глазах — прежняя, легкая, ироничная, спросил:

— Чью же им еще визу нужно?.. Ладно, будет им добро и из Москвы,— и пояснил, положив трубку: — Речь о трансформаторной подстанции на одном из блоков ЛПК. Стоит она миллион рублей. А мы переиначили ее: предлагаем построить за четыреста тысяч. Немаленькая экономия, да? Шестьсот тысяч, больше половины предполагаемой стоимости. Думаете, нам «ура» за это кричат? Уж год — год! — пробиваем новый проект, а ленинградцы тянут, все хотят, чтобы сверху команда была, ну хоть бы звоночек какой, рекомендательный... Но это так, между прочим,— заключил он, как о деле обычном, и продолжал рассказывать дальше о своих поездках на зарубежные фирмы.

Но мы еще раз вернули его к этому эпизоду, рассказав, как на энергетических стройках в ГДР и Чехословакии мечтают о нашей организации работ, когда во главе их — один хозяин, Министерство энергетики и электрификации СССР, которое вольно распоряжаться и финансами, и проектами, и вправе вмешиваться оперативно в ход строительства, диктуя единый порядок для всех субподрядчиков. К нему можно апеллировать во всех спорных случаях.

Каган усмехнулся.

— Верно, но — вы видели — есть и оборотная сторона медали: стремление на местах переложить ответственность на этого единого хозяина, на Москву, перестраховаться командой сверху. Гибче надо строить систему. Чтоб в иных-то вопросах, наоборот, всю полноту власти — и финансовой, и организационной — передать из центра на места. Разве не так?

Мы вспомнили опыт словацкого «Электровода». Так. Именно так. Но и еще об одном невольно задумались в связи с телефонным этим звонком по поводу проекта трансформаторной подстанции. Если настолько тягомотно пробивать подобные дела здесь, у нас, «внутри», то сколько же упорства, терпения и дальновидности надо было проявить тому же Кагану, чтоб с зарубежными поставщиками вырешить все, вплоть до малейшей мелочи, чтоб теперь оно так вот и шло — с колес, с точностью до долей миллиметра!

Так что же, уехать из Усть-Илимска, не повидавшись с этими немецкими инженерами Зеглитцем и Энгельманном,

одними из тех, от кого тоже зависела эта микронная точность в работе? Конечно, мы им позвонили. И уже к обеду они, отдохнув, готовы были ехать с нами на площадку ЛПК.

Ганс Энгельманн — совсем еще молодой парень, высокий, белокурый, но уже степенный в движениях. Поначалу он взял роль хозяина на себя, рассказывая о дорожных тяготах, предлагая кофе, пиво.

— К масштабам вашим трудно привыкнуть! — восклицает он, имея в виду сибирские расстояния и размах, темпы стройки (он даже предполагать не мог раньше, что такие возможны), и весеннее буйство Ангары, и просторы — дремучие, таежные, которые, хоть и в короткие вылазки, удалось ему повидать.

И мало-помалу примечаем: степенность его — наигранная, он просто еще в том ломком возрасте, когда хочется выглядеть во всем и всегда мужчиной истинным, в немецком, деловом смысле этого слова, а по сути — и прожив тут почти три года — не растерял первоначального, вполне мальчишеского удивления.

Герберт Зеглитц поглядывает на него ласково, но и не без иронии. Возвращает разговор к главному:

— Наша профессия такая — шеф-монтажники — всегда в разъездах. В каких только странах не привелось мне побывать. Но теперь я твердо могу сказать: куда бы еще ни забросило, после Усть-Илимска, пожалуй, нам легче будет.

Герберт — постарше, ниже ростом, с уже седеющими, черными, гладко зачесанными волосами, начал полнеть. Пока мы говорим, он в прихожей, неловко согнувшись, натянул резиновые сапоги, верх голенищ которых вывернут красной, щегольской подкладкой наружу. Притопнул и, вдруг став похож чем-то на бывалого мушкетера из романов Дюма, заключил:

— Ну вот, готов к бою.

Прошли дожди, на площадке грязь... На эти дни за нами закрепили микробус. Шофером в нем Герман Петрович Качур — уж не родня ли западноукраинским энергетикам, братьям, о которых говорил Ласло Матиаш?.. Может, и родня. Во всяком случае, отец его действительно родом из-подо Львова, в годы гражданской войны попал в Омск, тут и осел, а уж сам Герман Петрович — омич по рождению. Мы успели сдружиться. Он всегда точен, автобус неизменно стоит в назначенном месте, минимум за пять минут до срока. Поясняет:

«К точности, знаете, кто меня приучил? Маяковский! — и добродушно смеется, довольный нашими удивленными возгласами.— Да-да! Я еще мальчишкой вычитал: он даже к юнцам, к ученикам своим аккуратно приходил за пять минут до условленного. Считал неудобным, чтоб его ждали. Это меня так поразило, что я и до сих пор держусь такого же правила».

Герман Петрович вообще охоч к шутке, рассказам, и мы, уже казалось, знаем про него все. Но в каждую поездку он открывается и еще новой, незнакомой нам стороной. Вот и теперь, увидев с нами Герберта и Ганса, своих давних знакомых, он издали кричит им по-немецки:

— Здравствуйте, друзья! С приездом!.. Ну как там «Алекс»? — и сам опережает их ответ: — Я уже видел на фотографии: такие здания! А телебашня — как наша труба.

Только человек, живший в Берлине, может назвать его центральную площадь — Александерплатц — «Алексом». И этот немецкий его, пусть с акцентом, и слова, подобранные с расстановкой,— но откуда это?!

С войны. Точнее, с первого послевоенного года. Уж очень спешил Герман Петрович попасть на фронт, окончил специальные курсы водителей при одном из омских военкоматов, ему даже удалось прибавить себе целый год к возрасту, а все же призван был только летом сорок пятого и тогда же, совсем еще мальчишкой, попал в Берлин. От того города остались у него в памяти почти одни руины. И цепочка штатских, старики и старухи, на развалинах какого-то дома, передают из рук в руки кирпичи, разбирая завал, каждый раз приговаривая: «Битте шон!» — «Данке шон!» «Ну не скоро они поднимут так-то Берлин!» — невесело шутили солдаты.

И потому теперь Качур говорит с восхищением о нынешнем «Алексе», его телебашне, напоминающей здешнюю трубу ТЭЦ на ЛПК. Трубу эту видно в Усть-Илимске, куда б ни пошел, ни поехал: маячит над зеленой тайгой — 180 метров в высоту. Вот и сейчас мелькает на поворотах в оконцах автобусика.

Мы вспомнили рассказ Кагана: он живет на верхнем этаже девятиэтажки, специально выбрал квартиру так, когда еще строилась эта труба, чтоб каждое утро, проснувшись, выйти на балкон — площадка ЛПК за двенадцать километров от дома — и с помощью спичечной коробки прикинуть: поднялась ли за ночь труба. Однажды и так и сяк примеривал: будто б осталась она на вчерашней высоте. Быть не может! Позвонил диспетчеру, тот говорит: «Действительно, Феликс Львович, ночью не возили кирпич».

А Герман-то Петрович рассказывает:

— Вскоре командир роты спросил: «Хочешь в тюрьме работать?» — «Как в тюрьме?!» — «В Шпандау. Там нашему коменданту — от всех союзных армий были выделены специальные части, охранять поочередно немецких военных преступников,— понадобился шофер».

Качур согласился, интересно было. Так до конца службы и остался в Шпандау. Хоть и издали видел заключенных на прогулках, но поражался: даже выходка у этих бывших властителей рейха — людей в себе уверенных, неторопливо-властные жесты: Нюрнберг был еще впереди.

Но тут автобусик наш подкатил к площадке ЛПК, и Герману Петровичу пришлось прервать свой рассказ.

Который уж раз мы здесь, а все никак не можем привыкнуть к пейзажу, есть в нем что-то ирреальное. Пространство, метров шестьсот вширь, сто — ввысь, больше километра в длину, все исчерчено, набито железом, каждый из этих метров. Но нет тут хаоса, колонны стройно, ритмично уходят вверх, приподнимая и все здания за собой, они не выглядят громоздкими... Мы только в кинохронике да на экране телевизора видели стартовую площадку для космических ракет в Байконуре. Может, вблизи она выглядит иначе. Но сейчас невольно вспомнились эти клети лифта, иссеченные поперечинами, уходящие в небо, и эти ажурные железные руки, которые разводятся в стороны, распахиваются, высвобождая ракету перед самым взлетом... Так вот, если поставить в ряд, вплотную друг к другу десяток таких махин — стартовых площадок, не меньше,— может быть, тогда создастся верное зрительное впечатление о корпусах Усть-Илимского ЛПК, которые почти все сдвинуты, сомкнуты под одну крышу... Но в том и дело-то, что пока — не сомкнуты: не везде еще настелена крыша эта, не на всех зданиях смонтированы стеновые панели, оттого-то и проглядываются они на сотни метров насквозь — легкое, когда глядишь снизу, вздыбившееся к небу железо, всего лишь черточки в самой-то выси, над ровной твердью земли.

Теперь уж говорит Зеглитц. А Ганс жует резинку, в светлых глазах — улыбка.

Вон там они монтировали свои конструкции и там... А вот промбаза и рядом монтажный участок, площадка, на которой собираются вместе конструкции, те, что можно монтировать на земле... Биржа приемки и раскряжевки хлыстов — на ней финские умные машины будут сортировать лес не только по диаметрам деревьев, но и по породам, даже по количеству

сучков... Лесопилка. От нее доскам путь — в дело, а горбыль и всякое коротье — на целлюлозный завод и на гидролизный. Но гидролизный — это уж будущая пятилетка, вторая очередь ЛПК... ТЭЦ и ТЭС — технологическая энергетическая станция, в котлах которой будут сжигать кору и твердые остатки щелочных растворов... Цех каустизации и регенерации извести, рядом с ним — высокие «силосы», складские... Варочный цех. Цех промывки, отбелки, сортировки целлюлозы... А тут полкорпуса занято восстановлением химических растворов, чтобы уменьшить вредные сбросы; всего одна треть потребляемой воды будет уходить к очистным сооружениям: ежечасно 30 с лишним тысяч кубометров придет за 11 километров по трубопроводу из Ангары, а вниз по косогору — вон туда, где начинается тайга,— пойдет сброс к очистным, 13 тысяч кубов в час. Зеглитц знает все досконально, даже и о тех цехах, на которых они сами не работали. Усмехнулся: «Мы же не гости здесь...» Почти обо всем надо уже рассказывать в настоящем времени...

На очистных мы уже были. Надо сказать, что они тут наиболее совершенны из тех, что существуют пока на наших целлюлозных комбинатах. Уже теперь каждый десятый рубль на стройке тратится на их сооружение. Если вся первая очередь ЛПК обошлась в 350 миллионов рублей, то очистные — обеих очередей — в 38 миллионов рублей, из них пусковой комплекс первой очереди — 35 миллионов. Уже в самом производстве целлюлозы ежесуточно специальные выпарные аппараты оставят на ЛПК 60 тонн твердых щелоков. Но 140 тонн пойдет дальше, вон к тому прореженному леску. А там сточные воды последовательно пройдут через так называемое здание решеток (тут останутся самые крупные взвеси), усреднители (в сточные воды добавляют щелочь и переводят соли из нерастворимых в растворимые), через механическую очистку в отстойниках — 6 бетонных чаш диаметром в 40 метров каждая, из них по лоткам в течение пяти суток — в отстойники вторичные, и дальше — в аэротанки, в них — активный ил, на 99 процентов состоящий из бактерий-анаэробов, сюда же под давлением для ускорения биологических реакций подается кислород. А рядом — илоуплотнители и илошламонакопители, в семь-десять раз большие, чем обычно. Отсюда осадки опять-таки вернутся на ТЭС — технологическую энергетическую станцию, которая будет давать необходимый для производства целлюлозы пар и золу для удобрений на поля.

Между тем мы подошли к котельной тепловой станции, это был первый объект, на котором работали наши немецкие

друзья, приехав сюда в октябре семьдесят пятого года. Они здесь смонтировали 1400 тонн основных и 900 тонн вспомогательных конструкций. А всего из Ниски и из Плауена до того, как приехать нам, пошла в дело 31 тысяча тонн металла, оставалось 11 тысяч, по преимуществу — на древесноподготовительном цехе, котлован которого метрах в пятистах от основных корпусов ЛПК; отсюда видны среди поднявшихся уже несущих колонн цеха поставленные на фундаменты окорочные барабаны из Гренобля и Парижа, они выкрашены сочной алой краской, солнце ярится на их округлых боках.

А здание котельной уже все закрыто стеновыми панелями, и крыша настлана, в нем темновато и тихо, никого нет, кроме нас. Очертания мощных котлов в высоте, в сумраке этом расплываются, и оттого-то, наверно, ажурнее, выпуклее выглядит вокруг них плотная вязь кран-балок, железных ферм, колонн. Долговязый Ганс Энгельманн вдруг перестает жевать резинку и говорит почти восторженно:

— Этой весной крышу еще не всю сделали, а железный лес уже стоял, и вот в нем-то на каждой поперечине-ветке, вдоль каждой колонны налипли сосульки-сталактиты, розово-белые на солнце, голубые в тени. Знаете, это было как в сказках. Я нигде больше такой красоты не видел. Может, что-то похожее у нас на Гарце, в суровые зимы. Вы бывали на Гарце?

Бывали. И даже прокатились однажды в кабинке подвесной канатной дороги над ущельем, что находится под горой Брокен, как раз там, где когда-то летали гетевские ведьмы на помеле.

Да и вот не так уж давно вернулись мы из очередной поездки в Дрезден. Последняя наша ночь там пришлась как раз на 13 февраля — в такую ночь в сорок пятом году город был разрушен английскими и американскими бомбардировщиками. По традиции каждый год в эту ночь звонят теперь колокола всех церквей города, уцелевших и восстановленных, и построенных вновь. Уцелело-то мало — лишь кое-где на окраинах. Почти весь город лежал в руинах.

Американский прозаик Курт Воннегут пленным солдатом был как раз в Дрездене и пережил его бессмысленную бомбардировку, в которой погибло больше мирных жителей, чем в Хиросиме от атомной бомбы: 71 379 человек — в Хиросиме и 135 тысяч — жителей Дрездена. И уж много позже, через несколько десятилетий Воннегут нашел в себе силы рассказать об этой катастрофе в потрясающем романе «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей», и не для

того, чтобы только вспомнить случившееся, а заставить всех нас пережить его вновь, чтоб оно не повторилось. Не случайно молитва главного героя романа Билли Пилигрима, вынесенная в эпиграф романа, звучит так:

> Господи, дай мне душевный покой,
> чтобы принимать то, чего я не могу изменить,
> мужество — изменять то, что могу,
> и мудрость — всегда отличать одно от другого.

Развалины Дрездена, среди которых Воннегут — Билли Пилигрим бродил через несколько дней после бомбардировки, он назвал «лунными». Они еще дымились, чадные, зловонные, а среди них, как обгоревшие чурки, лежали трупы людей. И лишь один-единственный старик попался Билли Пилигриму навстречу, чудом спасшийся, он толкал перед собой детскую коляску, в которую были сложены чашки, кастрюльки, остов от зонтика — все, что ему удалось подобрать среди руин.

В тот день Билли Пилигрим — а Курт Воннегут и многие годы после того — никак не мог воспринять случившееся как нечто реальное, возможное, настолько все казалось невероятным. Старик с коляской показал ему на лошадей, с которыми Билли приехал: у них были разбиты копыта, а губы, изорванные мундштуками, кровоточили. Увидев это, Билли заплакал. Лишь тогда.

И вот прошло три с половиной десятка лет, а дрезденские колокола звонят и звонят всю ночь на 13 февраля, до рассвета. Небо хмурое. И звуки, один за другим, не вперебой, а слитно, в одной бесконечной, тревожной мелодии пластались над самой землей, будто не в силах от нее оторваться...

И вдруг Герберт Зеглитц сказал:

— Я видел эту бомбардировку.

— Вы были тогда в Дрездене?!

— Нет, в Ниски — за несколько десятков километров, а будто — рядом... Был я тогда мальчишкой — всего-то десяти лет, но та ночь так и осталась самой страшной в жизни. Она была безветренной. Но само пламя горящего города подняло такие вихри, что они срывали крыши, рушили стены, и что-то черное беспрестанно сновало в алом пожарище, оно охватило весь небосклон... И дни, наступившие после бомбардировки...— Зеглитц говорил, отвернувшись от нас.— Не знаю, как рассказать о них. Никого туда не пускали, по дорогам выставили кордоны: боялись эпиде-

мий... Только в библии через много лет я нашел слова: «Земля дымилась, как печь»,— помните? — в легенде о Содоме и Гоморре. Хотя... ну что там было жителей, в библейских Содоме и Гоморре? Тысяч по пять, не больше,— селения по масштабам нынешним. Но сколько таких сел и огромных городов было сметено с лица земли во время последней войны?.. Да еще и иное нельзя забыть: этот предваряющий разрушение городов разговор Авраама с богом, долгий их торг. Авраам, узнав о намерениях господа, с ужасом восклицает: «Может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь всего места сего ради пятидесяти праведников, если они находятся в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым!.. Судия всей земли поступит ли неправосудно?» — «Если я найду в Содоме пятьдесят праведников, ради них пощажу весь город и все место сие»,— ответил господь. А Авраам — снова: «Если до пятидесяти праведников не достанет пяти?» — «Не истреблю, если найду там сорок пять».— «Но может быть, найдется там сорок!» — «Не сделаю того и ради сорока...» И так, постепенно снижая цифру, дошли они в своем торге до десяти человек, а потом богу, видно, просто надоел этот базар «и пошел господь, перестав говорить с Авраамом Авраам же возвратился на свое место».

Нет чтоб сразу ему сказать об одном или двух праведниках — ведь нашлись же в Содоме Лот и его жена! Ах, болтливый Авраам! С богами не торгуются, им просто подкладывают раз навсегда данный приказ, чтоб не ввести в сомнение,— подмахнут, и ладно. Азарт нужен в отношениях с ними, смелость или хотя бы безрассудство, отсутствие всякой логики. Не было в Дрездене никакой военной промышленности? Не было гарнизона? Даже противовоздушной обороны не было? Памятники архитектуры, искусства? Не важно! «Разрушить 1 (прописью: один) город Дрезден», кто-то, ощутивший себя всемогущим, равным небесным богам, подмахнул это решение, ничтоже сумняшеся.

Нет, сомнение все же было, но оно родилось позже, когда земля уже дымилась, как печь. Неслучайно о той же Хиросиме американцы узнали из речи Трумэна на другой день после взрыва атомной бомбы. А о Дрездене, о результатах его бомбардировки первые сведения в американскую прессу просочились лишь двадцать три года спустя! Хотя весь мир давно знал об этом, хотя каждый год в ночь на 13 февраля все дрезденские колокола, как и сейчас, звонили

с неотступной тревогой. Но долгих двадцать три года ни пресса, ни радио, ни телевидение Америки, тоже ведь считающие себя всемогущими, о Дрездене — ни слова. Никто за эти годы в Америке не оглянулся назад, боясь превратиться, как жена Лота, в соляной столб.

А все же, рано ли, поздно, пришлось оглянуться.

Роман Воннегута, кроме землян, населен еще жителями другой планеты — Тральфамадора. У тральфамадорцев есть одно удивительное свойство — видеть предмет не в трех, а в четырех измерениях: еще и во времени. Событие или человек предстает перед ними, ну, вроде как горный хребет: пики выстроились один за другим, как бывает в ясный солнечный день, но это не разные пики — все один и тот же, только в разные времена: в прошлом, настоящем и будущем. правда, тральфамадорцы лишены свободы выбора, они вообще предпочитают видеть лишь приятное из прошлой своей или будущей жизни. Они даже знают, что вселенная взорвется однажды, когда пилот летающей тарелки, испытывая новое горючее, нажмет не ту кнопку. Но и зная это, тральфамадорцы, как Авраам, «возвращаются на свое место», не бегут в Содом, не звонят в колокола, призывая жителей его опомниться, даже не расскажут им, что ждет их наутро. Нет, будут ждать, а потом лишь придут и увидят, что вселенная дымится, как печь. Если, конечно, останется кто-то, способный ходить и видеть.

Но у человека-то, в нынешнем своем всемогуществе научившегося этому свойству тральфамадорцев — видеть жизнь в четырех измерениях,— у него свобода выбора не отнята.

Мы не стали разыскивать в венгерском отряде лучших рабочих. А попросили переводчика Кароя Ситнера найти, если они есть, ребят из города Печа. Уж очень хотелось, на них глядя, хотя б в разговоре вернуться еще раз в этот город, одновременно очень старый и молодой, полюбившийся нам больше других в Венгрии, взглянуть на гору Мечек и на невероятный этот памятник советским воинам, поставленный на ее склоне греком Агамемноном Макрисом, а может, если уж совсем повезет, даже и в разговоре вернуться к друзьям в Пече: Ласло Матиашу, Жуже Алмаши.

Оказалось, из Печа здесь, в Усть-Илимске, двое, оба — в бригаде отделочников: Барабаш Дьёрдь и Мате Йожеф. Первый раз мы пришли к ним в обеденный перерыв, они только что кончили шпаклевать стены, пол в одной из ком-

нат административного корпуса ЛПК, в ней и ждали нас, наскоро перекусив в столовой; в углу стояла коробка с аккуратно сложенным в нее инструментом, ведра, банки со шпаклевкой, краской, олифой... Но никак не скажешь, что в комнате этой только что работали: нигде ни мусора, ни пятен краски, чисто, тихо, светло, хотя никто к нашему приходу не делал специальной приборки.

Дьёрдь — высокий, подобранный, с тонкими чертами лица, волнистой черной шевелюрой, громадными ласковыми глазами — будто со средневековой венгерской гравюры, только вместо кафтана с меховой оторочкой или рыцарских доспехов обмявшаяся по фигуре старая брезентовая роба. Йожефу на вид тоже не больше двадцати. Он коренаст, плотен, краснолиц, рыж. На нем майка-недомерок.

Оба смущаются — первая встреча с литераторами, и хотя всё уже понимают и сносно говорят по-русски, предпочитают поначалу вести разговор через переводчика. Увы, общих знакомых не нашлось. Оба живут в Пече — в новом районе города, за горой Мечек, вообще горожане недавние, и родились-то в деревне, это уж позже родители их перебрались в Печь. Оба окончили трехгодичное профессионально-техническое училище, работали — Йожеф ремонтником в жилищно-коммунальном предприятии, Дьёрдь — на стройке. Сюда, как и все остальные в отряде, поехали по призыву ЦК комсомола, прочли объявление о наборе, написали заявление. Желающих поехать было в несколько раз больше потребности — отбирали. Как? Этого уж они не знают. Наверно, по рекомендациям комсомольских комитетов.

Приехали сюда 12 августа 1976 года 292 человека, договор — на два года, сейчас их 270 человек, и почти все захотели остаться на третий год. Работа привычная та же, что и дома. Бетонщикам — тем сложней, особенно зимой, в морозы — впервые увидели, что такое электропрогрев блоков; бывало поначалу, и запарывали бетон, потом долбили перфораторами... А столярам, плотникам, малярам, штукатурам — им проще. Хотя и не привыкли работать вручную, но и так с самого начала делали, особенно — сначала, больше, чем наши бригады с механизмами.

— Не может быть!..

Нет, действительно так. Видно, потому что в русских-то бригадах отделочники — как правило, одни девушки, а у венгров — только парни, да и инструмент получше и всякие приспособления. В первый-то месяц они вообще всех поразили, на их работу приходили смотреть, чуть ли не как в цирк.

Рванули за месяц три нормы, им закрыли наряды — больше двадцати рублей в день на брата. При норме шесть-семь квадратных метров штукатурки некоторые делали до двадцати квадратов, а один парень — Немеш Шандор — может выгнать и до шестидесяти. И первый дом в новом городе, куда их сразу же поставили на работу, бригада вместо трех месяцев, плановых, сдала через два — под ключ. А потом чуть не две недели их не знали куда поставить: не было фронта работ.

— А как теперь?

Йожеф и Дьёрдь почти не говорят — показывают нам на шпаклевку, и на стены, называя только цифры: здесь, на административном корпусе, бригаде дают в день по сто восемьдесят килограммов шпаклевки, а они, не особенно-то напрягаясь, могли бы освоить и по триста, и по четыреста. Переводчик рассказывает: чтоб начать тут работы сам Евгений Павлович Петрухно, главный инженер управления строительства ЛПК, не вылезал из этого корпуса две недели, с утра и до ночи — за прораба, а не то за диспетчера...

И все-таки нам не очень понятно, как могут венгры-отделочники добиваться такой высокой выработки. Тогда Дьёрдь молча протягивает нам несколько кистей: круглые наша и венгерская, из тех, что они привезли с собой; наша — тяжелая, из синтетики, краска стекает по ней на ручку, а ручка, не знаем уж, для чьей ладони она сделана,— обхватить трудно; и венгерская — ее приятно держать, волосы — свиная щетина — подобраны один к одному, они не размусоливают краску, хороши в работе, и даже когда ведешь кистью по ладони, чувствуешь, какой легкий и ровный след она оставляет.

— Это круглые кисти,— говорит Дьёрдь,— а вот эти — флейцы — плоские. Летом наши ребята ездили в отпуск, так привезли с собой двести штук — пока хватает... Или еще деталь: у вас, чтоб работать на высоте, отделочники каждый раз строят подмостки, так? А мы обходимся со стремянкой.

— Разве быстрей — передвигать ее то и дело?

Улыбнувшись, он взял стремянку — нечто вроде садовой, углом кверху, только ступеньки не с одной, как у нас бывает, а с двух сторон,— легко взобрался на нее так, что угол, верх лестнички, пришелся как раз меж колен, ноги на разных, противоположных ступеньках, покачался туда и сюда — стремянка переступила четырьмя своими опорами поврозь, простучав дробно: тук-тук-тук-тук!.. И замер, опять улыбнувшись, на нас глядя.

— Давай-давай, покажи! — подбодрил его Йожеф.

Они повели нас в соседнюю комнату, еще неотделанную. Дьёрдь опять влез на стремянку. И тут мы увидели действительно цирк! Как на ходулях, Дьёрдь на лестничке в одно мгновение перемахнул по диагонали просторную комнату и вернулся обратно, на середину, и несколько раз обернулся вокруг себя, и спустился вниз по ступенькам, взмыл вверх, вроде бы даже не перебирая ногами ступеньки, а лишь скользя по ним, как по клавишам пианино в быстрой гамме, и уже встал у стены, а Йожеф бросил ему издали мягкий ком шпаклевки и легкий плоский мастерок с пластмассовой ручкой, Дьёрдь поймал их, как жонглер. И началось!.. Руки его вроде б вовсе не двигались, только в пальцах выплясывал инструмент, секундно притрагиваясь к стенке, выравнивая ямку за ямкой, почти и неуловимые даже для глаза, а ком шпаклевки таял, сжимаясь в ладони. Стремянка — она попросту стала продолжением ног Дьёрдя — вышагивала сама по себе, вдоль одной стены, и второй, и вот уже у окна орудовал мастер, выискивая зазоры между неплотно пригнанными рамами... Это было зрелище!

И так — пять минут, десять... Ни одного лишнего движения. Лицо Дьёрдя раскраснелось, но и стало строгим, жестким даже, глаза прищурились. И только по угловатой его спине, по жилам, напрягшимся на тонкой, мальчишеской еще шее, можно было заметить, что не так-то легко дается ему это искусство. Но поначалу-то нам казалось, что Дьёрдь и не работает вовсе — кудесничает, себе и нам в удовольствие. Даже и Мате Йожеф, до тех пор выглядевший этаким нелюдимом, нахмуренный, неповоротливый, вдруг положил одну ладонь на другую и, тихонько пришлепывая ими, выстучал неровный, почти плясовой ритм; и тут мы увидели, какие у него голубые глаза, они высветились солнцем, брызнувшим в тот миг сквозь окно, голубые и азартно-счастливые, будто это он сам выплясывал вместе со стремянкой, а не Дьёрдь. Точно — выплясывал: ладони Йожефа выстукивали уже мелодию чардаша, и тогда Дьёрдь, повернувшись к нам, размахнув руки, пошел вперед, прямо на нас, а деревянные обножья стремянки дробно вторили рукам Йожефа. И уже волчком, припадая то на одно, то на другое колено, крутился Дьёрдь на стремянке, волосы упали ему на лоб, а черные громадные глаза смеялись счастливо, а вместе с тем и насмешливо: мол, я еще и не так могу!.. Нет, если это и был цирк, то не для зрителей: для себя прежде всего, они сами получали удовольствие от своего мастерства.

Один из нас вдруг тихо воскликнул:

— Помнишь вчерашний разговор с Каганом?

Ну как же не помнить!.. Рассказывал он о тех переделках проекта Усть-Илимской ГЭС и лесопромышленного комплекса, которые приходилось вносить уже в ходе строительства, чтобы ускорить его, выдержать заданный темп, прежде небывалый для братчан, и кто-то из нас спросил:

— А были такие решения, от которых и сам, как инженер, получил удовольствие?

Конечно же, были. Хотя всякая инженерная проблема многозначна и можно найти минимум два-три решения ее, если не больше, но всегда одно их них — наиболее целесообразное, лаконичное, необходимое.

Феликс начал рассказ с самого простого. Тепличпо-парниковый комбинат. Крыша запроектирована с обычными несущими конструкциями из металла. А почему бы вместо них не поставить трубы и не пустить по ним горячую воду? Так и сделали. Крыша теперь, кроме прямого своего назначения, работала еще и вместо отопительных батарей. Экономия — в труде, металле, выигрыш пространства.

— Всегда и стремишься отыскать в проекте такую вот изящную необходимость, совместить вроде б и несовместимое,— говорил Каган.— Чтоб ничего лишнего!.. Что еще? В проектных наших организациях еще есть мухоморы, отставшие от жизни минимум на два-три десятилетия. Например, совсем не владеют они рельефом. Их идеал — снять гору и совместить ее с близлежащей равниной, а потом уж строить на этом месте...

На бирже леса, в жилых поселках на левом и правом берегах Ангары вопреки первоначальным проектам осуществили ступенчатую планировку построек. Кроме того, что в результате и внешний вид поселков ушел от стандарта, удалось обойтись без многих километров подземных труб, которые — по прежнему проекту — должны были собирать ливневые воды, сэкономлены тысячи тонн стали, не перелопачены попусту десятки тысяч кубометров земли. На всех главных корпусах ЛПК и в городке его эксплуатационников удалось внедрить бесштрабный метод бетонирования фундаментов несущих колонн. Тут слишком долго, если вдаваться в сугубо технические детали, пришлось бы рассказывать о его сути. Но факт тот, что в результате на строительстве каждого 90-квартирного дома было выиграно до полутора тысяч человеко-дней.

Был проект: стеновые панели главного корпуса ЛПК размерами 3×6 и 3×12 метров изготавливать в Братске, а потом возить их в Усть-Илимск, панели больших размеров были бы просто неподъемны для автомашин. Но когда посчитали, сколько подъемов могут сделать краны, смонтированные здесь на площадке, выяснилось: не хватит времени уложиться в отпущенные сроки. А большее количество кранов просто невозможно втиснуть в замкнутое пространство цехов. И тогда рядом с главным корпусом оборудовали специальный стенд, полигон для изготовления панелей 6×24 и 6×12 метров, и вместо предполагаемых 4000 крановых подъемов обошлись всего 800 — только потому и удалось к осени 1977 года — по графику — закрыть корпус и дать в него тепло.

В этих и многих других случаях — мы знали уже — Каган был если не инициатором переделок, то во всяком случае их активным участником. Но о себе-то он даже не упомянул. Все стремился донести до нас главное: настоящее инженерное решение любой проблемы всегда и включает в себя вот эту вот лаконичную многозначность. И тогда труд инженера граничит с искусством.

Но разве это относится только к труду инженера? — думалось теперь, глядя на то, что выделывает со своим рабочим инструментом Дьёрдь Барабаш. И ко всякому истинному мастерству — тоже! В том числе и к такому далекому вроде от профессий строительных мастерству литератора...

А Дьёрдь уже стоял на полу, стремянку аккуратно сложил и поставил в угол, улыбался застенчиво и отвечал на наши вопросы по-прежнему односложно. Нет, они и теперь не жалуются на зарплату: восемь-десять рублей в день, кое-что удалось и скопить, это не лишне, тем более и он, и Йожеф — молодожены.

Как?!.

А так. Йожеф вообще самым первым из приехавших в Усть-Илимск венгров женился на русской девушке, познакомился на танцах, она работает преподавательницей физкультуры в школе, а сама из Белоруссии, из Гродно, у них дочка уже ходит, вот-вот начнет говорить. А после него в венгерском отряде сыграны еще тридцать две такие свадьбы. Дьёрдь женился на одной из трех подсобниц, которых придали их бригаде. И уже родился ребенок. И вот тут-то они и сказали:

— Приходите к нам в гости, жены будут рады.

Так и решили.

Общежитие венгров на улице Наймушина, 60. Хорошо, что и в Усть-Илимске есть такая улица. Имре Киш, бригадир бетонщиков, должен был ждать нас к семи — так договорились с переводчиком. Но Имре в его комнате не оказалось.

— На кухне, готовит ужин,— сказали ребята.

Пока его разыскивали, мы оглядели комнату. На двоих. У широкого окна, изголовьем к нему — кровати, аккуратно застеленные, и все в комнате прибрано, расставлено с домовитой аккуратностью: посуда на столе, бритвенный прибор на специальной полочке, зеркало; пустые бутылки из-под вина и те стыдливо пристроены в уголок, а с ними еще и кефирная.

Кровати от стола отгорожены деревянными, самодельными, густо проолифленными ширмочками, планки их матово блестят расчетливо подчеркнутыми естественными слоями дерева. Получилась как бы еще комната в комнате. А в прихожей — дверь в другую, такую же, и еще дверь, за которой душ и все прочее,— уютное жилье. Вошел Имре, он черноволос, жилист, в майке, крепко обтягивающей загорелые плечи. Не поздоровавшись, сказал:

— Меня ни о чем не предупредили. Мы только собрались ужинать.— Взгляд настороженный.

Мы извинились, объяснили, кто мы и зачем. Стояли посреди комнаты друг против друга. Возникла пауза, неловкая. Имре молчал.

— Ладно, мы пока сходим к отделочникам, своим знакомым, хотя и договорились с ними на более поздний час. А уж потом — к вам. Когда вы поужинаете.

Имре хмуро кивнул.

Всегда хочется найти какие-то, хоть сколько-нибудь здравые объяснения чужой нетактичности. Тем более в ситуации этой: мы — гости, так, но и Имре — вроде бы не совсем хозяин, а как бы еще и наш же гость... Может, растерялся от неожиданной встречи или чем-то расстроен?..

Не было дома и Дьёрдя с Йожефом: на асфальтовой площадке между двумя общежитиями, венгерским и болгарским, при свете трех тысячесвечовок шел сейчас футбольный матч — на уровне сборных двух «стран», и они были там, среди зрителей. Но пришли тут же, как только узнали, что мы здесь. И не одни — с женами и детьми. В комнатенке Йожефа сразу стало тесно. Дьёрдь так даже остался стоять у двери, стеснялся сесть на чужую кровать, а еще один стул просто некуда было втиснуть.

Выяснилось, жена Йожефа уже была в Венгрии, в отпуске, в этом году. И мы, конечно, забросали ее вопросами. Где она успела побывать в Пече? Была ли в музеях? Видела ли памятник Макриса советским воинам, павшим за освобождение Печа,— будто ввинчивающийся в небо?.. И на каждый вопрос: нет, нет, нет...

У Людмилы плечи по-мужски развернуты — спортсменка. Умные карие глаза. Она не просто отнекивалась, а заставляла каждый раз рассказывать о том, что спрашивали мы, и видно было: ей все интересно. Не без укоризны поглядывала на Йожефа. Тот, в цветастой, нарядной рубашке, сидел, смущенно потупившись, поддерживая громадными красными руками дочь Наташку, кривоногонькую, пронзительно-светлоглазую.

— По магазинам, правда, удалось походить,— грустно сказала Людмила.— Хорошие там магазины. А так все больше с дочкой дома, трудно с ней выбираться куда-то.— И тут же поправила себя, чтоб уж быть до конца искренней: — Правда, родители Йожефа — добрые, рады были и круглые сутки сидеть с Наташкой.

И начала расспрашивать об истории Печа, уже и с досадой взглядывая на мужа: что ж ты-то мне ничего этого не рассказывал?!. И тут, будто б защищая подругу, вступила в разговор жена Дьёрдя Ирина:

— Да ведь как все это узнать, если язык не наш! Такой заковыристый! — И пошутила неловко: — Свой обломаешь о любое ихнее словечко.

Она тоненькая, с длинными светлыми косами. На веки положены грустные синие тени, а губы в оранжевой помаде, хотя вовсе ни к чему ей эта химия: на вид — лет шестнадцать. Оказалось — девятнадцать.

— А пробовали учить?

— Ну зачем! — воскликнула она и кокетливо оглянулась на Дьёрдя.— Пускай вот они наш, русский, учат.

— Да брось ты, Ирина! — с досадой перебила ее Люда.— Они-то наш выучили давно!.. А нам в Венгрии не только с ними быть!

Видно, спор этот не впервые возгорелся. Мы только подлили масла в огонь. Выяснилось: давно уже тут есть кружок по изучению венгерского языка. Вот только ходят на его занятия из тридцати двух девушек, вышедших здесь замуж за венгров, всего четыре или пять. В фойе общежития — мы уже видели — сменные выставки фотографий, репродукции картин. Знакомясь с такими выставками, кое-что можно,

конечно, узнать об истории и культуре Венгрии. Но хорошо было бы их показ сопровождать еще и подробным рассказом о стране — ее культуре, обычаях. Чтобы девушки наши еще до приезда в Венгрию смогли бы заочно полюбить будущую свою вторую родину, чтоб не осталось и отголоска этого шутейно-чванливого «пускай они наш учат!». Иначе нелегко им будет, да и их мужьям. Об этом они теперь и толковали. Мы-то уже больше помалкивали. Спорили друг с другом хозяева.

— Я не знаю, как у Дьёрдя,— говорила Люда,— а вот у моего родители каждое воскресенье, а то и в будни, по вечерам, идут в церковь. Мне поначалу даже странно это было, чуть не смешно. А если разобраться, разве смешно? Вот и тебе, Ира, случится так — что станешь делать?

— Я их судить за это не буду! — поспешно воскликнула та.

— Судить? Да разве в том дело, чтоб осудить только или оправдать? У них ведь за этим отношение к куску хлеба и к работе — как в это вникнуть?..

И, слушая ее, мы убеждались: она-то попытается все уразуметь. А Ирина?..

Печать наша, радио в последние годы немало говорят об экономической интеграции стран социализма, о взаимных выгодах сотрудничества на всех уровнях, начиная от центральных органов государственного управления и кончая отдельными предприятиями, колхозами, бригадами. Но вот возникли и совсем иные, чем прежде, формы этого сотрудничества: люди из разных стран не просто встречаются за протокольным или дружеским, праздничным столом, а живут друг с другом годами, перенимая каждый у каждого все хорошее не только в труде, но и в быту и в отношениях нравственных. А что-то маловато в прессе рассказов об этом.

— Нет, вы представьте! — между тем твердила свое Ирина.— Они, венгры, совсем не умеют пеленать ребенка, не привыкли! Говорят, не нужно это, вредно даже, а я считаю: просто лень!

— Да при чем тут лень! Ты почитай журналы: многие уж давно отказались от пеленок, не рекомендуют медики.

Спор этот был нескончаем.

Кажется, не меньше, чем в десятках двух очерках читали мы и об ином, например: как болгары-шоферы, приехав работать в Усть-Илимск, перенимали у наших водителей непростую науку — управлять тяжелыми, неповоротливыми КрАЗами. Все так! И все это, конечно ж, важно. Но ведь

идут и процессы куда более сложные, значимые: с помощью экономического сотрудничества, через него мы все учимся понимать душу друг друга, учимся терпимости, самоанализу, широте взгляда на мир.

Об этом вот еще один лишь, короткий рассказ. Мы его услышим по дороге из диабазового карьера к площадке илошламонакопителя, куда возят скальный грунт водители самосвалов — двадцать километров расстояние...

Рассказывал Василий Баранов, совсем еще молоденький паренек, белесый, смешливый, вовсе не привыкший к исповедям. Но видно, давно наболело то, о чем говорил он.

— Я четыре года назад сюда приехал. Сразу после армии. Тут и КрАЗ осваивал. И так само собой получилось: попал в одну бригаду с болгарами. Отношения — нормальные, хотя поначалу-то им трудней моего было. Дело не в том даже, что машины новые. Они как привыкли? Приехал после смены, написал механику наряд-рапортичку: то-то и то-то барахлит, заменить, подтянуть, смазать. И ноги в руки — домой. Утром пришел на базу: машина тебя ждет, вылизанная, садись и крути баранку, больше ничего тебя не касается... А у нас? Вот, например, мучаемся мы с этими лампочками сигнальными на задних бортах: КрАЗу для разворота радиус большой нужен, ну и не всегда рассчитаешь точно — бьются лампочки, хоть плачь! А достать новую — легче мотор целиком сменить. Однако ж есть и они где-то, нужно только знать, у кого найти и как!. А болгары-то все по дисциплине, колеей официальной буровят, спорят, сами друг друга честят, если кого на туфте прихватят. Наши мужики над ними только посмеиваются. А меня зацепило, спарился я нарочно с Василём Харизановым... Тут, правда, еще и такое дело: он тормозную систему знает, как профессор, вообще, дотошный парень, основательный, даже поступил учиться в Иркутский институт народного хозяйства, на заочный, по специальности — экономика и организация автомобильного транспорта. Ну а я побольше него волоку в дизелях, а главное — вот эту штуку, организацию-то автомобильного транспорта,— тут Василий подмигнул,— взял целиком на себя. Ни слова даже ему не говоря. Лампочку или там зеркальце заднего обзора, или еще что — это я в момент организую, будьте спокойны!..

Мы посмеялись. А у Баранова вдруг глаза грустные стали, и он выговорил с издевкой над собою же:

— Спарились. И я себя — не поверите! — из-за такой-то ерунды сперва чувствовал с ним, ну примерно, как вроде он у меня взаймы взял: я-то, мол, все могу! Я щедрый!.. А потом вот какая история. Пригласил меня Василь на свадьбу друга своего. Ресторан, человек сто народу, на каждом столе по пять бутылок, выбирай по нраву себе. Я выбираю, но чинно так, держусь в рамках международного сотрудничества. Сидим час, и второй, и третий. И что вы думаете? Сто человек, а среди них ни одного пьяного. Поют, пляшут, веселые, не ханжи вовсе, но каждый свою грань знает, вот что! Ну, думаю, может, они потом добирать будут, когда домой, в общагу придут? А тут только форс давят? И нарочно — за ними. Нет! И в общежитии не пили! Хотя смеху, шуток всяких было, сколько я за всю жизнь, наверно, не слышал. Так меня это поразило! — Василий удивленно покрутил белесой головой, сейчас посеревшей от придорожной пыли.

— Может, тут дело и не в них, а больше во мне самом: в семье моей эта водочка столько поуродовала в жизни — у отца и у старшего брата, я ее ненавидел издавна, а все вроде бы, куда ни бросался, без нее — никакого ходу, дружеского общения... А тут опять катавасия: в очередной раз какая-то переорганизация в нашей АТК, перетасовка по новым колоннам. И я поставил вопрос ребром: если меня от тезки моего, от Василя Харизанова из болгарской колонны, уберете, уеду вообще из Усть-Илимска к чертовой матери! Мало того, пришел в болгарское общежитие, к их командиру Стефану Станеву — хороший мужик, отзывчивый,— прямо сказал: раз уж окрестили наш экипаж «экипажем дружбы», так давайте дружить до конца: хочу с женой и ребенком жить у вас в общежитии, отдам ради этого даже отдельную квартиру, нами только что выстраданную. Он не поверил:

— Отдашь?

— Отдам!

Посмеялся он, но, видать, и его убедила такая моя решимость, добился: в виде исключения поселить в общежитии русскую семью...

КрАЗ уже подъехал к площадке илошламонакопителя. Высились невдалеке трубы ЛПК. Ярились на солнце вздыбившиеся колонны, бесчисленные трубы, емкости, и лишь близ котельной ТЭЦ чуть заземляли эти стремящиеся кверху конструкции пузатые, белые кувшины градирен. Василий притормозил. Мы еще прежде договорились, что он подкинет нас к этому перекрестку дорог.

— Ну а дальше что?

— А что? Теперь уж я от новых друзей ни на шаг.— Он рассмеялся, но тут же и погрустнел, очень уж внезапны каждый раз были эти его переходы от радости к грусти.— Возможно,— проговорил он тихо,— это мне только не везло прежде на друзей-то. Но сейчас подумаю, что через год, как договор кончится, новые мои кореша уедут к себе — в Бургас и Софию, Пловдив, как подумаю, сердце переворачивается... Ладно! Прощевайте!.. Поживем — увидим, как говорят.— Он махнул нам рукой, с хода включил вторую скорость. КрАЗ быстро скрылся за ближним леском.

На следующее утро — в воскресенье — мы видели, как Василий с женой Шурой, поварихой из левобережной столовой, затаскивали в автобус болгар коляску с дочкой, родившейся несколько месяцев назад,— автобус отправлялся в тайгу, на речку Тушаму; болгары давно облюбовали там местечко для отдыха, большую поляну близ порожка, на котором воды речушки разбиваются множеством белопенных водоворотов, а чуть пониже — глубокие бочаги; там и рыба стоит, и есть где искупаться, а на поляне удобно играть в волейбол или просто загорать, хорошее место.

Такая вот встреча. Но и еще одна, иная. В Будапеште,чтоб не заплутали, из гостиницы к Бениамину Сабо, ведавшему в министерстве строительством атомной станции в Пакше, нас провожал молодой инженер, кончивший один из советских вузов, а потом еще год, вместе с другими своими соотечественниками, стажировавшийся на Нововоронежской АЭС. К сожалению, сейчас уже забылось его имя: слишком уж короток был разговор. А начался он с вопроса банального: вспоминается ли Советский Союз?.. И вдруг ответ: не просто вспоминается, все они, кто учился в СССР, и до сих пор здесь, в Будапеште, да и в иных городах вне работы общаются друг с другом. И не в том дело, что некоторые еще в институтах переженились с русскими — таких и немного, но вот круг интересов, обретенных в студенчестве, куда как шире и не такой, что ли, меркантильный, как у некоторых иных. Очень уж многие, по мнению нашего провожатого, ушли сейчас с головой в быт, семью, строительство всяких дачек... Мы пробовали спорить. Но факт остается фактом: не один раз мы слышали о том, что закончившие советские вузы и здесь в самом деле особенно дорожат этим общением — закваска! Нет, не просто студенческая: иные из них вернулись из Союза десяток лет назад, уж и дети бегают...

И вот теперь мы невольно припомнили мимолетную эту встречу, случайный вроде бы разговор вовсе не для того, чтобы противопоставить его рассказу Васи Баранова, дескать, и мы, советские, не лыком шиты — кто ж в этом сомневается?.. Конечно, не лыком. Не лобовые, лихие сравненьица нам интересны тут: дескать, те пьют, а те — трезвенники, у тех душа изранена мировыми проблемами, а этих быт засосал,— если б все так просто было!..

И все же: вот два перекликающихся друг с другом факта. Что сыграло большую роль в мировосприятии, дружеских притяжениях наших двух рассказчиков: социальные, национальные особенности их судьбы? То и другое вместе? Но в какой мере «то», а в какой «другое»?.. Вопросы это все не такие простые, как может показаться на первый взгляд. И ответ на них могут дать лишь подробные социологические исследования. Наше же дело — задать их себе и читателю, точно следуя фактам, которые нам открывались в поездках.

Имре Киш, бригадир бетонщиков, родом из-под Сегеда, из крестьянской семьи. Вообще-то он не бетонщик, а плотник. Но успел окончить школу мастеров, ему тридцать два года, чуть не старше всех приезжих своих соотечественников, поднаторел в возне со всякими бумагами больше, чем кто-либо из них, вот потому-то и назначили его бригадиром.

— Первое, что я здесь сделал: изучил все ваши тарифные справочники и убедился, в них такой разнобой, что за одну и ту же работу можно заплатить рубль, а можно три, смотря какой книжкой пользоваться.

Признаться, нас покоробило такое начало разговора. Но мы не перебивали, слушали.

А Имре вроде даже спешил изложить свои выводы. Видно, заранее обдумал все, что нам следует сказать. И даже вопросов ему почти не пришлось задавать.

Сидит он в кресле прямо, говорит по-венгерски, не глядя на нас и на переводчика, делая расчетливые паузы после каждой высказанной мысли — проверяет, верен ли перевод. Для этого он уже достаточно хорошо владеет русским.

Имре подумал и уточнил: не сразу взялся за справочники. Подтолкнул его к этому один случай.

Сперва было две венгерские бригады бетонщиков. И вот одной из них дали ставить фундаменты для какого-то склада — пустяшная работа: тумбы всего-то куба по три каждая, тут много не заработаешь, как ни старайся. Но ударили моро-

зы, не очень крепкие, градусов двадцать пять. Первая сибирская зима для венгров, и нужно осваивать электроподогрев блоков, не такое уж сложное дело, когда разобрались-то, но поначалу казалось: морока!.. И вот та бригада день, и второй, и третий отсиживалась в брусчатом балке́, рядом с печкой, и вина с собой привозили «для сугреву» — последние слова Имре выговорил по-русски, усмехнувшись одними черными, чуть навыкате глазами. И когда ясно стало начальству — запорют они эту работу, их перебросили на другой объект, на блоки бо́льшие по объему, значит, и на заработок — больший. А вот на склад-то, зачищать, замаливать чужие грехи, поставили бригаду Имре.

Но его самого даже не эта явная несправедливость удивила, а то, что в конце-то месяца выяснилось: обе бригады получили заработок равный. Вот тогда он и взялся за справочники. В рассуждениях Имре не было логики. Да, конечно, «провинившихся» и надо было заставить доделать эти фундаменты. Но конечный их заработок тут не при чем: естественно, на выгодных блоках они потом могли наверстать потерянное поначалу, в те дни, когда отсиживались в балке́. Но мы не стали с ним спорить, слушали.

А Имре уже рассказывал: сейчас 170 бетонщиков-венгров, и все попросили продлить договор еще на год. Сперва же предполагалось, что они пробудут здесь только два. И вот руководство отряда справедливо решило оставить из этих 170 — 155 человек лучших.

Тут порядок такой: по примеру советских бригад они и в своей ввели в расчеты с рабочими коэффициент трудового участия. От нуля до двух. Тариф платят каждому, а уж вот что сверх тарифа заработали, делят согласно этому коэффициенту: просачковал — ноль тебе рублей ноль-ноль копеек, сработал хорошо — надбавка, иногда вдвое большая, чем другим. Конечно, споров было — через край. Особенно поначалу. Но теперь-то привыкли: Имре всегда сумеет настоять на своем.

Порой в рассказе Имре было важней не то, что он говорил, а как: с интонациями ровными, твердыми, фразами точно продуманными. Таким и должен быть бригадир, дотошно знающий свое дело и, когда это необходимо, жесткий. Но вот он опять заговорил о том, что остающимся на третий год, всем, повышают разряды — до четвертого или до пятого. И подчеркнул: после того как одну из венгерских бригад расформировали и разбросали ребят по советским, для них-то большой разряд особенно важен, чтоб свою долю—каждому.

— Почему?

— А потому, что за одну и ту же работу нам и советским-то бригадам или рабочим могут заплатить по-разному.

Мы не поверили. Пытались спорить. Имре опять нудновато толковал о разных тарифных справочниках.

Забегая вперед, скажем: на следующее утро, хотя через несколько часов нам уже надо было улетать в Братск, мы, махнув рукой на все предотъездные дела, поехали на стройплощадку, подняли наряды венгерской и русских бригад, работавших по соседству, и все их дотошно сравнили, даже еще и взяли с собой давнего своего знакомого, опытного инженера-нормировщика из другого строительного управления, чтобы себя проверить, если возникнут сомнения. Только в двух-трех случаях — убедились мы — венгерской бригаде оплатили труд по расценкам чуть-чуть завышенным. А вот такого, о чем говорил Имре, не было. К нему самому мы уж не успели заехать, объясниться начистоту. Попросили сделать это нашего добровольного помощника, инженера.

Но это все случилось назавтра. А пока-то мы слушали Имре несколько растерянно, обескураженные даже.

— Скажите, Имре, а по сравнению с прежней вашей работой, в Венгрии, заработок больше, меньше?

— Пожалуй, такой же,— ответил он, подумав. И еще добавил, видимо, стараясь быть объективным: — Нам, конечно, это тем более выгодно, что на родине-то идет на сберкнижку в форинтах... ну что-то вроде командировочных. Потому-то и решили ребята остаться на третий год.

— Неужели все только поэтому?

Тут он сказал не без вызова:

— Не знаю, как все, а я — точно поэтому. Я даже больше скажу. Я и подал заявление-то об отъезде, пожалуй что, из-за семейных всяких неурядиц... поссорились мы с женой, я из дома ушел, а тут как раз — объявление-призыв. Ну и сдернулся!.. И так вышло: еще до отъезда мы помирились. А я все ж поехал. И вот теперь и на третий год остался, понял: выгодно. Хотя на душе кошки скребут: как она там?

— У вас фотографии жены с собой нет?

— Нет. Я — человек не сентиментальный.

Должно быть, он и к себе был жестким. Мы попрощались.

Но после разговора с Имре Кишем не оставляло вязкое чувство не просто недосказанного: будто, отмолчавшись, невольно и мы участвовали в чем-то не совсем благовидном.

И дело даже не в этой — не знаем, вольной или невольной — неправде его насчет разной оплаты труда венгерских и советских бетонщиков.

Мы помнили, и в самой Венгрии многие хозяйственники толковали нам: в стране, за короткий срок превратившейся из сельскохозяйственной, по преимуществу, в индустриальную, среди рабочих, только вчера пришедших из деревни на заводы и стройки, и те есть, кто порой добивается всеми правдами и неправдами, как выразился один наш знакомый — «с помощью локтей», получить незаработанное. Проблема, которая есть и у нас, только называем мы ее по-иному — «рвачество». Признаться, мы колебались, стоит ли вообще заводить речь об этом эпизоде? Видимо, и в нас самих срабатывала боязнь хоть чем-то набросить тень на высокое понятие — «дружба народов», слова, которые для всех нас, наверно, слишком уж часто звучат еще и как некое заклинание, которое должно обставлять одними лишь апофеозно-восклицательными знаками. Но если эпизод этот — всего лишь частное недоразумение, которое легко выяснить, посидев за дощатым столом в прорабском вагончике, то зачем же Имре тщился доказать свое?..

Нам невольно вспомнилась одна из первых встреч в Усть-Илимске в эту поездку.

Братская ГЭС начиналась с поселка Заверняйка. Наверно, название это родилось потому, что долго еще после того, как объявили о строительстве грандиозной по тем временам гидростанции и протрубили о нем все газеты, деньги-то и материалы на новостройку ссужались скупо, а желающие работать здесь приезжали каждый день с каждым пассажирским поездом десятками, и, увы, большинство из них, сутки-двое потолкавшись по коридору управления строительством, вынуждено было возвращаться восвояси. Заверняйка — звучало тогда совсем не ласково.

Поселок этот стоял на самом краю древнего села — еще не города — Братск. Одно лишь здание — новенькое, из свежевыделанного бруса: управление строительством и группы рабочего проектирования ГЭС — филиала «Мосгидепа». А вокруг — стойбище старых бараков, жилых или кое-как приспособленных под административные нужды: фотослужба и суд, почта и что-то там по железнодорожному ведомству. Все — на тычке, в тесноте.

По утрам, спозаранку, жители Заверняйки разбегались, разъезжались на попутных грузовиках кто куда: к Падуну, к створу гидростанции, за тридцать километров, на строя-

щуюся автобазу — на полдороге к Падуну, или за сорок километров в другую сторону — в Анзёбу, к старенькому лесоперерабатывающему комбинату, принадлежавшему еще строителям железной дороги Тайшет — Лена, или к только что оборудованной лесопилке на окраине села Братск... А возвращались затемно и сразу валились спать, сбитые с ног усталостью. Но все же так ли, иначе все, конечно, знали друг друга хотя бы в лицо — вся жизнь на виду, да всех и было тогда лишь несколько сот человек.

Те, кто начинал свой Братск с Заверняйки, уж друг другу всегда готовы душу выложить. Феликс Львович Каган, конечно же, это предвидел, когда попросил провести с нами первую рекогносцировочную поездку по Усть-Илимску Николая Ивановича Матвеева.

— Это какой же Матвеев? Из Ангарской экспедиции?

— В Ангарской экспедиции он только отдельные работы выполнял, вот, в частности, трассу дороги на Усть-Илимск прокладывал. А вообще-то он в «Мосгидепе» — как приехал в пятьдесят четвертом, так до сих пор и трубит. Он, считай, почти что самый давний братчанин среди нас остался — с августа пятьдесят четвертого! Есть еще одна женщина — с июля, тоже в «Мосгидепе». А уж старше них — по стажу — никого! Через год им как раз можно справлять серебряную свадьбу с Братском.

— Постой-постой! Невысокий такой, с гладкими волосами, худой, рыбак заядлый, охотник, тот, который однажды Ангару проплыл сверху донизу, до устья, на байдарке?

— Он самый...

Но ведь Полухин же с ним и спал в одной комнате — в той самой, в общежитии ИТР на Заверняйке. Однако — надо ж! — до сих пор не знакомы были!

В Усть-Илимске мы тоже не впервые. Впервые-то один из нас, «братчанин», как раз тогда и попал сюда — в пятьдесят четвертом не то в пятьдесят пятом. Пробирался из Илимска, где отбывал некогда ссылку Радищев и стоит до сих пор одна-единственная уцелевшая сторожевая надвратная башня казачьего острога,— на лошаденке, в кошовке, жестокой выожной зимой; жерди кошовки залубенели от мороза, и холод их проникал даже сквозь собачью доху, когда опирался локтем на них. Дорога шла прямо по льду Илима. Речушка лежала в тумане, так и не развеявшемся за весь день пути. Круп лошаденки закуржавел от инея, она шарахалась каждый раз, когда из тумана черно выглядывал вдруг какой-нибудь торос, особенно громадный, причудливой

формы... А на Ангаре-то близ устья Илима тогда ничего и не было еще, кроме крохотного сельца Карапчанки. В нем жили гидрологи Ангарской экспедиции, которым надо было и в лютую зиму исследовать режим реки на месте будущего створа гидростанции.

А потом вторая поездка сюда. Это уж в году семьдесят третьем, когда рубили у Толстого мыса первые дома, первые просеки, опускали в холодную ангарскую воду — за оголовком мыса, в затишке — брусчатые ряжи, забутованные камнем: причал, к которому можно было б подогнать первые баржи с материалами из Братска. Как раз с одной из них, которую тащил на катере капитан-наставник Гриша Павлов — единственный, кто мог провести баржу через все ангарские пороги,— мы и добирались сюда в тот раз.

Матвеев внешне оказался совсем таким, каким и жил в памяти. Разве что волосы посерели от седины. Мы вспомнили то лето, в которое он начал прокладывать трассу дороги на Усть-Илим, жаркое выдалось лето, и с ливнями такими — иногда из палатки не выйдешь! Матвеев все то лето не вылезал из лесу, выверяя проложенную топографами Ангарской экспедиции трассу автомобильной дороги из Братска на Усть-Илим. Кстати, в то время — а давние братчане между собою и до сих пор — никогда не говорили «Усть-Илимск», только «Усть-Илим», наверно, потому что суффикс «ск» предполагает некий городской уют, основательность жизни, а какая уж там была основательность: палатки.

И вот теперь Николай Иванович вез нас по городу к плотине ГЭС, а мы ничего не могли узнать вокруг. И не в том даже дело, что вместо деревьев сбегали вниз по сопкам к Ангаре дома-девятиэтажки: изменились и масштабы. Матвеев, стоя на плотине гидростанции, показывал:

— Да вот же Толстый мыс, в нижнем бьефе, слева, неужели не видите? За ним как раз тайга горит, видите дым?

Неужели это Толстый мыс?!. Когда-то это была грузная сопка, вмятая округлым, как у громадной баржи, носом в Ангару, зеленым-зеленая под солнцем, высоченная,— на нее с бережка-то смотреть надо было, придерживая шапку,— свалится. А теперь?.. Мы стояли посреди реки, метров на сто — над нею, даже спиной чувствуя, как позади, в верхнем бьефе вода подпирает плотину, наполнив водохранилище всклень, нависла над нами, а тут, в нижнем бьефе, Ангара лежала далеко внизу, белесая, словно выцветшая,

и Толстый мыс словно бы терялся за домами, трубами, какими-то заборами, что ли,— отсюда не разберешь,— обступившими его: невзрачная, облысевшая горушка, сизая в дымном мареве; лето опять стояло жаркое, не успевали потушить один пожар в тайге, как занимался другой.

— Николай Иванович, так ведь напротив Толстого мыса, чуть наискось — острова лежали, прекрасные два острова — Лосята, Большой и Маленький, где же они? — выспрашивали мы с обидой за Толстый мыс и с тайной надеждой: может, ошибся, обмолвился Николай Иванович?..

— Ну Лосята намного выше были! Их теперь нет: затопило.

Он все здесь знал досконально, и память у него прекрасная, сыпал цифрами: каменно-земляная плотина, левобережная,— 1710 метров длиной, примыкает к ней дренажный тоннель, ограждающий поселок гидростроителей, но сейчас тоннель не увидишь, он — в самой глуби сопки Соколинки, вон той, у подножия которой — яхт-клуб, видно, как рябят на синей воде черные, голые мачты суденышек у причала, а длина тоннеля немалая: 1990 метров, сечение 2,5 на 2,5 метра, одной только скальной выработки там тысячи кубов — черт те сколько! — и с поверхности сопки на глубину до семидесяти метров идут к тоннелю скважины, в них-то и собираются все вешние и ливневые воды, преграждая путь к поселку,— громадное сооружение, в сущности.

— Многого уже не увидишь,— со значением говорит Матвеев. Мы опять садимся в его походный «уаз», в кузовке которого вдоль бортов — самодельные лавочки, в центре — такой же столик, на котором можно и чертежи разложить, и обед сварганить, и просто отсидеться от мошки удобно в этой машине. Едем дальше по плотине. Опять — цифры, точные характеристики.

Бетонная плотина — одна из самых обжатых в мире: треугольник ее близок к идеальному... бетона в ней... длина... высота... намывная земляная плотина левого берега — 2,5 миллиона кубов намыва плюс 500 тысяч сухой отсыпки... Для ориентира, чтоб все представить точней: мост, автодорожный, внизу — за два километра от плотины, труба ТЭЦ на ЛПК от левобережного поселка — в двенадцати километрах, только кажется, что рядом-то: размеры!.. Да вот и бетонная плотина — изящная, не так ли? — изогнулась ниточкой на фоне громадины водохранилища-моря, а только водослив ее — одиннадцать секций по двадцать два метра каждая — считайте, сколько всего? — затворы металли-

5 Заказ 1098

ческие по пятнадцать метров шириной, и вот представьте, как поднимут эти затворы, какой обвал воды идет вниз, когда сбрасывают-то ее с этакой-то высоты, почти сто метров, и — на трамплин, носок водослива изогнут точно как у лыжного трамплина, тут важно, чтоб между бетоном и массой летящей воды не создался вакуум — пузырьки воздуха, которые все же будут попадать в пустоту, под давлением станут тогда взрываться — куда там динамиту!.. Явление кавитации — слышали такой термин?..

Вот эта нынешняя конфигурация плотины, более совершенная, чем в Братске,— давняя еще работа Феликса Львовича Кагана, результат его экспериментов...

Мы слушаем Матвеева, а сами все пытаемся отыскать старые приметы: ту поляну, на которой поставили первые на Усть-Илиме палатки, сопка круто уходила от нее вниз, к Ангаре. Но, кажется, как раз на том месте, в центре нынешнего левобережного поселка — ТЭЦ, которая дает тепло для всего города, а работает на электричестве: изящный металлический куб среди домов, и ни дыма, ни копоти — с дешевой ангарской энергией можно себе разрешить такую роскошь: на эту ТЭЦ работает сейчас постоянно один из пятнадцати установленных на гидростанции агрегатов. А монтируют еще два, сверх первоначального проекта.

Но вовсе не это заботит нас сейчас: вдруг мы вспомнили, какой был бой в управлении строительством в связи с палатками — ставить их в Усть-Илимске или нет?.. Уж слишком одиозны были когда-то палаточные городки в самом Братске! Все давние братчане не забудут тот день, когда принародно, торжественно, с речами и клятвами сжигали первый из них, поставленный еще летом пятьдесят пятого на ангарском плёсе, близ Падуна. Его называли «Зеленый городок» — по первоначальному цвету полотнищ, которые выцвели позже, выстирались в дождях, вымерзли на морозах, выгорели на солнце до белизны. И вот бульдозер сравнял завалинки палаток с землей, сломал жердяные остовы, сгреб все в кучу, огонь взметнулся над нею вихрем — ветреный был денек. Но и грусть была в этом торжестве: мы все будто прощались со своим прошлым.

Вот только не стало оно прошлым: дней через десять в Братск пришел эшелон с тысячью только что демобилизованных солдат с Дальнего Востока, и вновь — правда, в другом месте, поодаль от людских глаз — будто б можно спрятать такое! — вырос новый палаточный городок, кажется, еще больше прежнего. И долго еще он стоял, много лет...

Так уж сложилась судьба Братска: стройка все время велась на пределе сил, с первых же своих лет, когда ее даже собирались консервировать. И вот тогда-то начальник строительства Наймушин на свой страх и риск, вопреки указаниям министерства, года на два прежде всех назначенных сроков приказал отсыпать перемычки правобережного котлована ГЭС. Сейчас трудно даже понять, как он мог решиться на это. Не хватало рабочих. И негде было жить новым. Ни складов, ни магазинов. Еще только самые примитивные заводишки, сляпанные на скорую руку, начали давать брус и бетон, которых мало было и на строительстве жилья. Настоящую базу строительной индустрии, без которой вроде и немыслимо начинать основные работы на ГЭС, здесь введут в строй только через пять лет... И вдруг — отсыпали перемычки и откачали воду из котлована.

Авантюра?.. Конечно. Ходили слухи, что вот-вот должны снять Наймушина с поста начальника строительства. Но с какой же радостью все мы, жившие тогда в Братске, едва только показались на дне котлована бурые, черные диабазовые камни ангарского русла, бросились вниз с перемычек, проваливаясь в ямы, по колено, а то и по пояс в воде, побежали с разных сторон навстречу друг другу, обнимались, кричали что-то ликующее... Мы-то в тот самый миг уверились твердо и навсегда: гидростанции быть!

И с какой яростью работали на ангарском дне первые бригады бурильщиков. Надо было зачистить до целика, снять поверхностный слой скалы, трещиноватый. Отбирали, посылали туда лучших из лучших, после долгих споров в комитете комсомола строительства, чье заявление отвергнуть, а чье удовлетворить. День и ночь тарахтели в котловане компрессоры, взлаивали, срываясь с диабазовой тверди, буры перфораторов, и глухо бухали взрывы. Диабаз — камень высшей категории крепости. Неумелому за день отбурить с шапку осколков — много, да и то потом руки, плечи всю ночь будут дрожать, вздрагивать, будто и во сне сжимаешь ты пальцами гладкую рукоять перфоратора. А мы все тогда были неумелые. И тем не менее любые прежде существовавшие нормы по разборке скального грунта бригады добровольцев перекрывали вдвое и втрое. И уже стало просто невозможным остановить стройку, законсервировать.

Деталь: лучшей среди этих бригад была та, которую возглавлял Иннокентий Перетолчин, он потом был и во главе «десантного», как его называли, отряда, который первым пришел в Усть-Илим, точнее — в село Невон неподалеку

от будущего Усть-Илима; сейчас, прилетев сюда, мы искали машину — добраться до площадки лесоперерабатывающего комплекса, позвонили в диспетчерскую, и ответил знакомый, чуть глуховатый голос:

— Диспетчер Перетолчин слушает.

— Кеша? Неужели ты?..

Машина пришла тут же.

И того котлована в Братске не увидеть теперь, и палаточных городков, и первой лесопилки, которую поставил в Усть-Илимске отряд Кеши Перетолчина, и этот дренажный тоннель, о котором рассказывает нам Николай Иванович Матвеев,— весь под землей... А нелегко он достался! Однажды в тоннеле этом в электропроводке случилось короткое замыкание, и загорелись временные деревянные стойки подпорок, огонь отрезал шесть человек от выхода из жерла тоннеля... Все самое трудное, тяжкое теперь не увидеть. Приехавшему в Братск, в Усть-Илимск новичку только и остается — восхищаться изящными линиями громадин-плотин электростанций, хитросплетениями металла корпусов ЛПК, все это выглядит — будто стояло от века. Но мы-то помним иное. А о том, чего не довелось увидеть, испытать самим и чего больше никто не увидит, стараемся расспросить как можно подробней.

Вот хотя бы о трассировке будущей дороги к Усть-Илимску. Сложность была еще в том, что в те годы даже и путной карты этих мест не существовало — лишь «стотысячная», считай, что слепая. По ней-то и наметили первоначальную трассу работники Ангарской экспедиции. А к тому же не нашлось среди них ни одного специалиста-дорожника, а только топографы, для которых все эти бесчисленные выемки, насыпи, уклоны — понятия скорей умозрительные, чем реальные.

И вот в первую же свою недельную вылазку в тайгу, предпринятую больше по собственной инициативе, чем по приказу, Матвееву удалось на участке в семьдесят километров длиной, ближнем к Братску, так спрямить трассу, что оказалось возможным сократить ее протяженность на три километра, избавиться от строительства четырех предполагаемых мостов, уменьшить объем выемок кубов на восемьсот — немало, если учесть, что стоимость каждого перелопаченного «кубика» не меньше двух рублей... На многие миллионы тянула предполагаемая экономия.

Вот после того-то и впрягли Матвеева в эту работу на четыре года безвылазно. Собственно, и сам он по образованию

вовсе не был дорожником. Родом из-под Ленинграда, из поселка Саблино, в войну мальчишкой чего только не перебедовал: голод, потери, да и позже досталось — заочный техникум морского гидростроительства, Волго-Дон, опять заочно — Ленинградский институт водного транспорта, Горьковская ГЭС... Как раз в Горьком чуть больше года пришлось ему просидеть на проектировании дорог — невеликий опыт. Важней его был опыт завзятого таежника. В экспедицию зимой ли, летом, в одиночку или вдвоем с напарником Матвеев уходил всегда налегке, с одним лишь рюкзачком да ружьем, с собакой, зато каждый день удавалось «отрабатывать» не меньше десяти километров.

А однажды, когда ушел он зимой в тайгу втроем, с топографом Азовским, геологом Плагутиным,— сперва пробивали лыжню, а уж потом на нартах, впрягшись в них, тащили буровое оборудование. Тогда одна скважина, пробитая вручную, и вторая, и третья показали: карта врет чудовищно — минимум на шесть метров по вертикалям. И стало быть, намеченная трасса на немалом пространстве попадет под воды будущего моря, значит, надо бурить еще и еще. Когда они это сделали и вышли все же вовремя, в назначенный срок к назначенному месту, куда должен был прилететь за ними вертолет, а вертолета нет, как не было, и не осталось даже хлеба в рюкзаках,— вот тогда Матвеев отшагал за два дня, выбираясь в село Мирюнду, под Нижне-Илимском, сто сорок километров. За два дня — сто сорок!..

Уже когда вышел на реку, километрах в тридцати от Мирюнды, ему навстречу — дело было под вечер — попался мужик-чалдон с лошадью, запряженной в кошовку, спросил, куда путь держит Матвеев, и изумился:

— Ты чо, паря? Разве дойдешь? Вон лошадь и то пристала!

А Матвеев ответил:

— Так я же пёхом: легче, удобней,— и показал себе на ноги.

Был он обут в резиновые сапоги, чтоб не промокнуть, когда проваливаешься под наледи, которые здесь, в болотах да на реке, в пятидесятиградусные морозы вспузырились чуть не на каждом километре. Мы представили себе, каким тоном проговорил это Николай Иванович: приглушенно, чтоб не показались слова его в укор мужику,— пешком привычное, дескать, дело, можно и спрямить путь там, где на лошади не пробраться... Но особенно тяжко достались ему изыскания в Кашимских болотах, между сто двадцатым и сто тридцатым

километром трассы. Может, и сам виноват: не предусмотрел, и пришлось идти туда летом, чтоб успеть к сроку: изыскателей уже торопили строители.

Они пошли вдвоем с Павлом Гуревичем. Лошадь с собой не брали: там ей ходу нет. А на себе много ли унесешь? На неделю продуктов. Так и рассчитывали обернуться. А выбрались только через три недели. Леса там почти нет: так, торчат кусты, бунчуки осоки — вроде б среди луга. Но то не луг — сплавина, которая ходит под тобой, зыбко раскачиваясь, едва ступишь на нее. И вся изрытая промоинами-ручьями, вода в них коричнево-черная, глянцевитая на солнце, почти как нефть; никак не разберешь: глубоко ли, мелко?.. Вроде — вот, рядом дно, а сунешь шест — он уйдет весь, не достав тверди. И не добыть в этих гиблых местах ни рябчика, ни глухаря; птица здесь не держится. Последние дня три только и пробавлялись чаем.

Но удалось зато радиус излучины, которую делала здесь на карте трасса, сократить с тысячи пятисот до пятисот метров, избавиться от четырнадцати железобетонных труб под полотном дороги, от мостов через речушки Выдерму, Сухую и Верхнюю Кашиму, избавиться от шестидесяти тысяч кубометров выторфовки, двухсот шестидесяти тысяч кубов насыпи... За эти дни похудел Николай Иванович килограммов на десять, хотя и прежде он был таким же сухим, подтянутым, как и теперь,— вроде б ни грамма лишнего веса. И не одну гибельную минуту пережил, проваливаясь в болото так, что уж казалось — всё, не выбраться!..

Теперь из Усть-Илимска до Братска на машине ходу — несколько часов: асфальт. Феликс Каган предпочитает всякий раз добираться на «Волге», а не самолетом: в пути можно, наконец, и одному побыть, что-то обдумать не торопясь или просмотреть очередную кипу документов... Проскочишь мимо Кашимских болот, даже и не вспомнив, каково досталось здесь изыскателям.

«Уроки Братска» — это многозначное словосочетание за последний десяток лет настолько примелькалось в газетах, журналах, что всякий раз звучит чуть ли не назойливо, нудно. И не одно уже научное исследование написано о коллективном опыте братчан. Вроде бы даже модным стало: уж коли произнес «Братск», то говори и об «уроках»: экономических, организационных, инженерных. Но у каждого из нас, кто жил в те годы на Ангаре, есть и свои личные уроки, и томительно-гибельные минутки, вроде тех, что пережил Матвеев в Кашимских болотах.

Когда выйдет в свет эта книга, Матвеев давно отпразднует свою серебряную свадьбу с Братском, а строки эти станут, кажется, первым печатным упоминанием о нем — увы, хоть и невольно, беглым! А ведь он — в одиночку — сэкономил для стройки десятки миллионов рублей, столько, сколько не сможет дать иное громоздкое СМУ за год или два. И до сих пор служит Ангаре верой и правдой. А сколько же еще позатеряно нами среди многих тысяч людей, отдавших молодость Братску и Усть-Илимску, весь жар души своей отдавших, сколько позабыто нами таких вот матвеевских, и петровских, и сидоровских, и ивановских «уроков», звездных часов и минут — не счесть!

Но они-то и были тем самым трудным, что теперь не увидеть, а может быть, и не узнать. И без этих дорог, которые у каждого из нас — свои, не собраться бы на площадке Усть-Илимского лесопромышленного комплекса людям из разных стран, не возвести его стены, не смонтировать оборудование, не сварить целлюлозу, которая теперь — долями, равными вкладу каждой из стран,— идет за рубеж, к нашим друзьям. Да, равными усилиям, и деньгам, и материалам, отданным сюда всеми странами, каждому — свою долю.

А все же наш-то вклад в Усть-Илимский комплекс не исчислить одними рублями или трудом, потраченным именно на этой площадке, да и вообще не одним только экономистам его измерять. Вот потому-то — а вовсе не ради каких-то сентиментальных воспоминаний людей, причастных к не таким уж давним дням Ангары,— мы и пишем здесь о Заверняйке и Зеленом городке у Падуна, о дороге через Кашимские болота и дренажном тоннеле в Соколиной сопке, о диабазе на дне первого котлована Братской ГЭС и о вроде бы безрасчетной «авантюре» Наймушина...

Все это невольно вспомнили мы наутро, когда, разобравшись с нарядами бригад венгерских и русских бетонщиков, убедившись накрепко, что рассказ Имре Киша — по меньшей мере, недоразумение, и едва успев к самолету, летели в Братск.

Под крылом — без края тайга, чуть тронутая рыжиной на солнце и темно-синяя, почти черная в тени, в глубоких падях; пятнистая и живая, как звериная шкура, чуть начавшая линять. Ангара сверху казалась такой тихой, домашней...

БЕРЕГА ДРУЖБЫ

Когда еще были мы в Грейфсвальде, на тамошней атомной электростанции, нам рассказывали об океанологе, докторе Отто Мильке из Варнемюнде. Он возглавлял специальную группу ученых, которая в свое время в течение двух летних сезонов исследовала гидрологический режим залива Грейфсвальдер-Бодден, а потом построила долгосрочный прогноз: как повлияет сброс теплых вод электростанции на жизнь залива, как изменятся его температурные режимы, прибрежные течения, условия обитания рыб, водорослей, береговая линия... Тут много проблем. И решать их можно только в комплексе, выбрав вариант, наилучший с точки зрения охраны окружающей среды. Согласно рекомендациям Отто Мильке и было окончательно определено место строительства атомной электростанции.

Так в эпизоде этом сомкнулись профессии, с которыми — поврозь — была связана когда-то практическая работа обоих авторов этой книги: энергетиков и океанологов — ну что, казалось бы, общего! А вот поди ж ты... Впрочем, для нас-то это не было неожиданностью. Знали, конечно: нынешняя океанология, накопив уже громадный теоретический багаж и постоянно расширяя его, давно связала свою судьбу и с повседневными нуждами многих отраслей хозяйства промышленно развитых стран.

Это и само по себе любопытно. А к тому же — рассудили мы — поучительно будет взглянуть, в сравнении с теми же энергетиками или строителями, или лесопромышленниками, одним словом — с хозяйственниками, какие новые формы экономической интеграции, какой организационный, научный и нравственный опыт несет с собой сотрудничество ученых разных стран СЭВа, именно — ученых и именно — океанологов, которые как раз благодаря широте своих исследований, множеству практических выходов будут интересны и для нас, очеркистов. Вот так и решилась однажды очередная наша поездка к берегам Балтики. На этот раз — зимой. Но ведь и в эту пору года там вовсю идет работа не только на самых различных станциях наблюдений, предупреждений, но и в институтах, лабораториях, где мы и хотели побывать у ученых Польши и ГДР. А они — участники всех первых совместных экспериментов океанологов братских стран. Их усилиями, в частности, трудная, опасная Балтика превращается в море мира и дружбы...

Об этом первый же разговор в Москве с профессором Андреем Аркадьевичем Аксеновым. Теперь он — главный координатор совместных действий океанологов стран — членов СЭВ. И до того мы встречались с ним в самой разной обстановке: на борту научно-исследовательского судна «Дмитрий Менделеев», и в Калининграде, в отделении Института океанологии Академии наук СССР, ведь Аксенов — заместитель директора этого института, и в Москве. Мы читали его увлекательные статьи, книги и знаем, как много он сам привнес в сближение ученых разных стран, распознающих действительные тайны океана.

Говорит он о совместных экспериментах океанологов социалистических стран, которые проводились в последние годы в Цингсте — ГДР, в Любятóво — в Польше, в устье Камчии — в Болгарии... По опыту прошлых поездок мы знаем: «эксперимент» — это только звучит так романтично и чуть ли не победоносно. В океанологии эксперимент чаще всего —

не итог сделанного, не венец, а всего лишь начало поиска, которому, кажется, нет конца. Слишком мало мы знаем пока о море, и слишком многолико оно, безмерно.

Собирается отряд ученых. С борта судов и с берега на немалом — а все же таком мизерном по сравнению со всем-то морем! — пространстве опускаются в воду приборы, одновременно в разных местах. Показания датчиков регистрируются. На глубине и у самого берега. На поверхности моря и у его дна. В атмосфере, на самой границе двух стихий: воды и воздуха, и выше... Температура, скорость и направления течений, ветров, длина волны и сила ее ударов... Десятки взаимодействующих. Тут важны и сами показания приборов, и вот эта одновременность измерений на большой площади, в пространстве. Она-то и дает возможность потом, позже сотни, тысячи цифр выстроить в изящные, согласные друг с другом линии, системы.

Океанологический эксперимент — это прежде всего кропотливая добыча фактов и статистика. И никаких тебе сенсационных скачков приборных стрелок, никаких лавровых венков, которые венчают голову победителя,— зачастую и нудный труд. Опустил в воду прибор, суммировал показания — вот в эту минуту, и через час, через сутки, через неделю... Вот в этой точке, и в десяти, в пятидесяти, в ста метрах дальше...

Редкостная удача, когда результат эксперимента -- новые факты, которые заставят пересмотреть прежние теории прогнозирования климата или наводнений, старую методику защиты морских берегов или строительства портовых сооружений, помогут найти под водой месторождения ценных минералов или понять условия жизни биологических систем в каком-либо бассейне... А все равно и этот, удачный эксперимент будет лишь началом следующего.

И вот чтобы ускорить темпы исследований, может быть, как ни в какой другой науке, для океанологов важны совместные действия ученых разных стран: и потому что наука эта молода, и потому что предмет ее исследований так велик, шутка ли, две трети поверхности земного шара — океан-море! — ни у одной страны, как бы велика, сильна она ни была, не хватит здесь сил решить все проблемы (а они взаимосвязаны!) в одиночку. Вот потому-то и стала, в частности, Балтика совместным полем для работы океанологов стран социалистического содружества.

Аксенов ладно скроен и вовсе не похож на кабинетного ученого. Скорее смахивает он на капитана дальнего плава-

ния, по самым романтическим описаниям. Только что трубки не курит. И вообще бросил недавно курить: пошаливает сердце. Примечаем за ним пристрастие по ходу рассказа наглядно показывать, о чем речь. И уже перед нами на белых листах возникают очертания Балтики. Профиль облюбованного учеными западного побережья этого моря для первого совместного эксперимента в 1973 году — близ Цингста.

— Исследовали всесторонне взаимовлияния берега и моря. Моря и атмосферы. Прибрежной суши и атмосферы. Тут сплетаются и проблемы глубоко теоретические, и необходимость усиленной индустриализации прибрежных районов, ее последствия, перспективы. Но как мало вопросов было основательно вырешено! Давно пришла пора точных ответов. И потому-то в Цингсте, как позднее в Любятове, в Польше, на юге Балтики, исследования велись в самых различных направлениях, специалистами разных отраслей науки. Возникали смешанные отряды ученых разных стран. В ходе работ уяснялись, уточнялись их методы, отлаживалась новая аппаратура, иногда уникальная, созданная специально к эксперименту в той или иной стране. Отряды так и именовались — по своей проблематике. «Энергообмен» — обмен энергией между морем, атмосферой и берегом. Тут — и изучение поверхностных волн, течений, факторов, их образующих. Барьерное влияние берега. Или еще отряд: «Волны» — профессор Чеслав Друет в Польше вам подробно расскажет, как освобождающаяся энергия волн ведет к образованию прибрежных систем течений и как они накладываются на течения, созданные ветром. Да и в ГДР тоже расскажут, как, например, установили такую закономерность: четко выступающие у берега периодические и непериодические колебания уровня воды в своем проявлении зависят от типа берега...

Аксенов рисует берег Цингста и вихревые, короткие стрелки, убегающие куда-то в толщу воды. Их сумбур — только кажущийся, пока рисунок не окончен. А рядом — уже иной: плавные кривые...

— Но это — уже открытие,— уточняет он.— Оно имеет и научный, и практический выход. Скажем, прогнозирование наводнений — что здесь важнее, наука, практика?.. Важно и другое: открытия, сделанные там, имеют свое значение для всего побережья Балтики, для исследования шельфа во всем мире. Мы обобщали результаты экспериментов в совместных сборниках, которые старались издавать быстро, фототипическим способом. И вот — примечательно! — трис-

та экземпляров сборника на английском в одну-две недели раскупались американскими и английскими и иными научно-исследовательскими институтами западных стран. Это уже говорит о многом...

Аксенов набросал нам и схемы некоторых приборов, которые были установлены в Цингсте и Любятове. И мы невольно приметили, когда он рассказывал о своих друзьях из Польши и ГДР,— то склонялся над чертежом, то вставал и ходил по комнате, — какой особый отпечаток накладывает океан на того, кто десятилетиями в нем работает, не теряя ни юношескую любознательность, ни тягу к самоконтролю, к эксперименту. Вот тут ходячее присловье — «дружба дружбой, а служба службой» — начисто сметается. И когда мы оказались в Варнемюнде, Ростоке, а перед тем в Гданьске, совсем не случайно по-польски и по-немецки нам твердили: «Творческое содружество ученых...»

Творческое!

Но, конечно же, мы расспрашивали еще и других океанологов в Москве и о тех ученых, польских и немецких, которые принимали участие в советских экспедициях, связанных с глобальными исследованиями океана. А наш крупный ученый, геофизик Глеб Борисович Удинцев, в свою очередь, попросил нас подробнее разузнать, как сложилась дальнейшая научная судьба молодых исследователей: в Польше — Казимира Пенхежевского, в ГДР — Дитера Ланге. Они ходили в океан вместе с Удинцевым, в экспедиции, которые продолжались по нескольку месяцев,— можно ли представить себе лучшую школу для тех, кто начинает свой путь?.. И еще просьбы вроде бы не по «программе»: иные ученые просили разузнать то, что связано было для них лично с последними месяцами Великой Отечественной войны.

Мы тогда и не предполагали, как властно почти каждая новая встреча в поездке будет нас возвращать к той трудной поре. Властно и вполне «программно». Хотя и знали: Аксенов, например, был в войну штурманом в авиации и окончил ее в Берлине.

А Удинцев рассказал такую историю. 27 марта 1945 года с временного аэродрома, близ старинного польского города Замостье, вылетел наш бомбардировщик бомбить военный порт Хель, под Гданьском. В экипаже — четыре человека, штурманом — лейтенант Глеб Удинцев.

Когда они прорвались сквозь плотный заградительный огонь зениток и уже выходили к цели, на них в боевом строю спикировали три немецких истребителя. В первую же минуту

был убит и выпал сквозь хвостовой люк самолета в море стрелок, совсем еще молоденький парнишка, это был первый его боевой вылет. Бомбы все же сбросили прицельно, но бомбардировщик загорелся, и уж когда уходили они от Хеля к Гданьску, был убит и второй стрелок-радист — Иван Воробьев. Прервалась связь штурмана Глеба Удинцева с пилотом Комарницким. Кое-как они под огнем «мессеров» все же протащили пылающую машину над Гданьском и еще километров шестьдесят и посадили ее на военном аэродроме Эльблонга. Там, в Эльблонге, Удинцев и просил нас разыскать могилу стрелка-радиста Ивана Воробьева.

Все это, думали мы, не для рассказа другим. Хотя, конечно же, могли рассудить: неслучайно ведь и в других поездках в братские социалистические страны, во встречах с другими людьми нас все время прибивало к годам войны — сотрудничество и дружба сегодняшние не исчисляются одним днем, тут иные промеры — глубинные.

И вот мы — в Сопоте, у Чеслава Друета, директора института океанологии Польской академии наук. Он рассказывает, как раньше расчеты, сделанные в открытом океане, переносились и на прибрежную зону. На их основании, к примеру, течения близ кромки прибоя традиционно приравнивались к нулю. И потому еще до войны на песчаной косе, замыкающей Гданьскую бухту с севера, построили порт и город Хель («Тот самый, удинцевский!..»). А после войны его резко расширили: польским рыбакам стала нужна база океанического флота. Но оказалось, коса-то двигается, течения здесь вовсе не нулевые, твердь земная уходит из-под города, и теперь приходится ломать голову: как спасти его и стоит ли вообще спасать?..

Притча о Хеле — прелюдия к рассказу об экспериментах в Любятово в 1974 и 1976 годах. Как раз и было главное в них — изучение прибрежных течений, трансформации энергии волн, энергообмена атмосферы, берега, моря. Потому и выбрали Любятово: тут лежат вдоль берега, на дне моря, три вала, характерных для всей южной Балтики. Потому и проводили эксперименты в сентябре и октябре — погода была самая контрастная, шторма сменялись штилями. А для точных наблюдений в створе, направленном перпендикулярно к берегу, возвели восемь свайных сооружений, по прямой уходящих друг за другом в глубину моря: на сваях над водой крепилась кабельная линия, датчики измерительных приборов. Еще мо-

ристей занимались измерениями с судов — «Профессор Альберд Пенк» из ГДР и польский «Хидромрт».

— Пять смешанных отрядов ученых из разных стран. Шестнадцать видов измерительной аппаратуры,— перечисляет Друет. — Никаких бюрократических субординаций, руководителями отрядов оказывались самые крупные специалисты... Когда сходятся сразу трое партнеров, когда происходит такое многостороннее исследование, накопление наблюдений...

Но тут Друет внимательно оглядывает нас, перебивает себя:

— Вы должны четко представить себе еще вот какую вещь. В мире сейчас две страны лидируют в изучении океана: СССР и США. У каждой — громадный экспедиционный флот, свои научные школы, давно отлаженные методы исследований. А у нас, скажем, в Польше — единственное суденышко, на котором за Ла-Манш выйти страшно. Хотя и ходим. И до войны был один лишь ученый, действительно мирового класса — Павловский, профессор Познанского университета, энтузиаст, великомученик, который, не имея никаких средств, кроме профессорского жалованья, на собственный счет посылал в Лондон на стажировку студентов и приобретал литературу... В тридцать девятом немцы оккупировали Познань, и его же коллега по университету, немец по происхождению, оклеветал Павловского, чтобы взять себе кафедру. Павловского казнили. После войны — все с нуля. Какая, казалось бы, может речь идти о равновеликом сотрудничестве между СССР и Польшей? — Друет говорил горячась, удивленно. Он высокий, изящный, в белом свитере, обтягивающем спортивную фигуру. И вдруг улыбнулся.— Но ведь ни у кого не может быть патента на ум, даже и в самых развитых странах. Важно было правильно наметить программу исследований. И тут надо отдать должное опыту, такту, дальнозоркости наших главных координаторов совместных работ в рамках СЭВа: сперва таким главным координатором был профессор Эрих Брунс, вы с ним еще познакомитесь в Берлине, а теперь, вот уже несколько лет — Андрей Аксенов... Вот здесь, на малых регионах,— тут Друет встал, подошел к карте на стене,— Балтийское побережье, еще меньше — Гданьский залив, или еще меньше — прибрежные соленые озера морского происхождения, каких особенно много на территории ГДР, здесь исследуются такие малые части целого, не поняв которые, не поймешь, не решишь ни одной глобальной проблемы. Математическое моделирование малых процессов, если оно строится

на основе таких обширных данных, которые получены были, в частности, в Цингсте или Любятове, как раз и позволяет переносить его на большие пространства, масштабы. И тут наши польские математики, электронщики да и биохимики, оптики — тоже участники совместных экспериментов — вносят свою весомую лепту в них... И заметьте, совместные исследования долговременны, они вовсе не ограничиваются временем общих экспериментов, а предшествуют им и следуют за ними, подготовляя тем самым будущие...

День у Друета расписан поминутно. Нам он отвел, как признался потом, полтора часа. А мы уже беседуем и третий, и четвертый... Но он увлекся. Говорит быстро, по-русски. Не просто говорит, видно, мыслит на русском.

— Где вы так хорошо узнали язык?

Никогда не угадаешь с поляками, куда заведет тебя самый невинный вопрос. Страна, веками распахнутая чуть не всем бедам, войнам, трагедиям, прокатившимся над континентом.

— В лагере военнопленных, во Франкфурте-на-Майне,— ответил Друет.— Впрочем, и раньше успел хорошо узнать белорусский...

Чеслав — родом из Вильнюса. В сорок первом в поисках хлеба насущного его мать с тремя детьми (Чеслав — шестнадцати лет, старший, кормилец) оказалась в белорусских лесах, близ озера Нарочь. Чеслав нанялся пасти коров, сборное стадо со всех окрестных хуторов. Сельчане, складываясь, давали ему 16 пудов картошки и 25 пудов жита в год. Вольных выпасов не было, стадо паслось по лесам, но потому-то и узнал он хорошо все тайные лесные ходы. И когда в этих местах сбились польские и русские партизанские отряды, Чеслав стал связным между ними. И так — два года, пока не попал в мережково-повальную облаву: три дивизии «СС» и карательные отряды прочесали малый пятачок леса.

— Во Франкфурте вместе с русскими, белорусами два года я латал немецкие крыши в бригаде кровельщиков — и железом; и толью, и черепицей, на все руки. Благо работы было много: бомбили город хорошо. И нас на крышах, случалось, бомбили — тоже прекрасно!..

Так и обо всем он рассказывает — с шуткой. Замечаем это, а Друет — в ответ:

— Без шутки, наверно б, не выжить. Не зря еще Гегель говорил: юмор — высшее состояние человеческого духа...

Смотреть на быстроменяющуюся синеву ветровых его глаз — будто следить за набегающей волной. Но уже не

шутя он заключает разговор, вернувшись к его началу:

— Для иных бывает по-разному, но для меня-то совместные эти исследовательские работы стали продолжением братства военных лет — и с русскими партизанами, и с немецкими концлагерниками, которые многим нам помогли во Франкфурте... И разве не удача знать теперь, что эксперименты в Цингсте, Любятово помогут нам бывший военный порт Хель оставить нынешним жителям его — рыбакам, укрепив берега...

Доктор Казимир Выпых называет себя «диспетчером и регулировщиком» среди океанологов. И дело не в том даже, что он — координатор по Польше совместных сэвовских океанологических работ и потому всех и вся знает,— характер: ведет в университет и нас, и учит, где найти единые билеты на автобус и электричку, рвется их купить сам,— едва удается отбиться.

Он худенький, небольшого роста, в черном берете, в легком черном пальто-плаще на — кажется — мнимо-теплой подкладке. Со спины — мальчишка. И юношески быстрый в реакции на шутливое слово, сыплет в ответ афоризмами: «В экспедициях люди сближаются как на фронте... Каждый всерьез океанолог подвижен и психологически...» А походка-то неспешная. И эти короткие фразы с усмешкой в одних только карих глазах. И над зябкими плечами всегда высоко поднятая голова... Он-то и привел нас в институт океанографии Гданьского университета, к его директору Леониду Богдевичу, и притащил еще из лаборатории, что по соседству, геолога Станислава Мусиляка, тот даже не успел снять белый халат.

— Вот вам рафинированный продукт сотрудничества,— представляет Станислава Выпых.— Стажировка — в Геленджике и на Каспии, защита диссертации — в Москве, последняя серьезная работа — вместе с Пенхежевским, а консультировал их Андрей Аксенов. На советском же судне по советской методике они в одно лето разведали — тут, под боком, на небольших глубинах — громадное месторождение циркония. Это минерал, без которого ни нынешняя металлургия, ни прочие всякие мудреные отрасли промышленности существовать не могут. До сих пор мы тоннами за бешеные деньги везли его — аж! — из самой Австралии, с другого края земли. А теперь вот благодаря этому продукту,— Выпых делает жест рукой в сторону Мусиляка,— согласно последним мировым стандартам мы начнем добывать минералы со дна морского...

Мусиляк, добродушный, белокуро-розовый гигант, отшучиваясь, вспоминает анекдоты из своей московской жизни, связанные чаще всего с языковой путаницей: разным значением одинаково звучащих слов в польском и русском. Но нам-то сейчас — наслаждение просто слышать музыку польской речи; каждый раз, приезжая в Польшу, как бы заново удивляешься на наше ухо слишком уж недоуменному «очывищче», или дотошному «правдоподобни», или звенящему, как ручей, «рэнка» — рука... Разговор так и идет — впятером, и потому — вперескок, вперебив.

— Нет, ты, Казимир, расскажи лучше, как на животе по шаткому льду, по озерам да болотам ползал со своими бурами...

Это говорит Богдевич Выпыху. И сам же рассказывает... На протяжении многих километров вдоль побережья Выпых отбурил тысячи стратиграфических проб, беря их чуть не впритык друг к другу: уж слишком изменчива геология Балтики. И там, куда не подступиться даже на лодках, бурили вручную. Но не только он с сотрудниками: и немецкие, и литовские коллеги — со своих судов в глубинных районах заливов Вислинского, и Щецинского, и иных, в открытом море и на суше. А результат — важный для всех: по возрасту, по условиям возникновения, изменениям пород осадочных и коренных удалось не только по-новому взглянуть на историю Балтики, но и в какой-то мере предсказать ее будущее. Работа столько же насущная практически, сколько и необходимая для корреляции фундаментальных знаний о Земле, океане. И выполнена она могла быть лишь совместными силами.

— Один из зачинателей ее — профессор Павловский,— уточняет Богдевич.— Его главной страстью было преподавание, и потому он оказался детально точен во всем, потому, наверно, и самый облик его: истовая худоба, сутулость, очки, жесты — все упорно напоминало образ терпеливого и вместе с тем темпераментного школьного учителя.

— В науке все мы здесь,— говорит Выпых,— дети или внуки Павловского. Я — внук.— А минутой позже, отвечая на вопрос, он мрачнеет:— Его не просто казнили: пытали, а потом повесили за ноги...

И тут Богдевич начинает рассказывать о своей сестре, выдюжившей немецкий концлагерь, бежавшей из него, а потом — когда шла на связь с партизанами — опять попавшей в лапы гестапо. Ее расстреляли.

Богдевич говорит о тяжких судьбах других своих дру-

зей по партизанскому отряду. А Выпых — тихо одному из нас:

— Ну с партизанского конька Леонид не слезет до вечера,— и громко — другу:— Ты в каких лесах шуровал? — И вдруг искренне удивляется:— Так это мы с тех пор соседи? Я ж совсем рядом был: под Замостьем.

Под Замостьем — там же, где аэродром Глеба Удинцева! Оттуда они и летели бомбить Хель.

Но родился Выпых не там. Это в 1939-м его отца в первые же дни оккупации за то, что воевал с немцами еще в первую мировую войну, бросили в тюрьму, и так он и сгинул, а жену, детей переселили на восток, под Замостье. Лет двадцать Казимир ничего не знал о судьбе отца. Но уж когда осел в Гданьске, женился и сам стал отцом, получил новую квартиру, в ближайшее рождество к нему в дом пришел ксендз соседнего костела: таков обычай — перед праздником обходить весь приход. Дряхлый, седенький человек.

— Пан Выпых?.. Как звали вашего отца?

Казимир ответил.

— А когда и как он умер?

— Этого я не знаю. Но арестовали его в тридцать девятом и бросили в познанскую тюрьму.

И тут ксендз заплакал, обнял его, совсем маленький, слабый старичок, едва дотянулся до плеча Казимира.

— Это был мой друг... Нас отвезли в Маутхаузен, и там мы вместе работали в каменоломне, пока твоего отца не увели на расстрел. А нас, его соседей по бараку, выстроили перед стенкой, чтоб мы все видели... Я смотрел. Я не закрыл глаза...

В тесном кабинетике Богдевича — меж столом и окнами можно протиснуться только боком — повисло молчание. Но мы уже не могли не спросить про Замостье. Выпых отшучивался:

— Какой из меня партизан? В тринадцать-то лет?.. Просто там кругом леса, и у каждого мужика дома — оружие, по домам своим и жили, вместе собирались только на операции, а потом — опять по домам... Вот Богдевич, он — партизан настоящий, а я! — И машет пренебрежительно рукой.

Рассказывает о нем опять Богдевич. В снежную зиму сорок четвертого отряд Выпыха окружила дивизия эсэсовцев; пришлось с боем прорывать кольцо. За двое суток, утопая в сугробах, они отшагали километров сто, и когда, наконец оторвались от немцев, одежду, чтоб снять ее, пришлось оттаивать над кострами. Казимиру было тогда уже пятнадцать лет.

Вот с тех-то пор и по сей день отмороженные ноги, плечо — случается по погоде — ноют так, что руку — не поднять, не надеть пальто. Под эту боль и приспособил элегантный Выпых свой подбитый воздухом «зимний» плащ.

И уж ему-то, и Богдевичу, и Станиславу Мусиляку, отец которого, столяр, участвовал в героической обороне Гдыни, а плен отмытарил в Свиноустье, не можем мы не сказать, что Любовь Руднева в сорок пятом с морскими частями как раз и входила в Свиноустье, Колобжек и Щецин, а потом попала в Берлин.

— Ну да же, да! — восклицает Мусиляк, взволнованно поворачиваясь всем крупным своим телом, белый халат взмахивает полами.— Отец и рассказывал: его из плена вызволили советские моряки.

И уж им-то не можем мы не рассказать и историю Глеба Удинцева во всех подробностях. И то, как услышал он в наушниках предсмертный крик стрелка-радиста, дважды прошитого пулеметными очередями, и увидел пламя, выбившееся из-под крыла, и что-то кричал в микрофон Комарницкому, своему командиру, но Комарницкий не ответил ему. И какое мгновенное чувство одиночества испытал Глеб— одиночества во все безмерное небо, но в миг следующий по тому, как вылюзил самолет из воздушной ямы, выправился, понял: жив еще Комарницкий, жив! И не совсем еще потерял маневр самолет!.. И то, как Глеб встал во весь рост в кабине, чтобы следить за «мессерами» сзади и сбоку, и отрывисто стал выкрикивать курс Комарницкому, а небо било Удинцеву по глазам ветровыми жгутами, и эти удары казались такими хлесткими, звучными, что совсем вроде и неслышным стал рев истребителей, которые пикировали и пикировали на них, расстреливая безоружный уже бомбардировщик, и в иные секунды, растянувшиеся на годы, на всю последующую жизнь, видел Глеб за лобовыми стеклами «мессеров» немцев-пилотов, их отчаянно-азартные глаза, глаза смерти, и успевал разглядеть черное брюхо истребителя, когда тот проносился над самой его головой, затмевая солнце, и небо, и землю. Колени сами сгибались, а надо было стоять, и он выстоял и вывел самолет по-над самым леском к эльблонгскому аэродрому... А когда выскочили из горящей машины, чудом пока еще не взорвавшейся, вдруг увидели: по летному полю от серых бетонных арок ангаров бегут к ним фигурки в мундирах мышиного цвета, размахивая руками. Комарницкий выхватил из кобуры пистолет, и Глеб поднял свой и тут увидел траву — так, не траву даже:

блеклые реденькие ростки, едва пробившиеся сквозь укатанную аэродромную твердь земли. Но росным полднем пахла трава, и тонкий запах этот пробивался даже сквозь бензиново-смрадный чад горящего самолета... А мышиные фигурки приблизились. Впереди всех — здоровяк с огненно-красным, как стручок перца, лицом, во всю ширь которого разверзся орущий рот. Глеб подумал: «Как легко его взять на мушку»,— и вдруг услышал: орут-то по-русски.

Это действительно были наши — аэродромные технари, которые уже приспосабливали ангары к нуждам своим и обнаружили груды новенького немецкого обмундирования. И хоть были эти мундирчики ненавистней всего на свете, но собственные-то поизорвались в дым, и технари переоделись. Так дважды — в течение считанных минут! — пережил Глеб Удинцев собственную смерть.

Он нам рассказал об этом совсем недавно. А познакомились мы несколько лет назад в московском Доме ученых, где он делал сообщение о советско-американских работах на океаническом буровом судне «Гломар-Челленджер-2», и тогда-то мы невольно обратили внимание, как у этого моложавого еще, коротко стриженного, широкоплечего человека правое плечо то и дело, как у пловца, вдруг резко поднимается вверх, а левое — уходит вниз, и в то же мгновение Глеб Борисович прижмуривается невольно, будто б внезапно к лицу его подносят огонь. Тик, мета весны сорок пятого...

Мы еще рассказывали нашим новым друзьям: под руководством Удинцева была создана первая детальная карта рельефа дна Тихого океана, которой пользуются теперь ученые и моряки всех стран мира, не раз он возглавлял советские и интернациональные исследовательские экспедиции; отдавая дань открытиям ученого, американцы его именем назвали один из разломов дна Тихого океана; уже дважды Удинцеву присуждались Государственные премии по науке... Но тут нас перебил Леонид Богдевич:

— Слушайте... Слушайте! Этого не может быть! Тот самый Удинцев?! — возбужденно заговорил он и встал, еще больше ссутулился, взял нас за руки и потащил.— Ведь только что, два часа назад... Пойдемте!.. В соседней комнате... семинар я вел со старшекурсниками...

Стояли черные лабораторные столы, снежный, голубоватый свет бил в окно, высинивал на карте — в полстены — глубь океанических впадин, а рядом слоились — всеми оттенками коричневого — очертания незнакомых подводных

гор: это была удинцевская рельефная карта дна Тихого океана. А Богдевич толковал нам известное:

— Удивителен сам метод ее построения: графически выявлена генетика связей между морфологией дна океана, его геологическими строением, историей... Больше миллиона сведений, добытых геологами, геофизиками всего мира, легло в основу и результаты советских экспедиций. Тут ведь не только дно океана: характер строения земной коры, глубь шарика нашего...

Он прерывисто, словно б ощущая ладонью все впадины и горы далекого океана, водил по карте рукой. Но мы уже не на него смотрели: на грифельную доску на противоположной стенке, там летящим почерком были написаны мелом имена — в польской, английской и русской транскрипциях: «Удинцев», «Менард», «Хейзен»...

— В шестьдесят втором, в Московском университете я факультативно прослушал лекции Удинцева, тридцать часов. На них, в частности, и на последних его работах, исследованиях других советских коллег я и строю сейчас свой курс,— объяснил Богдевич и улыбнулся, снял очки, лицо его стало удивленным.— А ведь... я же не его студент был, он меня вообще не знал, а я однажды подхожу к нему в перерыве, жалуюсь: не могу найти книгу профессора Зенковича. Не удинцевскую — другого!.. Но эту книгу вообще невозможно было тогда достать. И что вы думаете? На следующий день он мне принес ее и подарил, хотя человек он вовсе не заигрывающий со студентами,— столько и я тогда понимал. Принес!.. Это ж характер, а? Говорит: «Вам она нужнее».

И мы будто б услышали — здесь, сейчас! — негромкий голос Удинцева, не о себе думающего; кажется, и всегда для него главное было — не ставя в неловкое положение собеседника, помочь ему. Удинцев в эту минуту был не в своей очередной экспедиции, в далекой Антлантике, а в этой вот светлой комнатке для семинарских занятий.

— Но если б я знал тогда, что он над Гданьском пережил этакое, не подошел бы, наверное, постеснялся,— вдруг заключил Богдевич.— Повезло, между прочим, нашему Казимиру Пенхежевскому: ходил с Удинцевым в экспедицию, многому у него научился. Физики моря — у нас пока дефицитная специальность...

Мы расспрашиваем. Увы, сам Пенхежевский как раз вчера уехал в отпуск. Но и рассказ коллег его опять стал каким-то проявлением дружеского всесилия: Пенхежевский тоже пришел к нам в тесную комнатенку, резким движе-

нием убрал с дороги стул, встал за кафедру; зачинатель физической океанографии в Гданьском университете, он создал здесь свою лабораторию, тут же ведет и занятия со студентами, тридцатишестилетний, коренастый, светлоглазый крепыш, с окладистой каштановой бородой, несколько месяцев каждый год — в экспедициях, на арктической станции на островах Кинг-Джордж или на Балтике — ведет здесь разведку железо-марганцевых конкреций... Мусиляк уже принес образцы конкреций. Тут они темно-лиловые, лунообразные, шаровидные — самых разных форм. Ядро, вокруг которого возникают эти рудные образования, обычно — галька. В океане же бывает и более причудливым — и акулий зуб, и обломок китовой кости... Хотя поля железо-марганцевых конкреций чаще встречаются в океане, но все же Пенхежевский доказал — помогла школа, пройденная у советских коллег: промышленное освоение их у берегов Польши возможно, руду можно будет добывать драгами, не нужны никакие вскрышные работы...

Но Мусиляку все мало: он уже притащил в аудиторию проекционный аппарат, примостил экран на шкаф с образцами минералов, и вот уже смотрим мы шутливый любительский фильм — всего-то минуты на полторы: Мусиляка, защитившего диссертацию, поздравляют друзья, среди них — Пенхежевский, он на голову ниже именинника, крепко жмет ему руку, вкладывает в нее букет цветов, а потом целует Станислава, по-мужски неловко обняв его. Само мгновение поцелуя Выпых заставляет прокрутить второй, третий и пятый раз, объяснив:

— Конечно, обаяние — заслуга, так сказать, генетическая. Но глядеть приятно.

Все мы неудержимо смеемся, а Станислав краснеет, один лишь Пенхежевский повторяет процедуру с невозмутимой серьезностью, но и явно не без удовольствия — эффект присутствия полный.

Бетонка неширокая. От грузовиков, бегущих навстречу, жмемся к самому краю. Строили ее немцы перед самой войной и в войну. С помпой писали газеты: лучшая в мире автострада — две полосы, четыре ряда движения — соединит Берлин, столицу рейха, с Кенигсбергом, столицей немецкого духа. Автострада — символ. Но даже и одну полоску не протянули по всей длине: местами бетон сменяет недавний асфальт.

Мы едем в Эльблонг, Эльбинг — по-немецки. Земли эти,

издревле польские, лишь после войны вернулись к своим истинным хозяевам. Во времена рейха в Эльблонге был филиал знаменитых верфей Шихау, выпускавший малые суденышки и подводные лодки-малютки с торпедными аппаратами, рассчитанные на экипаж в два человека, два «смертника», как называли их. Теперь на месте верфей вырос громадный комбинат имени Сверчевского, его продукция — паровые турбины электростанций, всяческое судовое оборудование... Лет десять назад мы уже были на нем. И вот едем опять.

На расстоянии многих лет особое значение обретают приметы того времени, которое положило начало процессу экономической интеграции. Так что, пожалуй, и в этой главе, посвященной океанологам, стоит хотя бы в коротеньком отступлении рассказать и о давней поездке на комбинат имени Сверчевского: пути интеграции часто совпадали и в разных сферах науки, хозяйства...

Тогда знакомил нас с комбинатом его технический директор — по-нашему: главный инженер — Адам Видлак. Он учился в Ленинградском кораблестроительном институте. В студенческие каникулы каждое лето нанимался — и для заработка, и для того, чтобы лучше узнать суда, которые ему предстояло строить в будущем,— в плаванья то механиком, то матросом, а то кочегаром, как удавалось. Кстати, благодаря этому ему удалось побывать в Алжире, Египте, Судане, Вьетнаме, в портах Швеции, Дании, Англии... В 1957 году по окончании института его направили в Эльблонг. Тут долго еще после войны на месте бывших верфей Шихау стояли полуразрушенные стены цехов, высились груды искореженного металла. Каким-то чудом уцелел лишь один портальный кран, который высился как цапля на длинных желтых ногах над бассейном: кран этот когда-то опускал в воду готовые «мини-лодки».

Но в пятьдесят седьмом было налажено и кое-какое производство: ковали морские якоря и обжигали строительный кирпич, позарез нужный городу, выпускали крыши для судовых люков и металлические кровати... Во главе цехов стояли рабочие без какого-либо образования или бывшие ремесленники, весь и завод-то был, по существу, объединением полуремесленных мастерских.

Так случилось, что годом раньше и позже Видлака в Эльблонг приехали еще двадцать молодых инженеров, окончивших разные вузы в Советском Союзе: в Свердловске, Харькове, Ленинграде, Москве... За ними потянулись специалисты и из польских университетских центров. Этим людям и

предстояло решить судьбу завода. Как раз в те годы Польша выходила на новые рубежи своего промышленного развития. Строились не просто фабрики, заводы, в том числе такие крупнейшие, как металлургический в новой Гуте, химический в Освенциме,— создавались заново целые отрасли промышленности: судостроительная, химическая...

В Эльблонге решено было освоить впервые в стране производство крупных турбин. Первую — в 25 тысяч киловатт — делали и по советской лицензии, и даже по нашим чертежам. А перед тем почти все ведущие инженеры завода прошли стажировку на заводе имени Кирова в Ленинграде.

Использовался опыт нашей страны не только производственный. В Эльблонге была начата, а потом прокатилась по всей Польше такая, например, дискуссия: на десятках предприятий нужны стали новые квалифицированные кадры — что выгоднее, централизовать профессиональное обучение рабочих или создать школы на самих предприятиях?.. Между прочим, дело решило то, что кто-то из эльблонгцев как раз тогда побывал в Братске, познакомился там со структурой, работой учебного комбината, который ежегодно выпускал квалифицированных механизаторов, шоферов, бетонщиков, вчерашних школьников, приехавших в Сибирь по путевкам комсомола. По типу этого комбината и была открыта в Эльблонге первая в Польше заводская промышленная школа, а потом — техникум, а еще через три года — филиал института. И хотя около ста преподавателей школы, техникумов приходится содержать за счет заводского бюджета, целесообразность этого вскоре же подтвердилась: получили специальность не только тысячи вчерашних крестьян, но и повысили квалификацию кадровые рабочие, а иные из них стали дипломированными инженерами.

Постепенно росла мощность турбин, которые выпускал комбинат имени Сверчевского: 50, 125, 200 тысяч киловатт, наконец — «полумиллионник»... И каждый раз шли споры: осилим, нет? Каждый раз были подробные консультации все на том же Кировском заводе. И все же иногда новое производство приходилось начинать даже вопреки мнению и всяческим решениям вышестоящих организаций.

Любовь к риску — вообще в характере Адама Видлака, который уже вскоре встал во главе комбината. Нам еще в Варшаве, до приезда в Эльблонг рассказали о нем такой эпизод. На одной из турбин теплоэлектростанции в Варшаве случилась авария: оборвалась какая-то термопара, провалилась внутрь турбины. Если попадет она на лопатки турбины,

пересчитает их — списывай сложнейшую машину, стоимостью в восемь миллионов злотых, в металлолом. Остановить? Отремонтировать? Но дело было зимой, и это значило — оставить на какое-то время часть варшавских заводов, жилых районов без тепла. Подсчитали: общие потери составят тогда сотни миллионов злотых. И все же Видлак — он был назначен председателем специальной комиссии: турбина из Эльблонга, и она не отработала еще гарантийный срок — и директор варшавской электростанции формально обязаны были остановить агрегат. И имели все права на это. Больше того: если б «полетела» турбина, им грозил бы суд.

Они не стали ее останавливать. Были заготовлены впрок детали, которые могли понадобиться для капитального ремонта. А турбина продолжала крутиться. И так — несколько месяцев, до весны. А когда в марте разобрали турбину, выяснилось: предательская термопара лежала в одном сантиметре от ее лопаток. Когда мы напомнили Адаму этот эпизод, он рассмеялся. Он вообще смеется охотно и весело. Открытое, широкоскулое лицо подвижно, и потому не сразу замечаешь, каким ироничным и даже жестким может стать взгляд серых глаз.

— Это разве риск? — спрашивает он.— Дело прошлое, теперь я могу сказать: чаще и серьезней я рисковал в ином. Ведь что значит пустить в цех новую турбину? По сути — опытное производство. А нормы работ — стандартные. Но рабочему-то, чтобы выточить впервые какую-то деталь, нужно двадцать раз в чертеж заглянуть. Я должен это учитывать? Должен. Так вот, я этому рабочему давал заведомо заниженные против тарифа нормы, чтобы он не только не потерял в заработке, а был материально заинтересован в освоении новой продукции. Это уж позже — причем опять-таки по опыту Советского Союза — на разных предприятиях Польши в разное время стали дифференцировать нормы на обычную и новую продукцию. А тогда я каждый день ждал: нагрянет очередная ревизия — и все, головы не поднять!..

Видлак опять посмеялся и пояснил:

— Тут важно было найти пропорции между личным и общим и все рассматривать в динамике. К примеру, на турбину в 125 тысяч киловатт мы тратили сперва 290 тысяч нормо-часов, а лет через семь — всего 160 тысяч. И нужно было вновь и вновь объяснять рабочему, да так, чтоб он понял: почему — постепенно — нормы его повышались. А результат такой: теперь себестоимость этой турбины вдвое

меньше первоначальной, и по всем показателям она, как и другие, давно на уровне мировых стандартов — крутится сейчас в десятках стран... Кстати, вот эту динамику норм рассчитывал мой ассистент Януш Велизарович. Советую познакомиться.

Мы заинтересовались: что значит — ассистент? И выяснилось: в Эльблонге опять-таки впервые в Польше был проделан любопытный эксперимент. Завод рос, строились новые, мощные цеха. Некоторые из них стали — по масштабам своим — самостоятельными заводами. Но не хватало опытных руководителей. И тогда из способных, молодых инженеров был создан штат ассистентов при директорах комбината — генеральном, техническом, экономическом, коммерческом — и при начальниках ведущих цехов.

Ассистенты эти, пользуясь подчас правами своих начальников, проводили в жизнь их идеи или разрабатывали, осуществляли свои, а главное — они все время были в токе жизни всего комбината, учились мыслить в иных масштабах. Были, конечно, и неудачи: то ли ассистент — лентяй, то ли директор подавлял его, делая из него вольно или невольно второго технического секретаря, делопроизводителя. В таких случаях бессмысленный для обеих сторон альянс распадался сам собою. Но чаще опыт оправдывался. Януш Велизарович, например, вырос из рядового конструктора до начальника турбинного цеха. Он нас водил потом по нему.

Кажущиеся бесконечными ряды станков, но и последовательные: от больших к меньшим, от менее точных к ювелирным. И повсюду — множество лопаток турбин, аккуратно сложенных в стопки или, напротив, будто б небрежно рассыпанных веером. Поблескивающие, плавно изогнутые линии, полосы металла напоминают перья причудливых птиц.

— Януш, много ли вам дала работа ассистентом?

— Очень! Главное — я теперь отчетливо представляю путь турбины: от металлической болванки до отдела технического контроля, и поэтому в поисках новой технологии считаешься не только с нуждами своего цеха, но и с бедами соседей... Да и на людей — коллег — теперь смотришь иначе...

Тогда тоже была зима, только-только минуло рождество. У громадного строгального станка Велизарович, улыбнувшись, остановился и показал нам стоявшую на станине елочку, сделанную из металлических стружек. А потом чуть подвинул ее в сторону, и вдруг послышался тоненький прозрачный звон — так звенит льдинка весной, разбиваясь о тротуар.

Велизарович опять переставил кудрявую елочку, и опять, но звенела она лишь в одном, точно обозначенном месте. Какой-то акустический фокус.

И тут мы вспомнили: однажды на Братской ГЭС — прямо на плотине — выступал ансамбль заезжих артистов, и как только взяли они в руки электрогитары, вместо знакомой всем мелодии раздался сплошной, ровный гул, будто реактивный самолет летел поблизости. Выяснилось: инструменты потому звучат странно, что направления силовых линий в электромагнитных полях плотины и гитар совпали. Это не гитары звучали: мы услышали голос одного из генераторов гидростанции... Музыкантов расставили иначе, и акустический эффект пропал, концерт продолжался.

А после него артисты задавали обычные в таких случаях вопросы начальнику строительства Наймушину, присутствовавшему на концерте: как, мол, смогли такую махину ГЭС на пустом месте, в такие сроки?.. Усмехнувшись, Наймушин ответил:

— Музыкантов правильно расставили, вот и смогли...

Братск и Эльблонг, электрогитары и елочка из металлических стружек — все это, казалось, вовсе несопоставимое, вдруг сомкнулось для нас в тот миг.

Мы потом сдружились с Велизаровичем. Побывали у него и дома, в гостях, и однажды бродили целый день по старому Гданьску, были вместе на органном концерте в Оливе...

Но сейчас хочется вспомнить еще об одном бывшем ассистенте Видлака — Мирославе Дымчаке. В прошлом он — инженер, производственник, но Видлак чуть не насильно заставил его возглавить информационно-рекламное бюро, которое чем только не занимается на комбинате: и связями с иностранными фирмами (более пятидесяти процентов продукции комбината идет на экспорт), в его ведении и местная газета, радио, и весь поток технической информации из-за рубежа (на комбинате широко используют опыт не только советских, но и швейцарских, западнонемецких, австрийских, французских фирм)... И еще одно дело взял в свои руки Мирослав Дымчак: культурные связи комбината.

Началось все с лекции варшавского музыковеда Ежи Вальдорфа. Через него удалось связаться со столичной филармонией. И теперь концерты ее оркестра в Эльблонге — обычное дело. Выступали здесь и наши дирижеры — Всеволод Рождественский, Максим Шостакович. И всегда концертный зал набит битком, а большая часть слушателей — рабочие.

Дальше — больше. На заводе много промышленных, бросовых отходов, металлические обрезки, иногда самых причудливых форм. Дымчак с благословения парткома и за счет комбинатовского бюджета пригласил из разных городов Польши и из-за рубежа — из Италии и других стран — сорок скульпторов, которые уже были известны своими экспериментально-декоративными композициями. Месяц скульпторы жили в Эльблонге, бродили по городу, облазили все цеха в поисках интересных материалов, площадок для своих будущих скульптур. Некоторые, правда, даже выпрашивали для себя готовые роторы турбин или коленчатые валы: «Красиво!» — пришлось отказать.

Надо сказать, поначалу рабочие относились к ним с юмором, а потом настолько увлеклись этой затеей, что многие из них стали верными помощниками художников. И когда однажды на завод приехал некий ретивый администратор — проверить, «не навязывают ли чужие вкусы рабочим насильно», рабочие попросту высмеяли его. И с тех пор на многих площадях, в скверах города или просто в прогалах между самыми обычными домами стоят эти несколько причудливые композиции, сделанные, кстати, безвозмездно. И без них уже совершенно невозможно представить себе облик современного Эльблонга.

И экспериментальные постановки в местном драматическом театре, и постоянная выставка современной живописи в полуразрушенном костеле XIII века, и там же молодежный джазовый клуб — ко многому еще оказались причастны Мирослав Дымчак и его бюро.

И вот мы опять едем в Эльблонг. Мы уже звонили туда из Варшавы. Выяснилось: вскоре после той, первой нашей поездки Адама Видлака назначили начальником одного из отделов объединения тяжелой промышленности в Варшаве, а еще через несколько лет — представителем Польши в «Интератомэнерго». А его должность технического директора комбината имени Сверчевского занимает теперь Януш Велизарович.

Мы рассказали ему эту историю с бомбардировщиком Глеба Удинцева, и, когда позвонили второй раз, из Гданьска, он сказал:

— Приготовил для вас неожиданное.

На рассвете падал реденькими хлопьями снег, но не застил небо, оно почти тут же прояснело, раздвинулось. На

вспаханной зяби — коричнева ее выбивается сквозь порошу — разгуливают стаи чаек, ищут добычу, взлетают, и тогда крылья их — в розово-солнечных бликах.

Море где-то совсем рядом с автострадой. Это оно отраженным светом баламутит пейзаж. Линии то по-северному четки, строги, лишь даль горизонта зыбится в дымке, а то вдруг набежит неуютная хмарь, и сразу все вокруг становится сыро-промозглым, жухнет мерзлая зелень озимых, едва выбиваясь из-под снежка, и упрямей щетинится мертвая коричнево-черная стерня; мертвое всегда упрямо. И печалятся вересковые, черемуховые кусты в овражках, голые, сирые. Но еще миг — опять прояснело, мощные стволы придорожных буков обретают округлость, а чуть дальше, на песчаном холме звонко вспыхивают сосны, остойчивые, как корабельные мачты.

Все время хочется свернуть налево, увидеть море. Но уже открылись впереди дома Эльблонга, а вот уже на окраине, у бензоколонки — первая из тех самых давних скульптур таращится на дорогу ребристым колесом-оком, и еще одна,— стоят!..

Получасом позже Януш Велизарович везет нас на другую окраину города. Януш, кажется, совсем не изменился за эти годы: такой же изящно-худенький, с тонким, удлиненным, пожалуй, даже хрупким лицом; разве что белокурые вьющиеся волосы поредели, но по-прежнему сохранилось во всем его облике мягкое и, может быть, несколько старомодное благородство.

Там, где был когда-то немецкий аэродром, теперь летное поле, учебно-спортивное. Машину мы оставили на самом его краю, а сами пошли дальше, по мерзлой хрусткой траве, едва прикрытой снежком. Позади всех — Велизарович. Шагает легко, серые глаза встревожены. Чуть впереди — мы. А ведет нас Лешек Журавский, нынешний ассистент генерального директора комбината — «ассистентская» эта практика сохранилась тут и посейчас. Он-то и есть та «неожиданность», которую обещал Януш по телефону.

— Сюда. Отсюда лучше видно,— говорит он.— Вон — смотрите! — старые ангары еще стоят. Тут базировался полк немецких штурмовиков, а чуть ближе, левее — караульное помещение. В войну все это оцеплено было проволокой...

Лешек выглядит лет на тридцать, не больше. Он без шапки, черные упрямые волосы ходят волнами на холод-

ном ветру. Говорит волнуясь, но волнение — только в размашистых жестах, интонациях, а фразы — короткие, точные. Так мог бы говорить только свидетель случившегося.

— Нет,— объясняет он.— Я лишь разыскал двух действительно очевидцев. В тот самый момент они были на аэродроме. Мастер на нашем комбинате Тадеуш Вечерковский, он был узником концлагеря Штутгоф и в специальной команде чернорабочих расчищал аэродром от снега. Тут и остался после освобождения. И Януш Хановский. Работает в милиции, теперь ему сорок семь, а тогда — сколько? — считайте.... мальчишка. Он тоже тут был. И оба они видели: двое летчиков вышли из пламени... Видите красные флажки в центре поля? Это парашютный круг, здесь теперь спортивный аэродром, чуть дальше флажков и упал самолет. Штурман вывел его точно — по единственно возможному курсу: на самую длинную диагональ поля, с юго-запада на северо-восток. Длина ее больше двух тысяч метров. Любой другой курс был бы для них смертелен.— И, чуть заметно улыбнувшись, пояснил: — Я тут все своими боками выверил: трижды падал со спортивными самолетами, и точно на этом месте, за парашютным кругом...

Глаза у него черные, внимательные.

Они везут нас на виадук над автострадой — та самая: на Берлин,— отсюда поле видно как на ладони, и Лешек еще раз все уточняет.

Слева пристроились к аэродрому садовые участки, обычные сейчас близ каждого города: штакетник, крохотные дома на курьих ножках, коричнева вишенных голых ветвей... Их раньше не было, а вот эти две яблони, вышагнувшие на самое поле, раскидистые, были. Под одной из них и похоронили Ивана Воробьева, стрелка-радиста с удинцевского бомбардировщика. Годом или двумя позже его могилу перенесли на общее военное кладбище. Там лежит более двадцати трех тысяч советских солдат и офицеров, павших в боях за Эльблонг. А в двух десятках километров отсюда — в Бронево — еще кладбище: шестьдесят тысяч наших воинов. Шестьдесят!.. Бои здесь были жесточайшие. Эльблонг несколько раз переходил из рук в руки, и камня на камне не осталось во всем городе.

— Вон оттуда они летели — видите? Ольховник и камыши над снегом, там озеро, заповедник, дикие утки, лебеди, камыши...

Опять сизая хмарь упала с неба, и кажется, что дальние эти камыши движутся, они битком набиты вольными птицами,— такие озера видели мы как раз под Цингстом. Но сейчас издали ничего не разглядеть — так, черные какие-то штрихи в снежной сырой мороси. Эти интонации Лешека... Не знаем почему, не можем объяснить, но мы ясно почувствовали: и он — очевидец тех дней, так может говорить только человек, что-то видевший сам, переживший. Но немыслимо, невозможно — сколько же лет ему на самом деле?!.

Глаза его строжают. Многое видел. Но было ему тогда пять лет, и теперь уж не может он отделить воспоминания собственные от рассказов других людей. И потому не имеет права ссылаться на память собственную. А расспрашивал сотни людей. Не мог не расспрашивать. Двух лет его отобрали от родителей — польских крестьян и увезли сюда, под Эльбинг-Эльблонг, в детский дом, где выкармливали, воспитывали таких же польских мальчишек в истинно арийском духе, чтоб отдать потом в бездетные немецкие семьи. Воспитателями были эсэсовцы. Что точно помнит — побои. И до сих пор маячат перед глазами лица старших детдомовцев, судьба их была страшна.

Родители разыскали его по картотеке какого-то центрального бюро, случайно уцелевшей в Лодзи,— не всю картотеку успели сжечь. Когда они приехали в Эльблонг, он не вспомнил их и не мог говорить с ними: ни словечка не знал по-польски. Но они-то его опознали сразу. Сирота при живых-то родителях, чуть не потерявший еще и родину, самую память о ней!..

— Они и сейчас со мной, дорогие мои старики,— говорит он так, будто уже нас успокаивает. Сам-то он, дескать, крепкий, он — спортсмен, все выдержать может...

Ветер нес над виадуком липкий снег. Лица наши стали мокрыми. Сиротская эта зима... Мы поехали на кладбище советских воинов. Бесконечные ряды бетонных, чуть наискось поставленных надгробий: имя, фамилия, даты рождения и смерти. Ребята девятнадцати, двадцати трех, двадцати лет... А на иных камнях — еще горестней: «неизвестный солдат». Высоченные тополя вдоль дорожек перекликаются в сумерках серебристыми отсветами гладких стволов, белей белого высвечивает нетронутый снег под ногами. Далеко не пройдешь по такому снегу. Тут где-то и лежит Воробьев. Но искать его могилу надо летом.

Уходим отсюда, уже понимая — эльблонгский детдомовец Лешек Журавский нас убедил в этом бесповоротно: не

дружеской услуги ради и не для себя только разматывали мы удинцевскую историю; вот и ему, Лешеку Журавскому, каждая ее деталь — как хлеб насущный, и потому не писать о ней нам уже невозможно.

Получасом позже, в каком-то придорожном ресторанчике, ужиная перед обратной дорогой, мы еще расспросили немного Януша Велизаровича о нынешних делах комбината имени Сверчевского.

Комбинат давно стал одним из крупнейших промышленных предприятий Польши. За последние годы удалось еще более специализировать производство, по-прежнему главное для комбината — турбины, они пользуются на международном рынке громадным спросом. Сейчас тут примериваются — опять-таки после консультаций советских специалистов — запустить в цех первый «миллионник» — турбину мощностью в миллион киловатт. Ее создание, пуск — серьезный экзамен для всех польских энергетиков и машиностроителей.

Неделей позже, уже в ГДР, мы ехали по точно такой же бетонке — в Цингст. И погода была такая же ломкая: то сиротская зима, то весенняя синь. Льдистый отвивок — мимо дачек с садами, мимо заводей, заросших камышом, набитых дикими утками, как ульи пчелами,— привел нас к Морской обсерватории, к берегу, где проходил тот самый, первый совместный эксперимент океанологов наших стран. Обсерватория — почти на самой оконечности песчаной косы, двухэтажный старый особняк, крашеная витая лестничка, деревянная обшивка стен, как на корабле, и в одной из комнат — койки друг над другом, матросский кубрик. Сейчас особняк пуст и тих. Только в аппаратной пощелкивают самописцы приборов, отстукивают перфораторную ленту. А сами-то приборы-автоматы вынесены метров за двести отсюда, в домишко на берегу.

Так оно было и во время совместного эксперимента океанологов стран — членов СЭВ. Далеко в море несколькими параллельными рядами были расставлены зонды — штанги, внутри которых вмонтированы электронные датчики. Наружу высовывались только их контакты, замыкающиеся при малейшем ударе волн, и такие щупы, «клювы»-контакты через каждые два сантиметра по вертикали, всего 60 на каждом зонде. Сигналы от каждого не просто регистрировались: передавались по кабелю в обсерваторию, записывались на перфоленту, которая тут же расшифровывалась электронно-вы-

числительной машиной. Конструировал зонды специально для этого эксперимента профессор Штриггоф, директор института «Меерескунде» (изучения моря) в Варнемюнде.

Эксперимент длился несколько недель. В результате удалось, в частности, установить: прежние расчеты прибрежных волновых ударов вовсе неверны. Их строили, исходя из параметров чистой воды, но оказалось, в море, близ берега, даже на относительной глубине, нет чистой воды: работает, по бытующему теперь определению, некий «суп» из всяческих взвесей. И стало, в частности, ясно: принятые раньше способы, системы защиты береговой полосы, гидродинамические расчеты портовых сооружений надо пересматривать.

Кстати сказать, и поляки, и особенно немцы создали немало новых приборов. Об этом нам подробно рассказывали и Друет, и Штриггоф, и Аксенов. Но ведь всякий новый прибор, удачный,— это почти что возможность серьезно обосновать и новую гипотезу. И не только приборы важны для содружества ученых: в Камчии, например, в Болгарии, где проводился один из последних пока совместных экспериментов, построили уникальную эстакаду, уходящую в море на сто пятьдесят метров. Она дает единственную возможность круглый год на малых и больших глубинах стационарно изучать волновые явления и динамику наносов в прибрежных условиях.

Мы были в Цингсте в воскресенье. Нам показывал хозяйство обсерватории Хеннинг Баудлер, худой, бледный юноша с негромкой неторопливой речью. Один из двух постоянно работающих здесь ученых, он был явно рад приезду гостей, хотя мы и вытащили его из дома в выходной день.

— Хеннинг, не тоскливо вам здесь зимой?

— Напротив, я ищу одиночества — единственная возможность сосредоточиться на своем,— как бы оправдываясь, объяснил он.— И со страхом жду летнего нашествия туристов...

Кричали чайки. Дамба, а перед нею реденькая, голая лесная полоса опоясывали песчаную косу вдоль всего берега. В пенистую полосу прибоя, навстречу ему уходили ряды бон из черного мореного дерева, глубоко вбитых в песок. Песок у кромки прибоя утрамбован волнами так, что почти не оставалось на нем наших следов. Легко было представить себе, какой он взбученный летом, когда здесь собирается пляжный люд... Дул ветер. Отогревались мы в обсерватории, в аппаратной. Уютно, как сверчки, вели свою песню самописцы приборов: эксперимент, начатый давным-давно, продолжался.

6 Заказ 109к

...Росток, университет, секция биологии. Один из ее руководителей профессор Эрнст Арндт. Кудрявый, улыбчивый, азартный, он и разговор начинает, будто продолжая с кем-то прежний спор.

— Не совсем понимаю я нынешнего повального увлечения детективами. Для меня с малых лет куда увлекательнее жизнь и приключения живых существ в воде, микроскопически малых или — в сравнении с ними — громадных: растений, рачков, рыб. Таких разных, но обитающих в одном водоеме. Я наблюдал столько невероятий! А теперь меня интересуют взаимоотношения *внутри больших биологических* структур...

Арндт — эколог. Поведение живых существ, регуляция их жизни на всех уровнях, продуцирование, вся цепь взаимоотношений и превращений в море требуют исследований и умения прогнозировать. И вот работы профессоров Шнейзе, Арндта, их коллег — немецких, советских, польских — их стыковка имеют большое теоретическое значение и практические выходы.

На побережье Балтики множество промышленных предприятий, строятся и новые, и от того меняются условия жизни в реках, прибрежных озерах, в море. Как оберечь жизнь малых существ, сохранить окружающую среду в чистоте? Как ослабить факторы, угрожающие естественному циклу взаимоотношений внутри экосистем? Как не просто оберечь, но умножить рыбные популяции? И ученые открывают возможности самоочищения в закрытых водоемах с помощью бактерий, водорослей. Идет сражение с промышленными, сточными водами, используется естественная саморегуляция экосистем ..

Проблемы острые, их надо решать. Тут на помощь приходит и моделирование: чтобы находить точные ответы, нужно вникнуть во все тонкости биохимии, физиологии, превращений энергии, сперва, может быть, в искусственно созданных условиях.

— Вот смотрите.— Арндт рисует в блокноте схемы турбостатов разных поколений. Пунктир — жизнь за прозрачными стенками аппарата. Штриховка — электронное устройство, автоматически регулирующее все изменения в условиях обитания живых структур. Тут прослеживается влияние света, температуры, давления, количества кислорода, состава солей, растворенных в воде. Электронно-вычислительное устройство точно фиксирует трансформацию энергии веществ в живых организмах.

— Опыты трудны,— поясняет Арндт.— Тут соседствуют такие существа, которые могут обходиться и вовсе без кислорода по нескольку месяцев, и иные, с повышенной активностью потребления. Но мы учимся таким образом управлять условиями их обитания. У нас есть успехи — турбостат может работать без подзарядки на одном режиме две-три недели. Проектировал его доктор Йорг Оерцен, в совершенствовании, расчетах участвовали математики и другие наши сотрудники. От таких моделей, отчетливо поняв, что угрожает, а что способствует развитию организмов, их продуцированию, легче идти в замкнутое прибрежное озеро. В Балтику. Из моря — в Атлантику. И ходим уже. В совместных экспериментах с учеными социалистических стран выверяем узнанное. Расширяем программу действий. И ученые института «Мееерескунде», профессор Фохт в частности, помогли своими открытиями действий глубинных течений в океане нашим экспериментам — мы узнаем, как поступают из глубин в поверхностные слои необходимые рачкам, рыбам азот, фосфор и прочее. Мы помогаем развитию рыболовства, а это сейчас — острейшая проблема во всем мире и для наших стран! Так теоретические исследования дают практические результаты ближнего и дальнего действия. К примеру: мы занимаемся и вопросом увеличения зоопланктона, питательнейшего криля. Заметили, кстати: уменьшилось стадо китов — и произошел резкий скачок в росте зоопланктона! В океане все взаимообусловлено. Во взаимодействии с учеными братских стран мы изучаем целостные структуры, системы в море и океане. А наши приборы используются и в рейсах советских исследовательских судов, на нашем «Александре Гумбольдте». Для этого мы тут моделируем, выверяем в таком вот термостате. Десять лет назад с этой целью мы объединили лаборатории профессора Шнейзе из Грейфсвальдского университета и нашу — ростокскую. Результаты общих работ помогают, в частности, в освоении новых районов рыболовства, разведывании их. Все практические преломления наших научных изысканий сейчас трудно обозначить. Но решаем мы их успешнее, кооперируя работы с учеными всех социалистических стран.

Арндт, наклонив кудрявую голову, смотрит пристально из-за очков.

— Я думаю, что вам понятна польза обмена опытом, дискуссий, совместных программ действий — научных, экспериментальных?.. Ну а разработка моделей дает возможность многое открыть, а потом и предусмотреть, хотя, конечно,

нельзя абсолютизировать модель! Не зря говорят: моделирование — болезнь века. Мы не устаем накапливать наблюдения, беря пробы и регистрируя процессы в море, океане, в малых водоемах, выверяя всеми возможными способами наши гипотезы, контактируя с учеными самых разных профилей. Так, в рамках СЭВа многое проделано, чтобы понять биопродуктивность Атлантики. Но большие теоретические вопросы требуют пристального внимания к жизни и малых водоемов. Да и нужды сегодняшнего дня — тоже...

Потому-то — мы уже знаем из рассказов других — Эрнст Арндт пользуется любой возможностью взять пробы и на самой природе, вышагивая километры по мелководью в резиновых сапогах, прослеживая на веслах в лодке запутанные речные протоки, ведущие к морю... Уже сейчас ни одно действующее или строящееся предприятие на всем побережье не может обойтись без рекомендаций ростокских биологов, и предписания ученых — закон для промышленников.

И вот, наконец,— доктор Отто Мильке, о котором нам рассказывали еще на строительстве атомной электростанции «Норд», в Грейфсвальде. Он возглавляет в Варнемюнде отделение охраны прибрежной зоны севера ГДР. Тут сходятся в своем практическом преломлении все океанологические науки. Мильке — рыжеволосый, с пронзительно умным взглядом из-под густых, нависших бровей, речью напористой, как штормовая волна,— он и говорит о штормах:

— Вы представляете, что такое морской вал — зееганг? Самые страшные штормы идут к нам от Скандинавии. Но беда, когда к ним присоединяются волны еще и из Северного моря. Зееганг — смесь таких волн, разных периодов и частот, и ветер множит их энергетический заряд. С бомбовой силой таранит зееганг берега, дамбы, боновые заграждения, сметая все на пути. Часто за ним и идут наводнения. Их было сорок только за последние пятьдесят лет — представляете? Нешутейное это дело... У нас есть службы прогнозов и штормового предупреждения, службы тревог, льда. И мы всегда должны быть начеку. Верфи Ростока, Варнемюнде, Висмара, Штральзунда, комбинаты, заводы, фабрики, атомная станция под Грейфсвальдом... А население? А сельское хозяйство? Эти районы, земли которых считались непригодными для земледелия, теперь экспортируют хлеб, овощи, мясо, даже яблоки! А курортная индустрия? Три миллиона отдыхающих в сезон! Как защитить все это?.. Верный прогноз — уже

половина победы. Но чтоб предсказать высокую воду — этим вопросом я особенно много занимаюсь! — надо изучить все «тайные» ходы течений, ветров. И не только близ нашего, но и польского, и советского, и иных побережий: море ведь не знает границ, оно одно у нас всех — и как же тут не объединить усилия?..

Он подробно говорит об укреплении, защите берегов, о «зеленой жизни», которую тут насаждают среди песков, чтобы оберечь их. О том, как храбро противостоят наводнениям густые кустарники, а вот деревья не могут совладать с водой. Их ломает, выворачивает с корнями. Так сочетаются традиционные методы защиты и идут поиски новых.

А на столе Мильке, как в штурманской рубке, карты Балтики, Северного моря. Массивной рукой он что-то мнет и гонит над картой, лист ее перестает быть плоским, над столом прокатывают валы. Вот этот вал, который сейчас грозит перуплеснуть через стол, к нам,— пока еще загадка, точно никто не знает его составляющих... Этот смиренно утихает под рукой Мильке: течения, слагающие его, были основательно изучены в последних совместных исследованиях океанологов братских стран. Но столько еще неясного! Характеристики волн, моря, ветров, атмосферы, рельефа дна, берегов, которые дает Мильке, по-своему пристрастны, но и точны. Это не просто рассказ о совместных изысканиях, но еще и толкование, и программа будущих исследований, вехи сделанного, проблемы, до конца даже еще и не сформулированные...

В кабинете тепло. Мильке, попросив разрешения, снял пиджак, и как-то особо празднично в тон его глазам на белой рубашке выделился ярко-голубой галстук. Рука опять потянулась к карте, и секундно обнажились края глубокого, грубого шрама. Перехватив наш взгляд, он пояснил:

— Тавро войны. Фронт. Плен.— И, улыбнувшись внезапно, еще добавил: — До России не дошел. Но с меня хватило!.. Потому-то для меня слово «содружество» — насущно. Во время эксперимента в Цингсте и в Любятово мы и работали как одна семья...

И все. Больше он к этому не прикасался. Но мы-то невольно вспомнили встречи свои и разговоры с Аксеновым, Друетом, Удинцевым, Выпыхом, Богдевичем и иными, о которых, увы, просто нет места упомянуть в этом очерке. В том-то и дело — совсем не случайно во всех наших странах первыми поборниками того, чтоб Балтика, океан были ареной общих мирных исследований, стали именно они, прошедшие войну.

Но мы еще не знали, какая знаменательная встреча — и в этом смысле — нас ждет впереди.

А Мильке уже толковал свое:

— Еще проблема. Через Каттегат, под напором ветров, идут в Балтику воды, загрязненные у берегов Швеции, Дании. Там строятся и очистные сооружения. Но медленно. Да и судоходство не прибавляет морю чистоты. Потому мы пристально изучаем поведение вод в переходной зоне. Надо защитить природу, чтобы она не заболела. Мы ведь не просто аварийная служба и даже не скорая помощь: мы должны стать врачами, предупреждающими болезнь...

Разговор наш затянулся надолго: часа на четыре в первый день и продлился на второй, весь следующий вечер мы пробыли у Мильке дома.

Берлин. Последний день командировки. Тесный номер отеля, смахивающий на крохотную каюту. Но нам вдруг почудилось: мы в Ленинграде, едва на пороге выросла высокая, чуть сутуловатая фигура профессора Брунса и прозвучали произнесенные с интонацией истого петербуржца первые его слова. Вроде б и номер-каюта пораздвинулся, потеряв вылощенную свою рациональность,— уж очень уютно, по-домашнему примостился Брунс в неказистом кресле, а заговорил так, словно повстречал вновь давних, хороших знакомых, щедро распахивая многоёмные пространства своей души, одолевшей, кажется, все торные пути и околичности нашего века.

Ему действительно исполнилось в этом году восемьдесят — ровесник века. И даже не ленинградец он, а еще — петербуржец.

Уже знали мы — от Аксенова и Удинцева, Друета и Мильке, что Эрих Брунс вплоть до последних лет был главным координатором совместных работ океанологов социалистических стран, знали, что роль его в организации этого творческого содружества неоценима и до сих пор. А все же и предположить не могли, что судьба его может быть так глубоко символична... Но все по порядку.

Эрих Викторович Брунс — из третьего поколения осевших в Петербурге потомков вольнолюбивых мореходов-ганзейцев, предприимчивых и смелых жителей балтийского побережья, от них-то и унаследовал страсть к океану с мальчишеских лет. Один из его близких родичей погиб на «Грозном» в Цусимском бою, другой участвовал в походе из Кронштадта

вокруг Африки. Морские преданья были в семье обиходом.

Но море еще не скоро подпустило его к себе. В 1914 году семья его «удостоилась» ссылки по царскому повелению, и начались скитания. Отец вскоре умер. Мать воспитала Эриха и его братьев. Была она из рода гугенотов, бежавших из Франции в Германию, упрямых хранителей своей веры, и характером — в них. Потому, даже мыкаясь в нужде, приучала сыновей дома одну неделю говорить по-русски, одну — по-немецки, третью — по-французски. «Кем вы ни станете, а мореходу или ученому — все едино! — надо уметь изъясняться с людьми разных народов».

Эрих Викторович, повторяя ее слова, шутит:

— Как в воду глядела она, притом — океаническую...

«Эрих Викторович» — так мы и обращаемся к нему, по-русски, с отчеством, и это ему явно по душе.

И была еще гимназия, а для заработка — уроки балбесам-недорослям из богатых семей; в пору революции — три года работы крючником, грузчиком в Петроградском порту. Только в двадцать четвертом он близко соприкоснулся с будущей своей профессией: во время грандиозного наводнения, когда Нева затопила родной его город, Брунс в студенческой бригаде следил за уровнем воды. На опорах ленинградских мостов есть, наверно, и посейчас метки, поставленные его рукой.

И с тех пор — экспедиции: Финский залив и Каспий, Азовское море, и Белое, и Баренцево... Учителями его были истинные пионеры советской океанологии: Визе и Ляхницкий, Глушков и братья Дерюгины, Сысоев, Книпович и Кузнецов — зачинатель исследовательского морского приборостроения,— негромкими, точными словами Брунс воскрешает их одного за другим: манеру говорить, мыслить, их стиль в науке, отношения друг с другом, к старшим и младшим, их походку и говор. Все они для него — не просто память: и посейчас живые люди, каждодневные собеседники — через всю его собственную жизнь. Может, и потому так, что ни один из них на глазах Брунса не уходил из жизни...

Брунс давно уже начал публиковать свои научные исследования и иногда возглавлял экспедиции. Но в тридцать восьмом году, в силу стечения трагических обстоятельств, Эрих Викторович оказался в Германии. И сразу же очутился в застенках гестапо. Тут вот, в Берлине. Неподалеку от нашего отеля. Оказалось, там давно уже завели специальное дело на него. И только огромная воля, самообладание помогли

ему выдержать чудовищные допросы. Его обрекли на каторжную работу, осушать болота. Гестаповец напутствовал:

— Никогда, никогда ты не вернешься к своей науке! Ни-ко-гда! Будешь вкалывать чернорабочим, пока не увязнешь в трясине, пока не испустишь дух!..

Эрих Викторович спрашивает:

— Помните песню «Болотные солдаты»? У нас, в России, ее пели тоже с тридцать третьего года, как антифашистскую...

Не просто помним: музыку к ней написал наш друг Руди Гогуель. Фашисты загнали его, коммуниста, сперва в трудовой лагерь, в низовья Рейна, позже — на семь лет в тюремную одиночку и еще на пять — в концлагерь Нойенгамме. 3 мая 1945 года три морских судна «Кап-Аркону», «Тильбек» и «Атину», битком набитых заключенными этого лагеря, потопили в Любекской бухте. Погибло семь тысяч человек. Гогуель — из тех немногих, кому удалось доплыть до берега. В последние годы жизни он был одним из крупнейших историков новой Германии.

Увы, был: три года назад аукнулись фашистские застенки — он скончался.

— Но не век стоит запруда,
И не век стоит зима:
День придет, и нас отсюда
Вырвет родина сама,—

не поет, проговаривает последнюю строфу песни Эрих Викторович, выстукивая тревожный ритм костяшками пальцев о подлокотник кресла.— Вот перед вами — еще один «болотный солдат»...

Мы и сами не заметили, как это произошло: уже не мы Брунса, а он нас расспрашивает ненавязчиво, что мы успели узнать здесь, в ГДР, все ли необходимое?.. В эти недели он созванивался по телефону почти со всеми учеными, с которыми мы встречались в Ростоке и Варнемюнде,— не специально: все они — так ли, иначе — вышли из-под его руки, патриарха нынешней океанологии ГДР, и сейчас Эрих Викторович каждодневно следит за их работой, они сами ищут его советов. Он бывает в лабораториях. А в берлинском издательстве выходит трехтомная его монография об океане, в которой, в частности, обобщаются и результаты всех совместных работ ученых сэвовского содружества. Немец по происхождению, петербуржец по всем корням своим, воспитанник советских ученых, создатель собственной научной школы в ГДР — кому как не ему ближе всего это сотворчество ис-

следователей социалистических стран!.. Вот потому-то он и расспрашивает нас так подробно обо всем, что мы успели узнать не только от его немецких коллег: Арндта и Мильке, геофизика Ланге и инженера Штриггофа, но и от польских, от советских общих наших друзей. Но не только спрашивает нас — уточняет детали:

— Арндт сказал вам, что увлекается спортом?.. Как же! Отличный, знаете, баскетболист... А Мильке вспомнил, что еще в детстве и сам спасался от наводнения? Такие зарубки — на всю жизнь. Он ведь и родился на побережье, в маленьком рыбацком домушке...

Ему важно, чтоб мы запомнили и это. Наконец, перебрав чуть не всех из разросшейся семьи нынешних немецких океанологов, он удовлетворенно воскликнул:

— Что ж, сегодня у меня, да и у вас — необыкновенный рейс! И в разных временных пластах... Впрочем, в нашей профессии — это привычное дело...

Теперь он смог опять оглянуться назад — на свое прошлое. Должно быть, перемолвка наша ему нужна была, чтобы собрать силы для этого.

В те годы ему еще предстояло, несмотря на заклятье гестаповцев, самому вернуться в науку. Может, время то было самое трудное в жизни Брунса.

Но и тогда находились честные люди, отваживавшиеся помогать ему. Сперва — потому лишь, что на мелиоративных работах среди заключенных не хватало специалистов, ему дали в руки теодолит. Чуть позже забрали в вольную контору — якобы чертежником, а на самом деле проектантом — это уже был немалый риск. Но еще через год перетащили его и в Берлин, и тут он смог вернуться пусть и к примитивной, но гидрографии. А главное, сдал экстерном экзамены за политехнический институт. По иронии судьбы, занимаясь в институтской библиотеке, он нашел там прежние свои научные публикации и доклад, который произнес в Москве на немецком языке на международном симпозиуме.

Но началась война с Россией. Твердо веруя, что гитлеризм будет разгромлен, Брунс перед тем, как явиться на медкомиссию, с помощью разных снадобий сам вызвал у себя подряд несколько тяжелых сердечных приступов — лишь бы избежать отправки на фронт. И остался в Берлине. Впрочем, уже когда советские войска вели сражение за Берлин, Эриха Викторовича насильственно загнали в противопожарную охрану шлюзов на Шпрее. Сидя в бункере вместе с рабочими, он вел счет не дням — часам. Взрывы бомб и снарядов где-то

совсем рядом, за насыпной стенкой убежища, для него означали не только близкий конец войны, но еще и возможность, надежду вернуться на родину.

Ночью на 1 мая вода в верхнем шлюзе, близ которого прятался Брунс, стала стремительно убывать. Разбило шлюзовые ворота?.. Может быть. Брунс не хотел делать осмотр. И тут эсэсовец, командовавший ими, вскочил с пистолетом в руке.

— Саботаж? Предательство? Именем фюрера!..

И взвел курок, уперев дуло пистолета в грудь Брунса. Он вышел из убежища вдвоем с рабочим. Эсэсовец встал в дверях, не опуская оружие. Темень рвали всполохи взрывов. Но Брунс не боялся их, он думал о том только, чтоб уйти из-под выстрела в спину. Спрыгнул к берегу, к шлюзу, и в тот самый миг разорвался рядом снаряд. Брунс получил сразу шесть осколочных тяжелых ранений. Рабочие только после 3 мая, когда все кончилось, отвезли его к знакомым старикам. Но начался сепсис. Он бы так и погиб, если б друзья, знавшие его историю, не обратились к советским медикам.

— Они-то и подарили мне вновь жизнь, они и моя будущая жена, киевлянка,— сказал Брунс и подошел к окну нашего номера, взглянул с высоты десятого этажа на площадь, обдуваемую февральским ветром. Ему нужна была пауза. И мы молчали.

У подъезда гостиницы какой-то индус в белой накидке, свисавшей с головы на плечи, тщетно пытался засунуть в багажник автомашины разбухший дорожный чемодан. Брунс сказал, глядя на него:

— Чемоданчик-то небось с чудесами... Хорошо, что океан с младых ногтей научил меня вере в чудеса...— И снова сел в кресло, вытянув длинные ноги, чуть улыбаясь, развел руками.— Тогда мне сказали: «Вы сейчас нужнее не в России, а здесь...» Надо было, чтоб вновь ожили морские порты, реки — Шпрее и Эльба, каналы... И поверите, в первые же недели я опять — наяву! — обрел многих друзей своей юности: из Союза приезжали на помощь мои учителя и коллеги. Пересечения истории, судеб, становление науки среди руин, выжженных войной пространств, душ чревато было неимоверными трудностями. Все, что я знал и умел, все понадобилось. И какое же это счастье было — каждое утро, вновь и вновь опровергать страшную угрозу гестаповцев! Потому-то, может, все годы после войны я считал для себя самым важным не собственные научные изыскания, я должен был, выискивая людей доброй воли среди ученых, инженеров-пор-

товиков, гидрографов, возрождать к новой жизни водные и морские артерии страны... В этом и мое счастье было — в возможности вернуть науку, море людям. И так прошли годы. Опять я просился на родину. Но в конце пятидесятых мы уже могли вновь создать институт «Меерескунде», на этот раз в Варнемюнде. Ведь был когда-то такой океанологический центр в Берлине. Но большинство ученых его откочевало со всеми приборами, материалами в Гамбург. Опять забота — на много лет Вот так и стал я из петербуржца берлинцем...

Прощаясь, Эрих Викторович подарил нам типографский оттиск своей статьи об одном из рейсов в Атлантику «Михаила Ломоносова». Он наблюдал достройку этого судна на верфях Ростока и вот, оказывается, ходил одним из первых немецких ученых на советском научном судне... Еще один эпизод-символ не только в биографии Эриха Брунса, но и в самой истории содружества океанологов наших стран.

В тот вечер мы уезжали в Москву. И в поезде, когда мелькали за окнами пригороды Берлина, вспомнили: одну из ночей здесь мы провели у друга, на улице Фишеринзее. Дом — окнами на Шпрее, на тот самый верхний шлюз, где река делится на два рукава. Ночью долго смотрели в окно. Огни набережных покачивались в воде. И смутно ворочались там темные движущиеся острова громадных барж. Вдруг утка, дикая утка быстро проплыла от берега к берегу, чем-то встревоженная. И ровно, несмолкаемо шумела Шпрее на гребне шлюза.

Теперь, в поезде мы все пытались представить себе там, рядом со шлюзом Брунса в ночь на 1 мая сорок пятого года. И не могли.

Шлюз шумел чуть насмешливо. И чуть дальше, слева, освещенная прожекторами, вздымалась в небо берлинская телебашня. Мы и сейчас ее видели, из вечернего поезда: на самой ее верхушке во тьме помаргивал красный огонек, сигналил самолетам — летите спокойно...

ВОПРЕКИ ЗАКОНАМ МАТЕМАТИКИ



Как ни различны формы экономической интеграции наших стран, все-таки чуть не любое хозяйственное содружество можно, пожалуй, свести к одному принципу: какой-то избыток, пусть бы и относительный, в одной стране плюсуется с нехваткой, недостачей — в другой, плюс — на минус, получается некое равенство или хотя бы равновесие, выгоды от которого делят эти страны сообразно величине слагаемых, вложенных в дело. Обычный закон элементарной, школьной математики.

Но есть одна международная организация, деятельность которой начисто опровергает подобные законы. Она складывает почти одни только минусы, а в результате получается не только общая положительная сумма, но даже и каждое из слагаемых, по отдельности, вдруг вырастает. Это — Центральное диспетчерское управление объединен-

ных энергетических систем стран — членов СЭВ. Или как его называют сокращенно — ЦДУ.

Преимущества этого объединения очевидны до парадоксальности. Наверно, именно поэтому ЦДУ и явилось одной из первых организаций, созданных в рамках и по инициативе СЭВа. Существует оно еще с 1962 года. С тех пор его опыт работы пристально изучали, в частности, не одна и не две делегации специалистов из капиталистических стран. Не очень-то любят они отвешивать нам комплименты. Но и по их общему признанию, ЦДУ может являться образцом международного сотрудничества.

Особенно пристальный интерес вызывает работа ЦДУ у американских энергетиков. И это неслучайно: всем, наверно, памятно «великое затемнение» в Нью-Йорке, парализовавшее гигантский город летом 1977 года, а за двенадцать лет до того — кризисная ситуация, на несколько суток разладившая жизнь всего северо-восточного района США.

Но лучше излагать факты в той последовательности, в какой они и приходили к нам.

А сперва-то и был рассказ нашего польского друга Анджея Земильского о тех страшных для Америки днях.

— Именно страшных, поверьте,— говорил он нам.— Все эти фильмы-ужасы, которые и мне удалось посмотреть во время своих поездок по Америке, дракулы, акулы-гиганты, заглатывающие живьем толпы людей, и прочие чудища не идут ни в какое сравнение, по впечатлению от них, с картинками на обычном телеэкране, когда транслировали на всю страну репортажи из Нью-Йорка, оставшегося без энергии.

Анджей Земильский как раз и занимается, в частности, проблемами телевидения, его воздействия на социальную структуру общества, перспективами. Командировка его в США была связана именно с этим, и потому он по долгу, так сказать, службы должен был вечера напролет просиживать перед телеэкраном, потому-то и свершилось все на его глазах.

Но была предыстория, которую поначалу телезрители не знали. В 8.37 вечера 13 июля удары молнии вывели из строя две 345-киловольтные линии электропередачи, которые связывают Нью-Йорк с атомной электростанцией, расположенной на берегу Гудзона, и станция эта, мощностью 900 мегаватт, оказалась отрезанной от Нью-Йоркской энергосистемы, которую обслуживает компания «Консолидейтед Эдисон», самая старейшая в стране: она ведет свой род еще от фирмы, созданной Томасом Эдисоном. Спустя 19 минут,

пока дежурные операторы компании мароковали в диспетчерском зале, где найти резервные мощности, вышли из строя еще две 345-киловольтные линии, передающие электроэнергию от станций, расположенных на севере штата Нью-Йорк и в штатах Новой Англии,— тоже в результате ударов молнии. В тот душный вечер грозы бесновались по всему северовостоку страны.

Таким образом, компания «Консолидейтед Эдисон» потеряла 2 тысячи мегаватт энергии — свыше трети общей потребности в тот вечер. Чтобы компенсировать это, операторы увеличили нагрузку на электростанции самого Нью-Йорка. Но их мощности тоже не беспредельны, и ЭВМ, действуя по заложенной в ней программе, дала команду: продолжая снабжать энергией наиболее важные объекты города — метро, больницы, лифты, водокачки, необходимо последовательно снижать напряжение в сети, отключая вовсе менее населенные пригородные районы Нью-Йорка.

Одновременно — согласно существующим договорам — «Консолидейтед Эдисон» резко увеличила поставки энергии от соседней компании «Лонг-Айленд лайтнинг». Но, видимо, слишком резко: перегрелись кабельные линии, и «Лонг-Айленд лайтнинг», у которой в тот роковой вечер были свои трудности, отключилась от системы. И вот тогда-то авария, как говорят энергетики, приняла лавинный характер: от чудовищной перегрузки в сети один за другим начали выходить из строя или отключаться генераторы электростанций и автоматические предохранители линий электропередачи. Все это случилось в течение часа: в 9. 34 Нью-Йорк опустился в кромешную тьму.

Но для телезрителей-то в других городах — а наш друг был в это время в одном из отелей Чикаго — все произошло еще быстрей: буквально в течение нескольких минут. Экран мигнул и погас Почти сразу же зажегся вновь, диктор объявил о случившемся. И тут надо отдать должное оперативности американского телевидения: какие-то минуты спустя — а ведь надо учесть всю неожиданность, стремительность происходящего для самих ньюйоркцев — телевизионные репортеры начали транслировать оттуда с помощью портативных установок, независимых от городской электрической сети, передачи, длившиеся затем непрерывно более суток, пока не были ликвидированы последствия многочисленных аварий.

Экраном завладело невероятное. Высились черные громады домов. Остановились лифты, поезда метро. Прервались

операции в больницах. В городе было объявлено чрезвычайное положение. Отозвали из отпусков всех полицейских, кого только смогли найти дома. Тем не менее уже спустя каких-то полчаса вспыхнула во всех районах эпидемия грабежей: разбивались витрины, взламывались двери магазинов, оттуда тащили все что ни попадя. Какие-то черные, изломанные тени мелькали по экрану телевизора.

И один за другим возникали пожары: это грабители, отвлекая внимание полицейских, поджигали жилые дома и учреждения, детские сады и банки. 1037 пожаров пришлось тушить в ту ночь. Но прежде всего оперативные спасательные группы вызволяли людей, попавших в безвыходное положение: из намертво замкнувшихся, повисших меж этажами лифтов, из поездов метро, остановившихся под землей далеко от станций... В больницах пустили в ход аварийные движки, но не везде они сработали. В Бруклинском госпитале был на автомобильной стоянке организован импровизированный пункт скорой помощи. Операционные столы поставили прямо под открытым небом и осветили прожекторами пожарных машин.

Экран показывал людей, которые предпочли заночевать в машинах, а не подниматься к себе в квартиры по темным лестницам пешком. Но и в машинах оставаться было небезопасно: лавина грабежей, бесчинств катила по улицам — тут и сям завязывались перестрелки, вдруг прошила экран очередь трассирующих пуль, горел автомобиль, перевернутый посреди узкой полоски асфальта, преградивший путь полицейской машине...

— Электрокомпания «Консолидейтед Эдисон» оказалась беспомощной перед лицом божественных деяний,— вещал с экрана диктор, пытаясь хоть как-то объяснить случившееся.

Но, как выяснили позже эксперты, говорить-то надо было не о молниях, «посланных на землю богом», а о несбалансированности энергосистем северо-востока страны, об отсутствии достаточных резервов энергетических мощностей, о плохо отлаженной диспетчерской службе, о сложностях оперативной координации работы энергосистем, принадлежащих разным частновладельческим компаниям.

Сотни погибших принесла та ночь Нью-Йорку. 3500 человек было арестовано. Общий ущерб, включая убытки, нанесенные погромами и грабежами, составил, по заявлениям городских властей, не менее миллиарда долларов.

Но может быть, самый страшный урок случившегося:

пропасть, непроходимо отделившая друг от друга людей, попавших в беду, столь мгновенно сработавший в душах многих инстинкт — нажиться на несчастье, дать волю самым диким желаниям, коли любой проступок почти наверняка останется безнаказанным.

Возможно, какие-то детали рассказа Анджея Земильского так и ушли бы из памяти, как бывает с событиями, к которым сам не имел непосредственного отношения. Но случилось еще одно совпадение: как раз в те дни редакция московского альманаха «Шаги» попросила нас написать очерк о строительстве линии электропередачи сверхвысокого напряжения, ЛЭП—750 киловольт, которая свяжет Донбасс, Винницу с трансформаторной подстанцией Западноукраинская, близ Бурштынской ГРЭС, а потом — с Альбертиршей, городком в двадцати пяти километрах от Будапешта. Общая длина ЛЭП — 1600 километров: это самая протяженная в мире линия столь высокого напряжения. А уж от Альбертирши в стороны, в разные страны сэвовского содружества энергия пойдет по четырехсоткиловольткам, и все эти линии электропередачи позволят на новой основе организовать работу объединенных энергосистем стран — членов СЭВ, или, как их называют журналисты, энергосистемы «Мир».

Работа над этим очерком заставляла нас, в частности, не раз возвращаться и к аварии, случившейся в Нью-Йорке, помогая глубже понять ее суть. О ней зашла речь в первом же разговоре по поводу ЛЭП-750 с Александром Николаевичем Шаровым, заместителем главного инженера «Энергосетьпроекта». Институт этот участвовал в разработке технико-экономического обоснования проекта ЛЭП, и мы зашли к Шарову уточнить, какую же выгоду даст эта линия всем странам — Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республике, Польше, Чехословакии и СССР, которые участвовали в ее строительстве. Вот что Шаров рассказал.

ЛЭП-750 позволит уже к 1980 году увеличить поставки энергии из СССР в другие страны СЭВ как минимум до шести миллиардов киловатт-часов — это вдвое больше годовой выработки первенца нашей большой энергетики Днепрогэса-1. Венгрия, например, почти удвоит импорт энергии из СССР. Теперь остается лишь добавить: все эти цифры оказались реальными. Понятно и просто: стоят опоры, на них висят провода, по ним идет ток из той страны, где запасы энергии

больше, в те, где они, эти запасы, меньше. Но все дело в том, что движение на электрической магистрали двустороннее. И вот тут начинаются сложности.

У энергетиков существует понятие «пиковые нагрузки». Они случаются регулярно дважды в день, утром и вечером, когда потребление энергии в каждой системе резко возрастает и может просто не хватить мощности собственных гидро- и теплоэлектростанций, чтобы удовлетворить все потребности. Но за счет разницы в часовых поясах эти пиковые нагрузки в наших странах падают на разное время, и если энергосистемы стран связаны друг с другом достаточно надежными и мощными линиями электропередачи, легко покрывать часть нагрузок в часы «пик» за счет переброски энергии из страны в страну по принципу «нулевого сальдо»: ты мне даешь энергии столько же, сколько и получаешь в другое время от меня.

Каждому из партнеров не нужны станут, таким образом, дополнительные мощности, которые пришлось бы установить, если б не новая ЛЭП-750. Межсистемный эффект этот дал выигрыш примерно в 700 мегаватт — солидная электростанция, которую не надо строить.

Еще. До сих пор по существующим линиям напряжением в 400 и 220 киловольт к объединенным энергосистемам стран СЭВ была подключена в СССР только Западная Украина. Теперь же подсоединился весь юг страны и Белоруссия, по существу, вся Единая энергосистема европейской части СССР. Резко возросла суммарная мощность объединенных систем. А тут есть такая хитрость: при работе любой системы обязательно создают ее так называемый резерв мощности, который не может быть меньше шестнадцати процентов мощности всех электростанций. Если, например, система располагает десятью равноценными агрегатами, то работать из них могут только восемь, а два — в резерве. Ведь есть такие предприятия — металлургические или шахты,— которые не отключишь от электросети ни на минуту: «запорешь» плавку или поставишь под угрозу жизнь шахтеров — как отключить?..

Так вот, с вводом ЛЭП-750 этих резервных агрегатов набирается столько, что они составят мощность еще одной станции в 800 мегаватт, которую опять-таки не надо строить и которая тем не менее станет работать на наши страны. Тот парадоксальный случай, когда элементарное арифметическое действие — сложение увеличивает величину каждого из слагаемых. Вопреки законам математики.

И еще одно. Известно, самые экономичные агрегаты электростанций — самые мощные. Дешевле поставить агрегат мощностью, скажем, в 400 мегаватт, чем пять — мощностью в 80 мегаватт. И эксплуатировать его тоже дешевле. Но опять-таки в целях страховки от так называемых лавинных аварий единичная мощность каждого установленного агрегата не должна превышать пяти процентов мощности всей системы: иначе, случись авария одного агрегата-гиганта, сядут напряжение, частота тока ниже допустимой нормы во всей системе и начнут выходить из строя агрегаты на других электростанциях, хоть бы и удаленных друг от друга на сотни километров,— система станет неуправляемой.

Вот тут-то нам и напомнил Шаров:

— Вы слышали о подобной аварии, которая случилась с нью-йоркской энергосистемой?..

ЛЭП-750, увеличив общую мощность межсистемных связей, позволила каждой стране строить новые электростанции с более крупными, а стало быть, более экономичными агрегатами. Еще — многие миллионы рублей, которые просто не надо будет тратить. Экономия, которая только на первый, неискушенный в технических сложностях взгляд берется вроде бы из ничего, попросту высчитывается на бумаге, но отнюдь не менее реальная, чем, к примеру, тысячи тонн нефти, которые не надо будет сжигать в котлах электростанций.

Александр Николаевич Шаров, человек уже немолодой, седой как лунь, терпеливо втолковывал нам все эти премудрости. А мы уже прикидывали для себя: значит, придется побывать и на давно действующих электростанциях, и у проектировщиков, их работу ЛЭП-750 тоже изменит (изменила?..) коренным образом.

Александр Николаевич курирует проекты еще нескольких строек, телефон его почти беспрерывно звонит, и заходят в кабинет люди. Шаров лишь мгновенно взглядывает на них, и глаза его, темные, живые, становятся тогда беззащитно-детскими. Сотрудники Александра Николаевича, привычно и тяжело вздыхая, уходят.

Еще одно мы попытались выяснить: какой будет суммарный экономический эффект от строительства ЛЭП-750? Шаров ответил:

— К сожалению, точно я сказать не могу... Да, наверно, и никто не может. Ну, к примеру, Венгрия в результате в ближайшие двадцать лет получила возможность не строить — дополнительно к намеченным — новую крупную

теплоэлектростанцию. И тут не в одном времени выгода: куда, с какой отдачей она поместит высвободившиеся деньги — кто скажет? — спросил он и взглянул чуть ли не растерянно.— Большинство электростанций сейчас вынуждено работать с предельной нагрузкой. Новая ЛЭП позволит вовремя производить профилактические ремонты агрегатов — какую это даст выгоду? — И опять чуть исподлобья быстрый взгляд на нас и искоса — на сотрудника, который уже в третий раз заходит в кабинет за подписью на сверхсрочной телеграмме.— Вы вот что! — вдруг находит Шаров выход из положения.— Вы сперва поезжайте лучше не в Венгрию, а в Прагу: там уже больше полутора десятка лет работает ЦДУ — Центральное диспетчерское управление сэвовских, общих наших энергосистем... ну «Мир», как журналисты величают,— недовольно поморщившись, добавил он: для него-то «энергосистема» — понятие сугубо рабочее.— Поезжайте туда, там вам все сразу станет яснее. Действительно, поезжайте туда!

ЦДУ — на Юнгманновой улице, одной из центральных, толчейных в Праге, тут всегда, кажется, больше туристов, чем горожан. Неброская вывеска: если не приглядеться, обязательно пройдешь мимо.

Хотя ЦДУ и создано в 1962 году в рамках и по инициативе СЭВа, но по своему статусу управление не зависит от него. Руководит ЦДУ совет, в который входят семь полномочных представителей — по одному от всех стран, подписавших соответствующее соглашение: Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики, Польши, Румынии, Советского Союза и Чехословакии. Совет собирается на свои заседания два раза в год, и любое решение может быть принято только единогласно: у каждого представителя есть право вето, которым он может воспользоваться,— верная возможность обеспечить равноправие и взаимовыгоду сторон.

В самом управлении постоянно работает около сорока человек, из них всего двадцать восемь специалистов, в пяти группах; каждая со своими четко определенными задачами. И директор, и специалисты групп — сменные, по очереди от всех стран. Скажем, директор работает два года, а перед этим — еще два года — заместителем у своего предшественника. Таким образом, обеспечивается и преемственность руководства, и абсолютное равноправие всех стран.

Сейчас во главе управления — Ральф Мичке, немец. Рассказав об уставе ЦДУ, он перепоручил нас одному из пяти главных специалистов — Ростиславу Гринюку. Гринюку лет сорок с небольшим. Он — украинец, работал прежде инженером в энергосистеме «Донбассэнерго», заместителем начальника главка в Министерстве энергетики Украины, а с марта 1976 года — здесь. Невысок, курчав, худ, темпераментен, говорит со скоростью реактивной — сразу обо всем. И о взаимоотношениях Центрального и Государственных диспетчерских управлений:

— Иерархия четкая, да, но никаких приказов мы им не отдаем: мы имеем право только рекомендовать заменить устаревшее оборудование, провести тот или иной ремонт, или даже вот сегодня, сейчас, случись где авария, у дежурного диспетчера ЦДУ есть централизованный резерв мощностей в 540 мегаватт, он четко предусматривается на каждую неделю — какие, где агрегаты. Не включишь по команде диспетчера — штраф. Но можешь и не включать — право твое: каждый выключатель — национальный...

О режимных и внеплановых поставках энергии, иногда значительных:

— Системы ж дышат, и неровно дышат, у каждой страны свой пульс и частота дыхания; в том-то и роль ЦДУ — уравнять дыхание, чтоб не дошло дело до гипоксии, кислородного голодания, мало ль что случиться может: в одной стране авария сразу на двух станциях, в другой отключились потребители, им и плановая энергия не нужна, а в третьей — игра футболистов сборной транслируется по телику...

О своем быте:

— Нас здесь сейчас четверо специалистов из СССР, и так получилось случайно, что квартиры всем четверым дали в диаметрально противоположных концах Праги, четко! — Гринюк смеется. Кажется, словечко «четко» у него любимое.— По вечерам уже не соберешься, в гости не сходишь. А тут еще для нас четверых задачка: приходится изучать чешский самостоятельно. Рабочий язык в ЦДУ — русский. При поступлении на работу все должны сдавать экзамены по русскому... Да-да, если диспетчер, к примеру, знает венгерский, то и с венграми на дежурстве обязан говорить по-русски: все разговоры четко фиксируются на пленку, мало ль что!.. Вот и учим чешский сами: ну не сидеть же вечерами сиднем в четырех стенах — хоть с соседями словом перекинуться...

О задачах каждой из пяти групп управления.

Группа оперативная:

— Это понятно, да?..

Группа по учету перетока электроэнергии, эксплуатации и ремонту энергетического оборудования.

— Нет, «переток» не от слова «ток», а от слова «течь» — мощности текут, энергия. Ее ж на замок не посадишь, даже если вдруг упало напряжение в сетях, частота тока — все равно она течет, и ее брать можно. Но на плановые перетоки — одна цена, на сверхплановые — другая. Тут дело не простое: если частота упала, а энергию все равно берут, сверх плана, то тем самым сажают частоту еще больше. Но ведь не прикажешь не брать! Я повторяю: каждый выключатель — национальный. Молоток в руку не возьмешь, не заколотишь. И тут все может решить лишь четкая экономика, рубль. Если, к примеру, вечером, в пиковые нагрузки один киловатт-час стоит 2,8 копейки, при частоте около 50 герц, то уже при частоте в 49,6 герца киловатт-час встанет вам в 4,98 копейки, а при частоте ниже критической, ниже 49,5 герца — это угроза всем системам — киловатт-час подлетит до 10,8 копейки. Разница? Четкая! Но только такими, экономическими заслонами и можно стимулировать всех партнеров не брать некачественную энергию, поднять частоту...

Группа режимов, группа релейной защиты и автоматики, группа анализа работы объединенных систем...

Мы давно уже не успевали записывать рассказ Гринюка и невольно разглядывали карту, которая лежала перед нами на столе.

На белом ровном поле были указаны только те города, поселки, в которых работали или строились электростанции и трансформаторные подстанции. Но и таких было -- сотни. И все соединены красными, оранжевыми, зелеными, черными линиями. Красные — четырехсоткиловольтные линии передачи, оранжевые — ЛЭП-330, зеленые — ЛЭП-220, черные — ЛЭП-110 киловольт. Они пересекались, скрещивались, расходились пучками от точек центральных. Их сеть так густа, что легко было принять ее за карту автомобильных дорог. И каждая с двусторонним движением — асфальт, бетон, скорость. Проселочные однопутки в 60 и 35 киловольт тут даже и не были нанесены. Но все равно просто разбегались глаза в головоломном лабиринте.

И углом, сломанным кверху (в его вершине — подстанция Западноукраинская), рассекала карту широкая синяя поло-

са: это и была 750-киловольтная линия электропередачи Винница — Альбертирша. Тогда ее строили, а недавно ввели в строй.

И тут вспомнилось, как однажды утром, в воскресенье, когда выдался один из немногих вольных дней, какие случаются в поездках, мы поехали на Балатон, как машина наша плутала по улицам Будапешта, надолго застряв в пробке перед мостом через Дунай, сотни машин перебивали нам путь, выныривая из каждой улицы и переулка, и все в одну сторону — на Балатон, на Балатон! Кажется, вся Венгрия ринулась туда в это ненастное утро, и мы уже подосадовали на себя: зря поехали. Но вдруг машина наша выскочила на недавно выстроенную скоростную автостраду — аутобан, как его здесь зовут: движение в шесть, в восемь рядов, и бетон выглаженный, вылизанный, будто полоска песка под сильным ветром; аутобан мгновенно обезлюдел, обезмашинел, стал пустынно-печальным, открытым низкому небу. А может, и потому небо приблизилось, что аутобан был высоко поднят над равниной, стало видно далеко окрест: поля и холмы, покрытые зеленым лесом, и все соседние деревушки, и полоски асфальта меж ними, по которым изредка и вроде с оглядкой ползли автомашины, как неповоротливые жуки, ограниченные в своей скорости лишь собственным малосильем.

— Слушайте,— сказал один из нас Гринюку,— ведь эта новая ЛЭП как аутобан: она и на всех соседних дорогах изменит движение, и плата за литр бензина станет другой, за каждый километр. Так?

— Четко! — воскликнул он и рассмеялся, смех у него негромкий, приятный.— Всю отлаженную годами нашу экономику нам же и придется ломать и все строить заново. В группе режимов сейчас посадили для этого специального старшего инженера — Владислав Исаев, москвич. Он вместе с другими уже рассчитывает изменения в потоках, которые принесет ЛЭП-750... Вот теперь я вижу, вы все поняли.— Он опять засмеялся.— Пора вести вас в нашу святая святых...

И мы пошли к центральному диспетчерскому пульту управления. Он расположен в просторном, полукруглом зале. Посредине — длинный, метров десять, стол-пульт с десятками разноцветных клавиш, чуть сбоку — столик маленький с телефонами; напротив, на стене — схема всех линий и станций, почти такая же, как и карта, которую мы недавно разглядывали, только во всех узловых точках светились,

помаргивая вразнобой, лампочки. Лишь приглядевшись, мы увидели, что мигают они в определенном ритме, как бы волнами,— системы действительно дышали. По обеим сторонам схемы пучеглазились белые оконца приборов. Их было множество, и в каждом на черных, красных деленьицах дрожали чуткие стрелки.

Сегодня дежурил поляк, пожилой, седой, тучный человек. Он представился, но произнес фамилию с акцентом, и неловко было переспросить, записать, потому что диспетчер тут же повернулся к своим клавишам, огонькам.

Диспетчер — всегда в одиночестве. И это не только экономия: любой второй человек близ пульта помешал бы его сосредоточенности, любой второй — это возможность спора, утрата оперативности и ответственности, а тут надо иногда принимать решения в считанные мгновения, и от того, верное оно будет или нет, зависит работа электростанций, фабрик, заводов, многих тысяч человек. Ты всевластен. И потому — один. Тот случай, когда форма вполне соответствует содержанию.

Свет падал на диспетчерский пульт, на сутулую спину поляка сзади, из высоких светлых окон, насквозь пронизывал редкие волосы на его голове, и они казались посеребренными. Гринюк молчал. Вспомнилось, как в Дунаменти, на самой крупной венгерской электростанции, вот у такого же пульта управления — поменьше, конечно, попроще, но суть та же,— такой же одинокий диспетчер жаловался нам: «Уже десять лет я на этой работе, десять лет изо дня в день в камере-одиночке, не с кем словом перекинуться в час тихий, устал, так устал!..»

От некоторых приборов, закручиваясь свитками, тянулись вниз бумажные ленты самописцев. Гринюк пояснил почти шепотом:

— Вот смотрите: тут видно, сколько какая страна берет энергии. План, отклонения... Сейчас у всех все в норме. Нет, Чехословакия берет на 500 мегаватт больше, чем положено. И причина,— он показал на заполошно мигающую лампочку на стене,— авария на ЛЭП от Дематровице, от тамошней ТЭЦ на юго-запад страны. Все четко!.. 500 мегаватт — это мелочь, да и линия не из главных, так что, считайте, день спокойный. Тут как-то в Карпатах был оползень, на 400-киловольтке из Мукачево похилилось несколько опор, да еще как раз в том месте, где ЛЭП проходит вблизи нефтепровода «Дружба»; оползень покорежил и нефтепровод, любая работа с металлом вблизи аварийного места стала опасной —

вдруг искра какая да взрыв, а?.. Да еще горы: к иным опорам только и можно подобраться на вертолете, а ЛЭП — важная в системах «Мир», ее надолго выключить невозможно! — Гринюк все это перечислил скороговоркой и уже после паузы, вновь пережив прежнее волнение, вздохнул с облегчением и усмешкой, пояснил: — Вот этот оползень поиграл нам на нервах! В те дни диспетчеры на своих клавишах, как на пианино, упражнялись, и телефон ни один не молчал...

Телефонная связь у ЦДУ — собственная. В любую секунду можно напрямую связаться с любым из Государственных диспетчерских управлений (ГДУ) — поднял трубку и говори тут же, а если на каком-то участке связи случится что, то можно, скажем, с Варшавой соединиться окольно: через Берлин или Мукачево... Кроме того, диспетчерам ЦДУ дано право первоочередного пользования обычными каналами связи — по определенному коду. И уж на всякий пожарный случай, вдруг действительно пожар в здании ЦДУ или еще какое ЧП, приготовлена инструкция, как действовать Государственным управлениям без связи с центром.

А Гринюк уже вел нас к другим приборам.

— Вот эта шкала — тенденция частоты тока. Интересный приборчик: заранее предсказывает, что будет дальше. А здесь,— показал на соседний самописец,— частота фиксируется, суммируется за каждый получас, а потом — итог за месяц: куда, кому, сколько, на какой частоте; все эти ленты хранятся в архивах. Ну а как же иначе? Это ж основные документы при любом споре, при всех расчетах. Да споров практически и не бывает: показания всех приборов сдублированы многократно не только у нас, но и на всех узловых, межгосударственных трансформаторных подстанциях — тут все без обмана.

— Четко?

— Четко,— с удовольствием подтвердил Гринюк.— Полная правовая независимость национальных систем при абсолютной их экономической взаимозависимости, и никто не должен стучать кулаком по столу, первое слово — рублю: хочешь «штрафную» выпить, пей, хоть допьяна, до спотыкачки, но деньги-то партнерам за свои роскошества выложи. Я считаю — да и не только я, у нас много побывало специалистов, в том числе из капстран,— ЦДУ — это образец международной организации.

Тут замигала чаще, чем прежде, еще одна лампочка на стене. Гринюк замолчал. У диспетчера-поляка спина напряженней стала. Мы еще вгляделись в эту огнистую настенную

схему, вдруг пришла на ум, казалось бы, шаблонная фраза — «созвездие электростанций», она наполнилась сейчас вполне реальным, деловым смыслом. Действительно, даже самые удаленные друг от друга электростанции были соединены линиями электропередачи в созвездия — вот прямо перед нами, на стене. Это — не схема, а небо; звезды мигают по-разному, иные могут и вовсе погаснуть, хотя бы на время, и оттого небо изменчиво... А полукруглый зал — рубка...

Так легко было представить на месте диспетчера ЦДУ пилота космического корабля, только и нужно — переодеть его: белый, слишком земной халат поляка сменить на скафандр. А впрочем, стоит ли? Вот в таких простых, медицински стерильных халатах, возможно, и будут когда-нибудь летать в космосе. Так легко было представить себе, как он в одиночестве каждую секунду готов принять решение, чтоб преодолеть притяжение всех встречных звезд и планет, стремительных комет и провальных «черных дыр», отыскать в этой беспрерывно меняющейся круговерти путь прямей, проще. И нет у пилота ни малейшего права на ошибку, потому что от его выбора, может быть, зависит судьба какой-нибудь дальней цивилизации или даже жизнь нашей Земли: фантасты напридумали уже сотни таких ситуаций!..

Но, впрочем, к чему тут фантастика, если даже сегодняшний, спокойный, как сказал Гринюк, денек мало чем отличается от нее. Хорошо бы написать рассказ хоть об одном таком дне, о постоянном и тяжком грузе ответственности, которая, должно быть, и сделала спину поляка-диспетчера сутулой.

Мы вышли из диспетчерской и еще расспросили Гринюка о его собственной жизни. Ничего вроде б в ней не было приметного: школа, институт, младший, старший инженер, заместитель начальника главка — это на Украине, а теперь здесь — главный специалист группы анализа работы объединенных систем: это по его рекомендациям планируется работа ЦДУ на неделю, на месяц и на год вперед. Женат, двое детей, с детьми полный контакт.

— Четкая жизнь, по прямой, ничего особенного,— сказал Гринюк.— Сейчас-то что! Вот начинать здесь, в ЦДУ, было трудно. Вам бы хорошо встретиться с Милославом Штеткой: в течение шести лет он был первым директором ЦДУ, такой воз вытащил! Все заново, на пустом-то месте — представляете?..

Милослав Штетка — один из старейших энергетиков Чехословакии. Он — пражанин, еще до войны кончил

политехнический институт и с тридцать девятого года работал на электростанции в Пардубицах техником по эксплуатации, а после войны — директором на той же станции, с пятьдесят шестого года — диспетчером Государственного диспетчерского управления Чехословакии.

Но, наверно, не этот послужной список сыграл решающую роль, когда шесть лет спустя его назначали директором только что созданного ЦДУ. А прежде всего — характер, человеческие качества Штетки. Мы познакомились с ним, а позже, год спустя, встречались еще, наблюдали в ситуациях самых разных, в том числе и не простых для него, и всякий раз Штетка умел находить единственный, кажется, выход из положения, оставаясь неизменно спокойным, доброжелательным даже и к тем людям, которые — мы знали — ему не очень-то импонировали по-человечески. Но доброжелательство это было искренним, потому что относилось оно не только к самим людям, прежде всего к делу, общему делу, которому они служили. И даже недруги Штетки никогда не могли отказать ему в честности, заподозрить в каком-то тайном расчете.

Именно эти его качества, кроме, конечно, глубоких знаний настоящего специалиста, прежде всего остального и нужны были в начале шестидесятых годов, когда ЦДУ создавалось действительно, как говорится, от нуля. В диспетчерском пункте был один лишь телефон и телетайп, и никаких приборов, ни разработанных цен и правил на взаимные поставки энергии, ни автоматики, бесстрастно регистрирующей показатели количественные и качественные, ни нужного числа работников: вчетвером они делали работу, которую выполняют теперь сорок человек; ни даже выработанного только впоследствии общего терминологического языка, вообще не было языка общего — в прямом, а иногда и в переносном смысле. С румынами Штетка объяснялся по-французски, а с венграми — по-английски. А главное, те теоретические посылки общей выгоды такого объединения энергосистем, о которых рассказывали нам Шаров и Гринюк, еще предстояло изо дня в день доказывать на практике. Дискуссии по разным поводам возникали ежедневно, тем более что в те годы энергетические системы всех стран работали подчас с чудовищной перегрузкой.

Спорящих могли убедить лишь дела, в бескорыстии которых попросту невозможно было усомниться. Инициатором их почти всегда бывал Штетка или его заместитель в те годы, советский специалист Вадим Константинович

Мешков. И теперь об иных из этих дел энергетики разных стран рассказывали нам почти как о легендах. Например, о форсированном строительстве — за счет всех стран-участниц соглашения — дополнительной линии электропередачи из Мукачево в Лудуши, в результате которого Румыния смогла импортировать дополнительно свыше ста мегаватт энергии — немало по тем временам. Или об аварии, случившейся в одну из зимних ночей на трансформаторной подстанции в чешском городе Градце. На подстанцию эту замыкаются такие крупнейшие тепловые электростанции страны, как «Тиссова», «Почерады», «Тушемицы», все они — в северо-западном районе страны, и потому здесь в осадках выпадает много сернистого ангидрида. И вот в ту шалую зиму оттепели сменялись морозами, и однажды все шины выключателей подстанции обмерзли «грязным» — с примесью серы — льдом, подстанция вышла из строя. В одну ночь внезапно чехословацкая энергосистема потеряла тысячу мегаватт мощности, цифра почти невероятная для такой сравнительно небольшой страны. Но потребители даже и не ощутили случившегося, столь оперативно были «переброшены» сюда резервные мощности из энергосистем соседних стран.

Между прочим — тоже занятное совпадение! — когда мы встречались с Милославом Штеткой в последний раз, незадолго до ввода в строй ЛЭП-750, и только вошли в вестибюль министерского здания, как вдруг в нем по всем этажам, кабинетам погас свет. Выяснилось: как раз в тот миг отключили, поставили на капитальный ремонт все до единого котлы электростанции «Тиссова».

Наверно, именно потому Милослав Штетка, когда мы стали его расспрашивать о тех выгодах, которые принесет энергетикам социалистических стран ЛЭП-750, ответил:

— Всех выгод не перечислить, и я не стану повторять вам цифры, которые вы уж, должно быть, слышали от других. Но как бывший эксплуатационник вот что посоветую: побывайте обязательно на какой-нибудь действующей электростанции, и лучше даже не в Чехословакии — у нас сейчас дефицит энергии, и потому крайность, вроде сегодняшней, с «Тиссовой», можно принять за правило,— нет, лучше на станции в энергосистеме, сравнительно благополучной по нынешним временам, ну, скажем, венгерской. И взгляните, как сейчас, до пуска ЛЭП-750 люди живут, работают там, в начале начал, где и производится энергия. Вот тогда вам по-человечески все намного яснее станет. Ведь как я понял, не

цифры же вам важнее всего, так?.. И все равно вы должны быть на строительстве венгерской ветки ЛЭП? Ну вот, заодно...

Электростанция Дунаменти — близ старинного венгерского села Эрд. А когда-то были здесь еще и римские поселения. Как раз тут впадает в Дунай малая речушка Бента, ее превратили теперь в отводной канал, по которому идет со станции «отработанная», теплая вода, и вот над ним-то до сих пор стоит мост, «сработанный еще рабами Рима», его никак не минуешь, подъезжая к Дунаменти.

Мы остановили машину. Три арки моста были сложены из плит серого песчаника, их опоры стояли в воде, как и две тысячи лет назад. И близ горизонта высились смутные на ненастном небе очертания гор. Крыши рассыпаны среди зелени, они карабкаются вверх, по холмам наперебой, вразброд, будто вприпрыжку.

Типичный венгерский пейзаж. Наверно, он был бы совсем идиллическим, если б в другой стороне, чуть поодаль, не взметнулись кверху, не нависли б громадами три мощные трубы электростанции. А под ними — километровыми рядами здания самой электростанции, белые крыши; тут шесть блоков, по 215 мегаватт, тринадцать агрегатов, рядом с каждым — паровой котел, высотой с многоэтажный дом. Только издали, рядом с трубами, здания блоков кажутся низкими, но мы уж бывали на таких: по их железным трапам лезешь как на колокольню.

Дунаменти — одна из самых современных электростанций страны. Работает на жидком топливе. Ее форсировали как раз тогда, когда законсервировали, застопорили стройку АЭС в Пакше, когда в споре с Бениамином Сабо победили его противники. А мы себя давно числим патриотами Пакша, и, может быть, именно потому первый разговор на Дунаменти поначалу никак не складывается. Или нам чудится какая-то напряженность в нем?..

Принимает нас Дьёрдь Херенди, начальник одного из самых больших отделов дирекции. Если переводить на наш язык (тут иная структура организации) — главный электрик Дунаменти. Под его руководством несколько десятков инженерно-технических работников, лаборатория, два ремонтных предприятия... А он еще молод. Косит лаково-черными глазами, прослеживая любое из слов, которые мы записываем в своих блокнотах. Рубит предельно короткие фразы. Почти только — цифры. Никаких эмоций. Ничего

лишнего, кроме сжатого ответа на вопрос. Но легко оперирует понятиями масштабными, касаясь проблем, вроде б совсем не причастных к его собственному хозяйству на Дунаменти: обмен энергией с Австрией, организация труда на стройках... Поглядывал на нас внимательно и все косился на наши блокноты — мы отложили их в сторону.

Чтобы уйти от официального этого тона, пытаемся расспросить Херенди о нем самом. Он здесь с первого дня строительства электростанции — с 1963 года: дело в том, что его родители живут в Эрде. Отец — уроженец Будапешта — в Эрде учительствовал до самой смерти. А мать, сестра и по сию пору тут. Университет Дьёрдь кончал, когда отец уже умер. Четыре года ездил на работу из Эрда в Будапешт. Не очень интересная работа — ремонт городских электросетей. Правда, была нужна тут и оперативность, и смекалка умение ответить за свои решения. Но, конечно же, когда объявили о новой стройке близ Эрда, Дьёрдь перебрался сюда не раздумывая: она была одной из главных в Венгрии тех лет.

«Педант. Не разговорить... Хоть что-нибудь по-настоящему волнует его?..»

Увлечения? Пожалуй, все та же работа... Начальником отдела Херенди сравнительно недавно, мы удивились этому: с его-то умением мыслить проблемно... И вот тут в первый раз за весь разговор он улыбнулся и сказал:

— Я думаю, у нас несколько иные традиции, чем в вашей стране. Может быть, это и не всегда хорошо...

Он бы и ограничился этой фразой, если б не наши расспросы. В конце концов Херенди признался: ему пришлось пережить на электростанции несколько в самом деле трудных лет.

Пришел сюда все-таки не со студенческой скамьи. Но тем не менее долгое время здесь ему поручали только мелочные задания: согласовать со строителями изменения в проекте, сделанные без его участия, проверить в заводских условиях вновь прибывшее оборудование... И то для того лишь, чтоб информировать начальство; никаких самостоятельных решений — исполнитель. А когда Херенди, человек самолюбивый, творческий, все же предлагал что-либо сделать по-своему, его непосредственный начальник, старый специалист, не спорил с ним и не соглашался: просто делал вид, что не слышит, не замечает Дьёрдя.

Но надо точнее представить себе то время. Стройка в Дунаменти гремела на всю страну. Рабочих рук не хватало,

и газеты, радио воспевали энтузиазм строителей, социалистическое отношение к труду... А Херенди, полный сил, желаний, планов, изо дня в день чувствовал, что он-то сам именно на этой прославленной стройке проявляет лишь малую толику своих возможностей. Кое-кто из товарищей и даже люди близкие над ним посмеивались: жив, дескать, в тебе неистребимый младенческий инфантилизм. Чтобы как-то заглушить неудовлетворенность собой, он все вечера напролет сидел над монографиями, журналами по энергетике. За первый же год работы на стройке прочел и узнал, кажется, больше, чем за пять лет учебы в университете. Но... жизнь книжная и практическая не смыкались.

Это, как объяснил Херенди, традиция еще давняя: настороженное отношение к молодому специалисту. Наверное, даже в те годы далеко не везде и не всегда было так. И никогда — явно. Но подспудно в среде старых инженеров, может, даже и неосознанно для них самих, бытовало мнение: хоть ты окончил университет, но пока у тебя нет имени, ты еще не специалист, тем более если ты из семьи, в инженерных кругах никому не известной. А как нажить имя, если держат тебя изо дня в день на затычках?.. Замкнутый круг.

Херенди знает нескольких своих соучеников по университету, которые в конце-то концов превращались в деляг.

Херенди помог случай, который всегда находит тех, кто и сам его постоянно ищет. Смонтировали, пустили в работу новый генератор мощностью в 150 мегаватт — таких тогда еще не знали венгерские энергетики. Херенди сразу обратил внимание: уж слишком вибрирует металлический пол рядом с машиной, чуть не звенит. Его начальник лишь плечами пожал: что ты, мол, хочешь, это ж не сельский движок!.. И тогда Херенди тайком от него несколько дней подряд стал проводить измерения: вибрация все возрастала. На ближайшем же большом техническом совещании он доложил о своих наблюдениях и настоял: надо застопорить машину, что-то неладно.

Остановили. Вскрыли. Оглядели, ощупали каждую деталь. И выяснилось: монтажники плохо законтровали один из крепежных болтов, образовался люфт; если б еще хоть несколько дней подержали генератор под нагрузкой, он пошел бы вразнос, полетели бы лопатки турбины... Все за голову схватились: зевануть этакое!.. Так Херенди заметили, отличили в первый раз и уж потом к его мнению прислушивались с неизменным вниманием.

— Но пока этого не случилось, я ведь до точки дошел,—

сказал он и невесело улыбнулся одними губами.— Не то чтоб никому другому — даже себе уже не верил: способен ли хоть на что-то?.. Готов был сорваться куда угодно.

Мы слушали его, и многое приходило на память — из собственного опыта, из встреч с другими людьми... Пожалуй, одна из них вспомнилась резче других.

Как раз в те годы судьба занесла Юрия Полухина на Айхал, тогда самый северный алмазный рудник в Якутии — километров шестьсот от Мирного и не меньше — от Чернышевского на Вилюе, где строили гидростанцию и откуда тянули на Айхал линию электропередачи.

Главным инженером строительного управления на Айхале был только что назначен Андрей Хведанцевич, наш давний знакомый еще по Чернышевскому, начинал он работать после института там... Но что значит «давний»? Мы знали его года три-четыре. Но ведь как раз эти четыре года Херенди отработал в Будапеште ремонтником, и время для него текло совсем по-иному, хотя они с Хведанцевичем одногодки.

На Айхале в середине лета стояли белые ночи. И для стройки-то белые ночи были удобны. Работу организовали в три смены. Невдалеке от гостинички, за редким лиственничным леском шли и шли по дороге МАЗы, груженные металлом, оборудованием, брусом. Они натужно ревели, словно какие-то допотопные чудовища, скрежетали коробки передач, клацали на выбоинах стойки прицепов. И некуда деться от этих звуков... Навязчиво возникали в памяти многочасовые разговоры с Андреем. Начальник управления как раз ушел в отпуск, его заместитель уехал в Мирный выбивать трубы, которых здесь всегда не хватало, и третью неделю Андрей оставался один в трех лицах. Длинный, не спавший много ночей, худой, с черными кругами под глазами, он метался по кабинету, взмахивая руками, как покосившаяся мельница крыльями, и жаловался:

— Почему я должен отвечать за все? Ошибка в проекте, шофер Пупкин разошелся с женой, снабженец, сукин сын, сплавил налево дефицит, в детском садике нет стульев, у сварщиков — электродов, и все — ко мне! Вздохнуть, осмотреться некогда! На себя оглянуться! Работа — короткий сон, работа — куцый сон, работа — сон, ничего больше! Некогда думать, надо только принимать решения. Жизнь — на износ, не только физический. Не поверишь, так и подмывает сорваться куда ни попадя, хотя бы и домой, в Москву, я же коренной москвич, квартира там стоит пустая, а здесь ну зачем я такой, кому нужен?!

Ну тут зазвонил телефон, Андрея вызвал Чернышевский — Евгений Никанорович Батенчук, начальник «Вилюйгэсстроя» (позднее начальник строительства на КамАЗе). Он выговаривал Хведанцевичу так громко, что его, в трубке, было слышней, чем ответы Андрея, сидевшего рядом:

— Ты почему еще не начал строить вторую трансформаторную подстанцию?.. Что значит проекта нет! У тебя по соседству — такая же! Переверни зеркально чертежи и строй! ЛЭП вот-вот подойдет к Айхалу, там мужики горбатятся день и ночь, а у тебя на площадке конь не валялся! Куда ток брать будешь?.. Да сам я знаю, что привязка другая. Что же теперь — год проектировщиков ждать?.. А нет инженеров, сам ночь не поспи. Подумаешь хитрость какая: провисы проводов рассчитать! Ты что, ребенок, в детском саду? Чтоб через неделю площадка была спланирована. Все!.. Нет! Обожди! Давай конкретней: об исполнении доложишь пятнадцатого числа, я себе записываю. Чтоб телефонограммой, официально. В противном случае... Ну сам знаешь. Ясно?

Андрей шваркнул трубку.

Подстанцию пустят точно в срок, и ток придет по линии электропередачи из Чернышевского вовремя.

Все это вспомнилось мгновенно, прежде чем Херенди успел досказать свою историю. В одни и те же годы, месяцы, а может, в один и тот же час — одинаковое желание сорваться с места, куда бы то ни было, но по самым контрастным обстоятельствам. Что ж, что разделенные тысячами километров: по нынешним временам это рядом, вполне можно было бы поменять их местами. Множество для того возможностей: Херенди, как и многие его друзья, мог окончить не будапештский, а московский вуз и попасть на стажировку в Якутию или позже приехать — обмен опытом. Он бы себя там чувствовал не иначе, как в Зазеркалье...

И еще вспомнилось: в первый же вечер на Айхале, когда после многочасового перелета, прямо с аэродрома привезли нас, приехавших, в гостиничку и мы, вконец ошалевшие от дальней дороги и безумного неба, рухнули на койки свои,— вдруг в поселке — а казалось: совсем рядом, за стенкой! — раздались удары колокола. Как на пожар. Командировочные высыпали на улицу и увидели: изо всех домов, брусчатых, обшарпанных, выходят нелепо одетые люди. Мужчины в отлично скроенных костюмах, нейлоновых рубахах и галстуках, женщины, разряженные, словно на бал, в мини-юбках, которые тогда только-только входили в моду,

в чулках — каких тут не было чулок! Ажурные, со стрелками, со швом и без шва, ярко-синие, зеленые, простого телесного цвета и девственно-белые, как будто вышагивали не ноги, а нитяные шпули...

Невольно и все командировочные двинулись вслед за толпой в дальний конец пятисотметровой улочки, где стоял длинный низкий сарай, над его-то входом и висел колокол и звонил. Наконец, на черной стене — из пазов между бревнами торчал мох вместо пакли — стало видно написанную от руки афишу: «ИТАЛИЯ — ФРАНЦИЯ. «ОБНАЖЕННАЯ МАХА». Новый кинофильм. После фильма — танцы».

Сарай был всего-навсего клубом. Настоящий клуб, вполне современный, большой, пока только строился.

И это все вспомнилось. А вдруг Дьёрдь Херенди возник бы в этой расфранченной айхальской толпе. «А что? С его-то невозмутимостью, педантизмом, аккуратностью он бы вполне на месте там оказался, вполне...»

Фантазия эта — чтоб еще заземлить разговор, убрать из него последние официальные нотки — тут же и была рассказана со всеми деталями. Дьёрдь Херенди выслушал и очень серьезно сказал:

— Я-то бы не прочь изведать такое! И, пожалуй, вы правы: хоть бы и досталось мне нелегко, как-нибудь выкрутился бы из положения, во всяком случае — жаловаться не посмел бы. Но вот ваш знакомый — как бы он на моем месте — несколько лет подряд лишь информатор?.. Хватило б терпения? Поймите меня правильно: терпеть ради дела — одно, а когда дело-то, живое, многотрудное, существует рядом с тобой, ты знаешь, как помочь ему, но не имеешь права вмешаться,— как вытерпеть этакое?!.

Тут Херенди взволнованно прошелся по кабинету, встал у окна. Кабинет был на втором этаже. Почти все небо застила громада одного из котлов электростанции, одетая в белые, такие невинно-стерильные стеновые панели, запеленатая в хитросплетения множества труб... На нее глядя, Херенди стал рассказывать, как нелегко работать даже и сейчас на этой сверхновой станции. Нелегко, потому что работать-то приходится с постоянной перегрузкой котлов, агрегатов, профилактические ремонты их почти не удается делать, а только авральные, аварийные... Это надо себе представить! С одними котлами хлопот не оберешься: прорывы раз десять в месяц. А что значит залатать такой вот котел? Температура раскаленного котла — сотни градусов. Сутки его надо охлаждать, чтобы потом стало возможно хотя бы подсунуть-

7 Заказ 1098

ся под его бок, поставить рядом леса, залатать пробоину, снять леса. И — ревизия, постепенный разогрев котла... На пустяковый ремонт подчас нужно минимум шестьдесят часов, и это когда все агрегаты должны работать под нагрузкой, в любое время. Шестьдесят часов!..

Тут Херенди вернулся к столу и на листке бумаги стал высчитывать, что значит выход из строя одного лишь блока электростанции, сколько цехов надо остановить из-за этого на заводах Чепеля и иных... Получалось: каждые двадцать четыре часа такого простоя равны убыткам в пятьдесят миллионов форинтов. Вот потому-то на электростанции вынуждены держать 360 ремонтников — квалифицированнейших специалистов: котельщиков, электриков, слесарей, вплоть до рентгенотехников... да, каждую новую заплату на котле перед ревизией просвечивают рентгеном... одни лишь премии ремонтникам составляют...

И получалось: увлекательнейшее, сверхприбыльнейшее дело — найти хотя бы минимальные возможности сократить сроки ремонта, уменьшить количество трудозатрат, повысить механизацию работ, типизировать их, чтоб не кудесничать каждый раз, ведь импровизировать хорошо только вот в таком разговоре, как наш, а когда авария на станции — тут уж на счету секунды. Но тут же Херенди стал в деталях рассказывать, какие новшества даже и в такой вот авральной обстановке удалось внедрить в ремонтных работах на электростанции и как важно было именно молодым инженерам на практике доказать: не только опыт решает дело даже и в ситуациях аварийных, но и смекалка, и решимость пойти необычным путем, психологическая подвижность людей... Тут Херенди помолчал, подумал и заключил:

— Кстати, на электростанции множество советского оборудования, которое, конечно же, советские специалисты знают отлично. И может, обмен специалистами — не такая уж фантазия? Необходимость? — И опять Херенди — куда девалась прежняя сухость! — порывисто встал, подошел к окну.— Вон видите третий отсюда блок? Кусок красной крыши видите?.. Как раз там в шестьдесят седьмом году случился пожар — страшное дело!..

Тогда первая очередь электростанции — семь агрегатов — еще только строилась. И вот произошло где-то короткое замыкание, а реле защиты не сработало, перегорел кабель, и через три минуты взорвался трансформатор. Горящее масло затекло в подземные коммуникации, и пошло, и пошло!.. Сгорело три блока. Из них два уже работали, огонь бил

из-под земли, уничтожил 240 километров кабеля. Общие убытки составили много сотен миллионов форинтов. Катастрофа казалась непоправимой. Венгры обратились за помощью к СССР.

Но вот что еще важно: хотя часть оборудования на станции была советской, как раз взорвавшийся трансформатор — венгерский, и его защита — венгерская, и проект, в котором не соблюдены были правила противопожарной безопасности,— тоже венгерский. Тем не менее наши энергетики, без всяких предварительных переговоров, условий, тут же прислали на Дунаменти все необходимое оборудование. В том числе и новый трансформатор, из тех, что и у нас на счету,— значит, нужно было отодвинуть сроки поставок на какую-то из строящихся советских электростанций... И тут же приехало сорок наших специалистов — десять инженеров и тридцать рабочих — монтировать это оборудование.

Нам уже многие здесь, в Венгрии, говорили об этом эпизоде: такой бескорыстной помощи еще не было в практике международного содружества каких-либо стран. Вот и Херенди толкует о том же:

— Многому тогда научились мы у ваших специалистов. Впрочем, и они у нас — тоже. Так, может, обмен такой выгоден не в авральные только минуты?

Херенди спешил на какое-то совещание. Но мы все же еще спросили его, какие изменения внесет в жизнь Дунаменти новая ЛЭП-750 Винница — Альбертирша.

— Как только она даст ток, три агрегата Дунаменти — попеременно — мы сможем держать на профилактике. А это значит, авральные-то ремонты сократятся минимум процентов на пятьдесят. Ну а выгоду от этого теперь уж вам самим нетрудно будет подсчитать — так?..

Херенди улыбнулся, кажется, впервые за весь разговор — он прощался с нами.

Посчитать прибытки Дунаменти от ввода в строй ЛЭП-750 было, конечно, нетрудно. Но мы еще вспомнили: ту карту, которую нам показывал в Центральном диспетчерском управлении Ростислав Гринюк, звездные россыпи электростанций, которые — все! — свяжет эта ЛЭП-750 как главная артерия объединенных энергосистем стран — членов СЭВ. Какую же выгоду принесет ЛЭП-750 для сотен давно действующих станций?.. Опять начиналась астрономия..

КАРПАТСКИЕ ПЕРЕВАЛЫ

Ненастье-то отступило! Просвет. Солнце быстро обсушит... На трассе наконец вздохнут! — эти возгласы проступают сквозь многоголосье, в тесных комнатах треста — толчея. И не разберешь спервоначалу, кто приехал из области, из колонн, а кто — управленцы. Наехавшие строчат заявки, объяснения или отчеты за столами или пристроясь сбоку на подоконниках. Инженеры треста толкуют им свое. И сразу вникаешь в споры о нехватке техники, о том, что поджимают сроки, провода на трассу ЛЭП — 750 киловольт доставили, а вот грозозащитные устройства запаздывают, и еще неведомо когда их подвезут...

Но чаще из разных уголков опять несется:

— Нынче в Карпатах лучше сработаем!..

У треста «Югзапэлектросетьстрой» хозяйство громадное: под 40 миллионов рублей годовой план, в каждой из семи колонн 400—500 рабочих, механиков, инженеров, они строят линии напряжением в 110, 220, 330 киловольт по всей Украине, в Молдавии, а часто и по самым разным краям страны. Но ударная стройка в тот год, когда мы были там, и на следующий — линия сверхвысокого напряжения до западной границы СССР и трансформаторная подстанция в Ходорове.

Одним из первых в тресте всерьез прикоснулся к этой ЛЭП инженер Коробов — тогда он был главным технологом треста. Он, как принято говорить, выносил проект линии на натуру. С Коробовым — и первый наш подробный разговор. Сперва в его кабинете. Но тут ежеминутно перебивали нас: то сотрудники с бумагами, безотлагательными делами, то звонил телефон. Условились: вечером вместе побродить по городу.

Вечер выдался ветреный, не то что на больших бульварах — а Львов щедро обсажен тополями, липами,— но даже в проулках сухая листва закручивалась столбиками и чуть-чуть вызванивала. Коробов, простоволосый, сухонький, в светлом плаще казался совсем юным, шагал быстро, с легкостью привычного ходока. По тому, как он поглядывал, поправляя на переносице очки, себе под ноги и, наверно, неосознанно даже улыбался, чувствовалось: он явно получает удовольствие оттого, что можно, не сбавляя взятого темпа, шагать и шагать вот по этой брусчатой мостовой. Лишь изредка замедлял шаг, чтоб пояснить только:

— Тут несколько столетий была улочка, где селились традиционно армяне...

Мы уже ранним утром и сами побывали здесь, насмотрелись на дома, старую церковь и сквозь запертые ажурные ворота на то, как испытывает терпение распятого Христа недоверчивый Фома,— скульптура во дворике была невелика размером, но в ней наивно-откровенно, с подкупающей силой было выражено удивление и страдание одного и пытливость другого.

Улочки вышли к центру, к площади Адама Мицкевича, а Коробов говорил о том, что при всей дружной работе с проектировщиками часто жалеешь, как же разъединены организационно строители и проектанты, при иной структуре многое можно было бы вырешить заранее, не тратя столько времени, сил и средств.

— Мы узнали в 1971 году, что линию будут строить, а в 1975 году в конце осени возникла необходимость пройти

с проектировщиками по будущей трассе. Дело вроде б привычное, иной раз несколько суток подряд, в дождь и вёдро, едва забрезжит рассвет, уже вышагиваем... Но 29 октября — признаться, я все помню по дням — прошел сильный ураган. Даже весь Львов занесло снегом, а перед тем успело залить нас дождями. У Карпат в непогоду крутой нрав! Там, в иных местах, где образуются узкие ходы для ветров, средь высот, лесов, такую силищу набирают эти ветра — ураганную! Потом, после тех трех дней круговерти, там все завалило снежищем. Как раз тут и угодили из Харькова наши изыскатели, и надо идти с ними выбирать окончательный вариант трассы: время уже подгоняло. Оделись мы потеплее: валенки, кожушки, ушанки. Прихватили лопаты. Выглядели мы как заправские дворники. И махнули за Казакивку, за Болехов, под самые горы,— вы в тех местах обязательно побывайте. Летом там уже прошли изыскатели, геодезисты «простреляли» будущую трассу теодолитом, предложили три варианта, а нам выбирать один, но протопать-то надо сперва опять все три, вверх и вниз по горам. Горы — разбухшие, не узнать даже знакомых мест. Из сугробов — случалось — вытаскивали друг друга за ворот, оставляя в снегу валенки. Но лишь выберешься на ветровое какое местечко, где можно отряхнуться от снега, обменяться мнениями,— там пробирает холод. Грелись чайком из термосов. День короткий. В сумерки, едва спускались вниз, к машине, лишь заберешься в ее тепло — и клюешь носом: одолевал сон... Первый вариант был такой: тянуть трассу в обход Магуры, горы высотой в тысячу триста метров. Второй — на прямую идти, пересечь ее. Третий — идти зигзагом по склону в обход вершин. Было нас шестеро: четыре изыскателя, проектировщики, и нас от треста двое, я и Федусив, наш главный технолог, теперь главный инженер 34-й мехколонны...

Быть может, оттого, что мысленно мы сами переносились в завьюженные горы, а мимо нас тем временем сновали автобусы, погромыхивали львовские трамваи, все, о чем говорил наш собеседник, приобретало особую остроту. И уже вокруг звучала вперебой речь украинская, русская, польская, венгерская, и старина подмигивала то затейливым фонариком, то лепной странной физиономией, украсившей фасад стародавнего дома.

— Прикинув все «про» и «контра», окончательно остановились на решении: эту часть трассы повести по склонам горы Магуры.— Тут Коробов усмехнулся.— Когда вернулись

во Львов, один из харьковчан, человек еще молодой, но вроде привыкший ко всякому, сказал мне: «Будто не несколько дней, а недель проползали мы. И не в Карпатах, а где-нибудь на Памире...» Но в мае-то мы с ними и еще с представителями всех трех наших колонн, которым предстояло тянуть тут трассу, опять забрались в те же места, опять пешком все шестьдесят пять километров, да еще и с пристрастием оглядывая теперь уже каждые метров сто: где какие фундаменты заложить, где подъездные пути, где взрывные работы... И вот тут начались споры. В проекте линии были предусмотрены буронабивные фундаменты глубиной в 10—15 метров. Что говорить, по идее — вариант лучший: не разрушаются склоны гор, сами фундаменты устойчивы. Мы отнеслись к этому со всей серьезностью. Сделали испытание. Выбрали площадку... Но вы-то знаете, как оно случается в строительстве: начали мы сами, а завершили эксперимент аж через четыре с половиной месяца специалисты из «Укрфундаментспецстроя» — названьице, язык сломаешь!.. Почему так долго? Вот в том и дело. Сперва-то шел обычный грунт, а после шести-семи метров — базальт, граниты. Черпалочкой вынимали скалу — не поверите! — за смену по 8—15 сантиметров. Ни мы сами, трест, ни даже министерство техникой для таких работ не оснащены вовсе. Да и сама технология монолитного бетонирования в горных условиях требует иного. Ведь бетон-то везти с железной дороги, потом поднимать на санях, а готовить его внизу, у подошвы горы,— как тут обеспечить непрерывность заливки? При испытании получился слоеный пирог — между первой и второй заливкой возникала недопустимая пауза, иногда до часу. Конечно ж, такой фундамент серьезной нагрузки не выдержит. Мало того, когда просчитали всё, получилось: с такими темпами вместо 1978 года — срок, поставленный нам для завершения стройки,— мы лишь к 1982 году не то что ЛЭП сдадим, а только освоим нулевой цикл — всё эти буронабивные фундаменты! И к тому же после того, как покрутились мы вокруг каждого пикета, установили точно, каковы подъезды, геологические данные, возможности применения сборного железобетона, выяснилось: стоимость буронабивных фундаментов занижена в проекте в два раза, харьковчане прикидывали это все приблизительно... Ну дебаты поднялись и в головном институте «Энергосетьпроект», и в министерстве. Толковали: был, мол, удачный опыт на трассе Симферополь — Ялта, специалисты из министерства побывали и в Венгрии, и в ГДР, и в США и, наглядевшись там всякого

справедливо уверовали в добротность буронабивных фундаментов. Получалось: одни мы, трест,— консерваторы, а остальные — сплошь прогрессисты! Но, может, это-то и самое опасное в любом деле: когда, искренне стремясь к прогрессу, забегают как бы вперед него, свои желания выдавая за уже осуществленные дела. У вас, очеркистов, такого не случается?.. Чего нам только не обещали: и трактора сверхсильные — с буровым оборудованием и прочими причиндалами, и обеспечить каждый пикет электроэнергией, и помощь неукоснительную «Фундаментспецстроя», много еще чего! Но ведь из обещаний шубы не сошьешь, и мы, наученные уже, намертво стояли на своем: уж лучше прослыть вроде б консерватором, чем... Да вот увидите сами на трассе: из обещанной техники мало что по сей день нам перепало, хотя строительство ЛЭП-750 идет к концу.— Коробов помолчал и вдруг добавил, поежив плечами: — А уже вот-вот холода на трассе начнутся...

Да и здесь-то, в городе, ветер вдруг стал зябким. За одним из поворотов встало перед нами освещенное неоновым светом кафе, пустое в этот час, и мы зашли погреться чайком.

Юрий Александрович с бережностью принял из рук официантки чашку, держал ее в горсти, отогревая пальцы, и пил неторопливо, как бы растягивая удовольствие. Невольно подумалось: уж кто-кто, а такие вот люди, намытарившиеся, нахолодавшиеся вдосталь за жизнь, невольно дорожат и самым неприхотливым удовольствием. Впрочем, о своих собственных передрягах на трассах ЛЭП нам-то он ничего не рассказывал, сколько мы ни пытались его расспросить об этом. И лишь позже узнали о некоторых из них со слов сослуживцев Коробова.

Как-то раз, зимой, Коробов с изыскателями лишь поздним вечером спустился с гор к дороге, где ждал их грузовичок с фанерной будкой в кузове, не освещенной изнутри. Забрались в нее, сели вовсе без сил, поехали, и не заметили спутники Коробова, что он-то поотстал, запурхавшись в сугробах. Так и пришлось ему пешком добираться в ночи до рейсового автобуса, во Львов он попал к утру и «замял» все, никого не виня в такой вот рассеянности.

А вот другой случай. «Ну не чудак ли Коробов!» — прибавляли рассказчики. Где-то под Иркутском был он начальником участка, и когда рабочие не рискнули в лютый мороз, под ветром укреплять провода, сам забрался в люльку, все сделал, что надобно, но тут заклинило трос, и повисла

люлька с Коробовым над рекой, раскачиваясь под ветром; несколько часов он там провисел, вроде бы что-то случилось с руками, обморозил будто. Но опять, когда удалось спустить его на землю, растереть, отогреть, ни в какие объяснения ни с кем не пускался... А третий раз — «не бог, а черт троицу любит», говорили нам,— уже в Молдавии он, старший инженер, вкалывал не по чину вместе с бригадой, тянувшей провода, и вдруг, когда он остался наверху один, по ошибке включили пробный ток. Ох и шибануло его — чудом остался жив!..

Потом, в следующую встречу, когда мы начнем расспрашивать его об этих историях, Коробов оборвет разговор:

— Обыкновенные осечки в нашем деле, любой припомнит такое же! — и поведет речь о другом.

Но пока-то он рассказывал о выносе трассы ЛЭП-750 на натуру.

— Всего и не перечислить, сколько изменений родилось в проекте, когда мы так вот излазили всю трассу. Удалось нам сократить число опор. Сперва запланировано было — вернее скажем, нам запланировали — 312 опор. Мы доказали, что обойдемся 284-мя — это только на ближних ко Львову участках. А по всей трассе до госграницы из 610 оставили 566. Конечно, скоро только сказка сказывается: уйму расчетов пришлось проделать и выдержать множество споров, но пошли мы на бо́льшие пролеты, а опору ставили потяжелей, по технологии, трудоемкости, материалам это дало серьезную экономию: шутка ли — «выкинуть» 44 опоры!.. Уже на равнине, в поймах Днестра, Сукеля, возник у нас опять конфликт с проектировщиками. Тут пришлось нам проделать в полном смысле слова работу научную: подняли материалы наблюдений за паводками Днестра, Сукеля за все последние шестьдесят лет, доказали — половодья здесь несут с гор много камней, и пойменным фундаментам нужна особая прочность, те, что были запроектированы, наверняка поразмыло бы. Нет смысла вдаваться в технические подробности, но стоит сказать: из восемнадцати таких фундаментов девять нам пришлось проектировать заново.

Коробов попросил себе еще чая, опять пил не торопясь, подождал, пока мы все эти цифры запишем в блокноты. Только тогда заговорил вновь:

— Еще рационализация треста: мы доказали, и не впервой, что возможен пролет меж опорами в семьсот метров, при этом устанавливалась опора большей высоты — в сорок метров. С нею нам удалось прыгнуть с горушки на другую, а под

нами, внизу, осталась железная дорога и линия связи на Венгрию. Тут и экономия на изоляторах — на три с половиной тысячи штук меньше, и удобство для эксплуатационников, много плюсов. А все равно споров было!.. И знаете,— тут он усмехнулся грустно,— даже когда побеждаешь в таких вот спорах, радости нет: уж очень порой великоват разрыв между проектировщиками и строителями — совершенно разная методология организации будущих работ, разное знание натуры и своих возможностей, да и, если правду говорить, ответственность разная...

Прощаясь, он извинился:

— Хотел очень вас затащить к себе, но я не успел привести дом в порядок. Сама-то жена и работает, и возится с двумя нашими сыновьями, с ними хлопот не оберешься. А уж покупки, пол натереть, то се — это на мне, но не «развернулся» я ни вчера вечером, ни утром... Вот вернетесь из Закарпатья, тогда-то уж затащу вас к себе непременно!..

Ранним утром мы ехали к Болехову, на горный участок трассы ЛЭП-750. И чуть не от самого Львова провожали нас опоры линий электропередачи, разные — напряжением в 110, 220 и 400 киловольт. Уже трижды перемахивал трест «Югзапэлектросетьстрой» через Карпаты со своими высоковольтками. Опоры то вышагивали к самой дороге и казались тогда разлапыми, а то, стоя на склонах дальних вершин, будто выныривали в самом небе, и тогда появлялось в них нечто готическое.

Начинался трест в пятьдесят втором году — с монтажного участка «Донбассэлектросетьстроя», было в нем тогда всего сто двадцать человек работающих, и даже старенький бульдозер казался им чуть не чудом техники — еще сказывалась послевоенная разруха. Восстанавливали Львовскую электростанцию, тянули линии... Через несколько лет участок преобразовался в 34-ю колонну. В ней уже создали отличные мастерские, собственный завод железобетонных конструкций в городе Стрие, обзавелись немалым парком механизмов — одних тракторов больше сотни. Кстати сказать, во всем тресте их теперь меньше, хотя объемы работ неизмеримо выросли. Да и поизносились с тех пор механизмы, большинство уж, конечно, списали, но есть еще у монтажников трактора, которые служат им и по десять, и по пятнадцать лет... А в конце 60-х — начале 70-х годов, когда началась централизация заводов строительной индустрии, трест и вовсе лишился своей базы,

хотя потребности в ней у сетевиков с тех пор намного выросли.

Создавал участок, а потом 34-ю колонну и был первым управляющим треста — трест возник в 1964 году — один и тот же человек: Лев Александрович Спивак. Он, когда мы попали во Львов, был главным инженером треста. К сожалению, с самим Спиваком нам ни о чем не удалось поговорить подробно: осень — самая трудная пора для лэповцев, а тут еще часть механизмов, рабочих треста по распоряжению из Москвы временно перебросили на Киевщину, в помощь тамошним монтажникам, и Спивак чуть не все время свое проводил в те месяцы в дорогах между Львовом, Киевом — на строительствах. Так уж повелось считать — об этом нам потом толковали и инженеры главка в Москве — Львовский-то трест, сколько ни урезай его с механизмами, сколько ни отбирай созданные им же заводы стройиндустрии, ни гоняй бригады его по другим весям и городам,— свою задачу выполнит все равно.

Как бы в доказательство этому теперь на первом же перевале шофер притормозил машину: вдали, над кронами буков высверкнули в небе две первые опоры ЛЭП-750. Они стояли еще без проводов, изоляторов и оттого, наверно, казались даже выше, мощнее, чем были на самом деле. Но шофер-то хотел нам показать иное — высоченный толстоствольный дуб близ дороги, на нем укреплена была еще в старину памятная доска: более ста лет назад — в 1852 году — под дубом этим со своей свитой обедал император Франц-Иосиф. Посмеявшись, поехали дальше и, не заезжая в Болехов, свернули на площадку, где обосновался участок лэповцев.

Полукругом стояли вагончики, одни — жилые, в других — красный уголок с телевизором, столовая, склад... Электричество, обогреватели, умывальники. Но и теснота — двоим разойтись в вагончике можно только пробираясь бочком, и нет душевой, помыться можно только у умывальника, и это после того, как день напролет промаешься под открытым небом, в дождь ли, в грязь ли, в снег... И так — долгие месяцы безвылазно.

Полвагончика занимает «кабинет» начальника участка. За столом сидел главный механик Павловский, круглолицый, коренастенький, всем обличьем смахивает он на артиста Леонова. Но сейчас в глазах его ярость, надрывно кричит, судорожно стискивая левой рукой телефонную трубку, а правой чертит немыслимые зигзаги чернильным карандашом по видавшему и не такие виды, обшарпанному канцелярскому столу:

— Срочно, немедля пришлите электрика! Вырубили напряжение!.. И нет ни капли масла, полетела шестерня у бульдозера! — Он надрывно повторяет все это туда, в трубку, за которой — Львов и заместитель начальника 34-й мехколонны. Шваркнул трубкой и — нам:

— Вот так и бьешься лбом о расстояния, вымаливаешь насущное! Доле часу никто слова не держит! — Но, поостыв немного, сам же себя и спрашивает вроде б с недоумением: — А как им вывернуться, когда они сами во всем нуждаются, без чего на стройке дыхнуть нельзя?..

Знакомимся, и он уже с усмешкою говорит:

— Мне бы сейчас электрика, а не вас. Небось не напишете, как кукуем без запчастей, половина механизмов на приколе, истрепанные, старьем-берьем, а?.. Ладно, напишете или нет, а с дороги первым делом накормить вас надо. Пошли! Девчонки в столовой расстараются и не в урочный час...

Так он и дальше одновременно ворчал: «Бифштекс на две трети из хлеба, макароны обрыдли всем!»,— но вроде бы кое-чем и похвалялся: чистенько в столовой, всегда есть свежее молоко, а уж чай варят фирменный, «лэповский»... В отведенной нам половине вагончика тоже все было прибрано аккуратно: по-солдатски, «конвертом» застелены койки, на столике — электрочайник, две фаянсовые цветастые чашки, над умывальником — рушник, рядом электрокамин.

Монтажники вернулись с трассы затемно, и вскоре к нам в дверь постучали. Часом прежде мы просили у начальника участка, чтоб пришел к нам бригадир Алексей Андреевич Багрий, один из первооснователей треста, но нас предупредили: прийти-то он придет, а вот словечко из него — не выжать. И даже рассказывали анекдот-быль: однажды из Львова на дальний горный участок к Багрию специально, чтоб сфотографировать его и взять репортаж, добрались на вертолете двое корреспондентов, а Багрий, предупрежденный о том, как только завис вертолет над лесом, крикнул своим бригадникам: «Скажите, у меня живот заболел!» — и сам стремглав в лес и полчаса или час даже отсиживался где-то за деревьями, пока вертолет не взмыл опять кверху, благо во времени корреспонденты были ограничены.

И мы почему-то представляли себе: войдет этакий длинный, тощий аскет, угрюмый, черноволосый. А вошел среднего роста человек, плотный, лысеющий, белобрысый, с румянцем во всю щеку. И, увидав нашу растерянность, сам же и заговорил первым:

— Слышал от начальника участка Бережного, были вы в Венгрии, на строительстве нашей же трассы ЛЭП-750, и очень интересуюсь, с какою же техникой ставят они опоры и тянут провода...

Пришлось рассказывать нам. А «молчальник» Багрий внимательно слушал, устроившись поудобней: руки упер в колени, чуть растопыренные пальцы были припухшими и красноватыми. А выслушав ответ, подбрасывал новые и новые вопросы:

— А развозят ли там рабочих по домам или вот кантуются как у нас?.. И на каких же машинах?.. А ежели на сборке орудуют они сваркой, а не крутят, как мы, болты, то как же потом эксплуатационникам быть, на ремонте,— а вдруг какую-то часть конструкции заменить надо?.. Ну а ежели оцинковка, а не покраска, то как же сварочные швы заделывать? — и потом подбил бабки: — Жаль, мы тут совсем рядышком, а не имеем возможности лично понаблюдать, как они работают. Не митинги чтоб и застолья, а обменяться бы каждый своим. Думаю, всем в нашей бригаде на пользу бы вышло! — Он так и сказал: не «пошло бы», а более действенно — «вышло».

Но теперь уж и мы имели право спрашивать. Багрий чуть прищурил светлые небольшие глаза, и под оголенным светом лампочки зазолотились его рыжеватые ресницы, проговорил:

— Без своего дела жизни не вижу!..— Но прозвучали эти слова вовсе не торжественно, а, пожалуй, с раздумьем, и Багрий лишь после паузы, выверив, должно быть, еще раз мысленно что-то про себя, продолжил:— Вроде б мы кочующие цыгане, только без табора и семей. Трасса тебе — радость и тревога, все определяется ею. Даже и в памяти как жизнь мерим? У кого-то сын родился, когда тянули первую высоковольтку к чехам; другому квартиру дали, когда вязли в болотах под Ивановом, первая седина — на такой-то горе; помнишь точно, какой осклизлый был бок у этой горы да крутой, трактору не подняться; точно помнишь, как нянчили там на руках какую-нибудь металлическую дуреху и чуть ли не от каких корневищ избавлялись,— вот такими вешками и обставлена память что у меня, что у других... Поэтому как рассказать о себе? Ну если только по датам.— Тут голос его поскучнел.— Сам — с тридцать второго года. Здесь, во Львове,— с пятьдесят пятого. Значит, двадцать три, полжизни, так? — И вроде б удивился: — Надо ж!.. Побросало за это время... Жена за кочевья сперва ругала, а теперь притерпелась. Ведь оно как: под тем же Ивановом год, считай, про-

трубили, с небольшими перерывами — год, а дома не бывали по два с половиной месяца. Ничего. Как у нас говорят — «як у поле обтягнулся», привык,— вдруг улыбнувшись, пошутил он и еще добавил:— С каждой новой трассой и все иное. Да что там! Даже и соседние опоры ставишь друг с дружкой не схоже. Тем-то и хороша работа наша, что все время надо доискиваться до чего-то нового для себя. Но это уж закваска такая у всех у нас, кто начинал трубить вместе со Спиваком Львом Александровичем: он-то, Спивак, всегда подталкивал каждого к самостоятельности. И вот теперь возьмите: к примеру, начальник участка наш по подвеске проводов Йозеф Качур имеет собственные изобретения, Гудзий — тот даже и книжку не одну написал, и это по вагончикам-то скитаясь...

То ли от тепла, то ли от непривычно длинного для себя рассказа Багрий разрумянился еще больше, глаза поблескивали, незаметно распрямился, и явно не в тягость был ему такой разговор. Но, словно поймав себя на этом, он вдруг замолчал.

— А бригадиром давно, Алексей Андреевич?

— Да лет пятнадцать. Восемь человек нас, четыре механизма: трактора да один новый бульдозер. Конечно, и автомашина. Но вы же собирались, я слышал, завтра к нам на пикет?.. Вот всех и увидите: и людей, и технику. Что рассказывать? — Но все же не удержался и еще добавил, улыбнувшись смущенно: — Вчера опору ставили, сильно качало. Хоть и лес кругом, деревья высокие — буки, сосна, но все едино ветра в Карпатах — силачи! Тем более забрались мы на такой сильный косогор! — Багрий, видно, питал пристрастие к словечку «сильный».— Подхода почти нет. Трактора и те прут кверху с трудом... Ну увидите!

И мы уж больше не стали его ни о чем спрашивать, зная, что подниматься ему завтра чуть свет. Багрий встал, попрощался. Но, уже на пороге стоя, счел нужным сказать:

— На равнине, конечно, иное, там на опору хватает двух дней. А тут, тем более если угловую,— пять дней, быстрей не управишься. Пока сборщики площадку сделают, пока расчистишь дороги для тракторов — вот тогда только и *начинается!* — Слово это он произнес врастяжку, как бы курсивом. И опять смутившись, оборвал себя: — Ну увидите!..

Едва вышел от нас Багрий, появился Филипыч — так зовут все прораба Николая Филипповича Ульянова. Кивнул энергично, оглядел чуть насмешливо, сел, закинув ногу за но-

гу. Нос орлиный, лицо бугристое, обветренное, почему-то подумалось — моряцкое, смахивал он на ребят из морской пехоты времен Отечественной. Потом узнали: обморозил лицо в лютую военную зиму, а был еще пареньком, только что сорвавшимся со школьной скамьи. Узнали тоже не просто: через несколько дней мы вместе возвращались во Львов — Ульянов должен был заглянуть домой, и вот тогда-то трестовский всезнающий шофер Леня упрекнул Ульянова за скрытность: как же это, мол, кавалер трех солдатских орденов Славы и о том — молчок?.. Ульянов еще посомневался:

— А не архив ли — это прошлое? — Но все ж пришлось ему рассказать: — С десятого класса угодил. Почти все школьные дружки — из подмосковного Дмитрова мы — так и остались по разным землям. Вернее — в землях. Да, третьего февраля сорок третьего года весь класс ушел в пулеметное училище, за полгода хотели из нас офицеров испечь, но уже вскоре рассортировали кого куда. Я к десантникам попал. Намеревались в трудный момент под Киев бросить, уже в самолетах сидели, да вдруг отставили... А двадцать второго июня сорок четвертого года — на Карельский фронт, под Лодейное поле, близ Олонца. И сразу — в бой. Как там и что, говорит цифирька: из роты нас осталось шесть человек — пехота ж, а я — сержант уже, командовал отделением. Тут Финляндия вышла из войны, и нас — в Камни, на переформировку, а оттуда — под озеро Балатон. Там круто пришлось!..

Тут мы чуть не перебили его: стоп, Филипыч! В те дни мог бы там встретиться и с нашим нынешним другом Ласло Матиашем, который живет теперь в Рече, а ведь Печ — побратим Львова... И вот линию-то тянет Филипыч как раз в те места: чуть южней Балатона — Альбертирша...

И опять, и опять Филипыч называет места нам знакомые: Кечкемет, там, на центральной городской площади, над фонтаном, видели мы скульптуру грека Макриса — вольно летящие женские фигуры; Сегед, там пришлось одному из нас побывать в 1945-м... «Архив»! Кому-то, может, и так. Кому — история, память. А кому — и до сих пор будто б наяву является пережитое тогда. Пусть на минуту, но минута эта потом день пропарывает и в ночной сон лезет.

— Секешфехервар,— припоминает Филипыч.— Но вы знаете, венгры шли с немцами лишь до своей границы с Австрией, а потом — ша! Да и немец к тому времени ослабел. По леску расползался, а то и просто бежал... Кончил я войну под Брно. После служил еще до пятидесятого года. Итого, как говорят счетоводы, семь с половиной лет протрубил, и стало

мне от роду четверть века. Потом все ж пошел учиться — в Дмитровский строительный техникум, из него-то в пятьдесят девятом и направили меня во Львов...

Но это все он расскажет лишь через несколько дней, а пока мы только и знаем — Филипыч считается лучшим фундаментщиком в тресте. И вот пригладил свои и без того аккуратно зачесанные назад волосы, сел, поиграл кепчонкой в руках, а потом нахлобучил ее на колено и спросил насмешливо:

— Ну как с Багрием? Хорошо помолчали битый час, а?

— Хорошо поговорили, Филипыч.

— Нет, правда? — Он не поверил, кажется. А все-таки и еще съязвил: — А завтра, как положено, с утра пораньше укатите обратно во Львов?

И только узнав, что никуда не спешим мы, отмяк немного, даже сбросил кепчонку с колена, положил рядом, чтоб удобней было показывать жестами, как «пашут» те, кто занят нулевым циклом.

— Тут, в горах, наше первое дело — извощицкое. Прикиньте: фундаменты на этой ЛЭП по весу против прежних увеличились в восемь раз. Да и сами опоры на восемь метров повыше. Как все это затащить в поднебесье?.. А дожди? Чуть не любая тучка за вершины цепляется и топит наши ямы немилосердно, а они и без того, о-хо-хо, как не просто даются даже нам, не забалованным работягам! Подсчитать, сколько стоит горский,— так Филипыч произносит слово «горный»,— фундамент, тройная бухгалтерия потребуется. У меня две бригады фундаментщиков, в каждой по семь человек, да бригада лесников — их дело известное: обрабатывать лес, готовить подъездные дороги. Еще на нас — вывозка железобетона... Все, конечно, наперед разведывали, но многое обнаруживается тогда только, когда начинаешь сам бить яму. Попадешь на скалы, а на них тут по-разному: то и киркой грунт берешь, а то лишь взрывом, да еще и не одним: иной раз отпалишь, рвань эту, мороку чуть не руками зачистишь да и опять шпуры бьешь. Глубина котлована — до шести-семи метров, снизу-то вверх из него в небо как в дырку смотришь. Ладно! Что разводить турусы на колесах! — Филипыч делает широкий жест рукой, вроде б от сердца, но губы-то еще в иронической ухмылке.— Завтра поедем на пикет. Там такой подъем — увидите сами, как с трактора пот закаплет. Будем там наводить мосты-«каньесы» и как-то затягивать по крутизне плиты, железобетон. Договорились?

Рано утром мы взбираемся на грузовик, усаживаемся на скамью рядом с Ульяновым, за нами — ребята из бригады фундаментщиков. И вот уже позади наше, как выразился Филипыч, «становище», едем к пикету.

— Посмотрите,— взмах руки сильный у Ульянова,— как через эти горы проламываемся. Сколько уж фундаментов заложено, но и посейчас всякий раз вроде б на прорыв идем, а деревья да скалы свой заслон ставят...

Филипыч, наверно, и сам не замечает, как изменились теперь его интонации в разговоре с «заезжими»: нет вовсе прежней усмешки. Вдруг даже вспыхивает в его светлых глазах радость, опять — взмах руки:

— Смотрите! Яблонька-дикарка!

Наверно, то, что сидим рядом мы, кому все здесь впервой, заставляет и его наново приглядеться к дороге. А яблонька стоит у обочины. Все ветви неправдоподобно густо усыпаны гранатово окрашенными маленькими яблочками. Важно-медленно бредут мимо нее к лугам — к полонинам,— мы их еще не видим, но догадываемся по вдруг распахнувшемуся небу, что они вот-вот покажутся,— бредут коровы, черные, с белым брюхом, раскачивают на подъеме вверх-вниз комолыми головами. А позади нас — чей-то ломкий молодой голос:

— Ели с буками в цвет играют.

И вправду, справа вверх уходят темно-зеленые великаны, какие-то хвойно уверенные, а рядом — гладкоствольные, с тонкой корой, светло-зеленоватой, с муаровыми глазка́ми, буки. Их пышные кроны кажутся вычеканенными из розовато-медвяного живого металла.

— Гляди, облака к горам так и льнут! — опять знакомый голос за спиной. Филипыч ухмыляется:

— Что-то все при вас стали сильно чувствительными. К чему бы это?..

Многоярусная деревянная церковка — мимо. Поляница-луг, стога метров шесть высотой, под стрехой, навесом — мимо. Мост через порожистую белопенную речку Сукель — мимо... Но тут, приметив, должно быть, крутолобую, коричнево ощерившуюся скалу, Ульянов говорит:

— У нефтепроводцев — залюбуешься! — есть катапиллеры, новейшие бульдозеры. Был у нас случай невеселый, когда тянули ЛЭП-400. Под Свалявой — когда поедете в Закарпатье, можете увидеть это место — горная речка вышла из берегов, оползень по всему склону горы. Наш ветеранишка-многолетка, польский экскаватор засел в траншее, сполз — и баста! Три трактора кинулись на подмогу,

исходили всеми потрохами, пока не увязли сами. И вот тут подоспели нефтепроводцы со своим катапиллером. Не поверите — и трактора, и экскаватор вытащил из грязи, как котят! Ах, нам бы таких хоть парочку! — Ульянов даже прижмурился, так манит его одна мысль о владении новейшим механизмом.— Заволочил бы на любую гору, хоть бы и по отвесу, все, что надобно!.. Поймите верно: конечно, мы и со своим старьем управимся, но сколько же сил тратится попусту! Ведь тут с природой схождения — лоб в лоб! — каждодневные. И каждый раз она вроде б доказывает: коли полез ко мне со строительством таких электролиний, так и ставь технику мне по плечу — по горам, стихиям, горным рекам...

Ульянов примолк. У него характер да и разговор, как у реки, порожисты. Опять вспомнил:

— Доедем до пикета, я нарисую вам на бумаженции одну штуковину. Чтоб представили вы: и мы не лыком шиты были уже и до того, как замахнулись на ЛЭП-750. Когда строили ЛЭП-400 Лудуш — Лемешаны, в Румынию, надо было обхитрить норов такой реки, как Тиса. Там в пойме запроектировали сложнейший фундамент на опускных колодцах. Осуществить его — верьте не верьте! — дело выдающееся. И тут свечку надо ставить нашему Спиваку Льву Александровичу... А-а! — перебил он себя.— Если все-то припоминать, ему каждый из нас, что давно в Карпатах пашет, не одну свечу в благодарность ставить должен: мы все — его школы...

Село Тисово, остроконечные коньки крыш, один из домов чуть не весь закрыт кустами зрелой уже калины, улыбчиво выблеснули из ее листвы окна, а рядом приманчивая тень — мимо!.. Село Казакивка — говорят, сюда ссылали когда-то казаков,— мимо... Идут по краю дороги женщины, несут на голове сетки с хлебом, вышагивают медленно, плавно.

— И как исхитряются? — воскликнул Филипыч.— В первый раз как увидел, куда там театр-балет! Загляденье!

И вот уже на склоне горы впереди, среди огромных рыжих по осени дубов, буков, высверкнули на солнце опоры ЛЭП. Филипыч — уже без насмешки — пробросил:

— Вживаются наши трассы в горы, в лес. Уже и мы тут — не чужие.

Пожалуй, это стоило целой исповеди.

У подножия высотки мы выходим из машины, нас обгоняют рабочие. Накануне тут уже поработали лесорубы, прошел бульдозер. Вдоль просеки — грабы, ольха. Ветерок, как заметил Ульянов, «чуть шерстил листву». По крутому склону трактор, надрывно саднясь мотором, волок плиту весом в тон-

ну восемьсот килограммов. На одну лишь угловую опору таких надобно двенадцать штук.

Медленно, оскальзываясь по красноватой замеси,— после дождей тут все набухло,— Ульянов поднимается вверх, обок машины, перекрикивая ее шум, переговаривается с водителем. Трактор то буксует на месте, то рывками, зигзагами вползает на крутизну.

Шагаем и мы. Шаг вверх, на три — сползаем. Чужие огромные сапоги на нас, и килограммы глины на них.

На вершине, в глубоком котловане, сотрясаясь всем своим одряхлевшим телом, трудился желтый экскаватор. Видно было, как экскаваторщик, молодой парень, что-то приговаривает, дергая рычаги, явно подбадривая машину, будто одушевленное существо. Наверху рабочие лопатами отгребали землю в стороны.

Подошел Филипыч, достал из кармана блокнот, стал чертить в нем.

— Так вот, этот фундамент в пойме Тисы. Русло у нее блуждающее. По-нашему выражаясь, меандрирующее. Уходит порой на десять метров вбок, сушь и вода то и дело меняются местами, возникают рукава. Потому и решили ставить фундамент на опускных железобетонных колодцах, глубина — 24 метра, диаметр — 18. Смысл? Чтоб колодец-то пересек любые отметки грунтовых вод, соприкасающихся с речным руслом. С помощью грейферов выбирали грунт поначалу, заготовили железобетонный цилиндр с метровой толщиной стенок, на нижней стенке сделали острие, этакий металлический резак.— В блокноте появились цилиндр, резак.— Эту махину опустили, она своим весом промялась вниз, образовав первый ярус. Заполнили его щебнем, забетонировали, и так ярус за ярусом — на всю глубину. И уж на анкерных болтах установили опору. Тут сложно было соблюсти ювелирную точность, чтоб не случился какой перекос. Помудрить пришлось всяко!..

Пора уже было идти на пикет к Багрию. Ульянов обещал подойти туда чуть позднее. Дважды мы спускались с гор и дважды поднимались, пока не попали на площадку, где звено сборщиков делало так называемую расшивку секций опоры: уголки металлоконструкций наживляли на болты. Один из рабочих чуть поодаль подправлял краской гайки уже собранной секции. Он как раз кончил свое дело и вызвался нас проводить — высокий, совсем еще юный, в модной рубашке в веселую полоску, а руки по локоть — в пятнах краски.

Дима — так звали его — родом из Тисово, села, которое мы проехали утром. В семье у его матери мал мала меньше, потому он после обычной школы закончил специальную, электриков, и так попал в бригаду сборщиков на ЛЭП. Заработок — 180, стаж еще не велик, но интереса хватит на много лет вперед — так, во всяком случае, он думает сейчас и еще поясняет с непринужденностью, которая особенно подкупает, когда сочетается со скромностью:

— Я, между прочим, рук своих здесь не узнаю. Когда стоишь рядом с опытными рабочими, а в бригаде большинство таких, и крепишь детали одна к одной, стараясь в общий ритм попасть,— и сам не поймешь, откуда берется в руках такая быстрота и сноровка. Сам себя открываешь заново!.. И что еще замечательно: общий стиль тут от Багрия — никто голоса не повысит, не ругнет, если даже и оплошаешь когда. Одно тяжко,— вдруг сказал он,— видеть, как иногда попусту гибнет лес. Я ж тут вырос, пригляделся что к деревьям, к горам, что к характеру ветров. Тут северный ветер — такой вра́жина! Я еще совсем мальцом видел, как шурует он на каждой хребтине, что пониже соседней, или по узким лощинам, по каньонам речным,— ускоряясь, он валит не то что хилые деревца, а крепкие, дедовского возраста, лет за шестьдесят и за восемьдесят. Тут такое дело: когда лес стоит стеной, он вроде б грудью отталкивает ветра, а если хоть чуть проредить его, то и каждому деревцу приходится сражаться, выстаивать в одиночку — кто ж выстоит в одиночку! — Дима помотал головой, скривившись как от боли.— И вот вы представьте: кроме главной-то просеки, с тракторами-слабосилками, многотонными грузами да устройствами из бревен мы ж весь склон изъелозим. Еще и ливни потопные, промоины, а корни неглубоко у деревьев — скала: тут и малый ветер может стать дуроломным.

— Вам бы лесоводом стать, Дима, а не монтажником.

Он улыбнулся:

— Так ведь мы и все тут лесоводы, даже и по обязанности: обдерновку фундаментов делаем, даже и траву засеваем по склонам, много что еще, даже и не положенное нам. А у местных у всех любовь к лесу в крови — как иначе? Только иной раз без нужной техники тут в горах погубленное вылечить трудно...

Мы поднялись на очередную вершинку. Чуть ниже среди светлокожих буков вдруг замелькала кепчонка Ульянова. Дима приметил:

— Уже и встречают вас.

Ульянов нашел у вершины горы огромное, вывороченное из земли корневище.

— Вот вам и сиденье: пиши, рисуй, раскладывай свои блокноты.

Чуть ниже на седловине меж двумя взъемами была хорошо видна площадка, на которой монтировали опору. Опора — угловая, она из трех отдельно стоящих стоек, каждая похожа на букву «А». Две из них уже высились, серебристо поблескивая на солнце, третья распластанно лежала на площадке, к ней примеривались, натягивая тросы, трактор с краном и два других с навесными лебедками. Два тяговых механизма встали у основания стойки, а один ближе к ее верхнему углу, чтоб притормаживать во время подъема. На одной оси со стойкой — двадцатидвухметровая трубчатая стрела на шарнирах, связанная с нею такелажем, она-то противовесом и будет поднимать стойку.

А кругом медноголовые буки, меж стволов их бродили светло-зеленые отсветы. Солнце поджигало рыжую листву, ветерок ее вспенивал. Багрий с рабочими проверяли, как закреплены у стрелы «вожжи» — тяговый трос. Приметив нас, Алексей Андреевич быстро взобрался по склону. В том, как он, плотный, увесистый, легко поднимался, сказывалась сноровка ходока и верхолаза. Был он в выгоревшем комбинезоне, старой кепке, сдвинутой на затылок. И вырос над нами, закрыв на мгновение широкими плечами солнце. Сам же и заметив это, сказал:

— Солнце-то сильное! — Вот его опорное словцо, вместительное и выражавшее превосходную степень. И повторил: — Хорошо, что сильное, после таких-то дождей.— Все внизу показал нам, объяснил и посетовал: — Громоздкое наше хозяйство, столько земли зря выпашем! А ведь раньше ставили стойки мы с отличной машиной. Называлась — КЛЕП. Выпускал ее один ленинградский завод, который, не знаю уж почему, потом отобрали у нашего министерства и так и прикрыли производство КЛЕПов. Он — на гусеничном ходу, на базе стосильного трактора, с высокой стрелой-мачтой, которая — одна, без всяких там падающих этих клиньев, тракторов — справлялась со стойками, правда, если высота их не превышала двадцати шести метров. Но ведь теперь и таких нет у нас.— Он махнул рукой, отвернулся.— Ладно. Смотрите. Сейчас — *начинается!*..

Опять Багрий выделил это слово курсивом, произнеся чуть не по слогам. И, откинув голову назад, заскользил вниз по склону.

— Разоткровенничался Алексей! — удивился Ульянов.— Я и не помню его таким.

Тут у корневища нашего выюркнула синяя, с желтыми узорами ящерка, замерла. Филипыч ласково проговорил:

— Вот дурная! Куда ты лезешь? Беги!.. Тут в Карпатах такая жизнюга кругом кипит! У нас по весне в котловане какая-то неведомая мне пичуга пять яичек своих отложила. Даже гнездо путем не устроила. Так мы — по удаче ее большой, могли такую роскошь себе и ей дозволить — перенесли на несколько дней все работы по соседству, там и завершали фундамент, пока птаха в гнезде сидела. Успела все же вывести птенцов...

Открывался нам Ульянов сегодня совсем с неожиданной стороны.

А внизу кудлатый молодой парнишка уже крепил трос на верхней поперечине стойки, споро вязал петлю. Но вот Багрий легко присвистнул. Парень отпрыгнул в сторону. Трактора, взревев, начали выравнивать свои позиции. Выехал из-за деревьев бульдозер и пошел впереди них, откидывая ножом большие комья земли, случайное бревнышко,— расчищал дорогу, чтоб уж ничто не могло помешать в момент решающий. И наполнился лес гудом, запахом солярки, а все же и сквозь него слышно было, как тянет ветерок настоем прелого листа, влажного моха.

Багрий вытянул левую руку вверх. «Внимание!» — означал этот жест. Филипыч, волнуясь заметно, сорвал травинку, куснул, проговорил, на нас уж не глядя:

— Ну смотрите!.. Уверен: Багрий за весь подъем и словечка не обронит. Ну мастак!..

А у Багрия уже согнута в локте правая рука, и кисть ее легонько движется вправо, влево, вверх, вбок. Вроде он даже и головы не поворачивает, только поглядывает то на один трактор, то на другой, но каждый из трех трактористов точно угадывает, кому какой жест предназначен, и малыми маневрами расползаются на единственно верную позицию, натягивают троса.

Вдруг почудилось: внизу возникло невозможное напряжение, ведь многотонная махина только с виду, несмотря на свою сорокаметровую длину, кажется легкой. Тут и малейший просчет невозможен! Конечно ж, за ревом моторов не могли мы услышать, как гудят на ветру натянувшиеся вантины. Но были уверены: слышим. И мы трое невольно вскочили на ноги, сидеть стало вроде б и невозможно.

А у Багрия рука быстро и плавно пошла в сторону, взмах,

и взмыли, построжав, к вершинам буков, к небу тракторные голоса, и пошла, пошла в воздух, засеребрившись вдруг, стойка опоры. А основание ее упирается в горную площадку, в гнезда подножника с микронной точностью. И вот уже чертит острием своим стойка по залетному облачку, а внизу рабочие крепят болтами ее подножье, быстро закручивая гайки,— всё!..

Мы спустились бегом к Багрию. Лоб его был мокрым от пота. Он всего только и сказал:

— Сильно сработали ребята...

Йозефа Качура, одного из двух братьев, о которых нам говорил еще в Венгрии Ласло Матиаш, мы застали в управлении 34-й колонны, на окраине Львова, почти случайно. Он руководит подвеской проводов на ЛЭП-750 и сейчас спешил на трассу. На часок «одолжили» кабинет главного инженера колонны. Йозеф, подвижный, с густыми волнистыми волосами, проницательным взглядом блестящих глаз, выглядел совсем молодо. Но мы-то знали уже: он только в этом тресте работает больше двух десятков лет. Рассказывал — негромко и очень серьезно:

— По-моему, при подвеске проводов самое главное — не побоюсь непопулярного слова — аккуратность. Сверхвнимательность. Конечно, и привычка к высоте, но это уж само собой, коли мы числимся верхолазами. Деталь: перед соединением каждый провод моем бензином, зачищаем, смазываем вазелином — уход как за красавицей какой! Даже и растянуть провод по земле, прежде чем поднять его в воздух, непросто. Провод из множества жилок, ободрать верхний повив их — это ж потери энергии, беда для эксплуатационников. И ладно — тянуть на равнине, а в горах, по косогорам? С ним же понянчиться надо; нет, аккуратность,— повторил он, будто и себя убеждая,— прежде всего...

Звонил то и дело телефон. Качур на него — никакого внимания, ну просто будто и не было никаких надсадных звонков. Это не только вежливость, но еще и привычка: полностью сосредоточиваться на чем-то одном... Собственно, именно об этом он и толковал нам: плохо поставишь пустяшный шплинт — и полетит, чуть подует ветер, громадная гирлянда изоляторов; чуть не так установишь стальной сердечник, перекосишь — и запутаются при натяжке провода... Говорил он и об изобретениях своих друзей, в частности, начальника производственного отдела треста Василия Гудзия, которому

на БДНХ присудили серебряную медаль за то, что сумел разработать технологию подвески двух проводов в фазе на тех опорах, где были раньше однопроводные. Диктовал Качур цифры: насколько уменьшились при этом потери энергии при эксплуатации ЛЭП. Рисовал схемы: как, с помощью чего можно еще избавиться от «короны» — зрелище красивое, провода светятся в ночи голубовато, особенно в дождь, но для эксплуатационников-то это — одна из худших бед...

И ни словом не обмолвился, каково приходится монтажникам проводов горбатить на высоте птичьего полета в дождь ли, мокрищу, когда комбинезон или плащ на тебе становятся как бы жестяными, в снег ли, мороз, когда и сам на ветру застываешь словно сосулька, когда хороший хозяин и собаку на улицу не выгонит, а ты все равно должен передвигаться на тридцати-сорокаметровой высоте по проводам, не боясь оскользнуться, чтобы поставить между ними распорки, успеть, чтоб не закрутило ветром, не захлестнуло провода разных фаз, или сделать еще какую срочную работу, чтоб не выбиться из общего ритма, взятого монтажниками,— тут каждый зависит от всех и все от каждого. «Коли мы назвались верхолазами» — и всё, и больше ни слова о том, нечего, мол, обсуждать. Но опять и опять он возвращается к одному:

— Я еще о самой натяжке проводов хочу сказать. Поймите правильно: это не жалоба. Не в том дело, что и нам самим тяжко таскать барабаны с проводом по всем крутоярам, по бездорожью. Но ведь как ни берегись, мнется при том, обдирается провод, тащим мы его по земле, а будто вытягивают твои собственные жилы. И каждый раз так, сколько б десятилетий ты не отработал на монтаже — невозможно привыкнуть к такому! Семнадцать лет уже проектируют механизм, который бы позволил тащить провод с опоры на опору, не касаясь земли, в ленинградском научно-исследовательском институте. И никак не могут довести дело до ума! Сколько ж нам ждать? Еще семнадцать лет?.. За рубежом таким машинам уж поболе двух десятков лет, почему же не купить — вот как венгры сделали — лицензию на их производство? Кому, в какую дверь стучаться?

Он побледнел даже и долго еще ни о чем ином говорить не мог. Мы попытались перевести разговор на собственные его рационализации, которых у него было немало. Йозеф лишь отмахнулся поначалу:

— Пустяки! Стоит ли об этом! Так естественно, что каждый хороший специалист что-то свое привносит в работу. Вам

Багрий рассказывал о своих новшествах?.. А Ульянов?.. А Гудзий?..

Он рассказал об одном только: раньше на таких вот угловых опорах, какую — мы видели — монтировал Багрий, крепились провода к четвертой, специально монтируемой стойке, пусть не высокой — в шесть метров, но все равно надо было сделать для нее особый фундамент, затащить ее в горы, поднять на попа, закрепить; Йозеф Качур разработал свою систему крепления проводов — перекрестные тяги,— которая обходится без этой, дополнительной стойки... И опять начал толковать о строительстве опускного колодца в пойме Тисы, придумках Спивака, Гудзия. А после — о том, какая это радость для всех — переходить с линией через границу, к друзьям, как встречались они в районе Братово с румынами, близ Ужгорода — с чехами, у городка Белз — с поляками, эта линия шла из Добротвор к Замостью...

— К Замостью?! — невольно воскликнул кто-то из нас.

Тут же развернули мы карту. Да, то самое Замостье, откуда вылетал в свой трагический рейс Глеб Удинцев. То самое Замостье, близ которого мальчишкой партизанил в лесах другой нынешний океанолог, поляк Казимир Выпых. Йозеф, слушая нас, встал, в волнении прошелся по кабинету, воскликнул:

— А ведь не просто совпадение все это — закономерность!

...Не знаем, предупреждал ли о нашем приезде Йозеф своего брата, Василия, но как только в Мукачево мы позвонили ему из гостиницы, он пришел тут же. Худой, застенчивый. Но светлые глаза так же пытливы, как и у младшего брата. Счел должным тут же, еще на пороге стоя, предупредить:

— А вы знаете, что я уже давно — не начальник Мукачевской подстанции?

Знаем. Использовав формальный предлог, а в сущности, не желая больше выслушивать прямодушную критику Качура, руководство его предложило Василию Ивановичу переменить место работы, и он теперь — мастером у ремонтников на линиях электропередачи. Знаем всю эту досадную историю в подробностях, о которых здесь, пожалуй, не место рассказывать.

Но знаем и иное. Мукачевская трансформаторная подстанция первая у нас в стране специализировалась на связях с международными энергетическими системами. Без

опыта ее постройки, работы труднее было бы создавать и подстанции ЛЭП-750 у нас в Ходорове и в Альбертирше, в Венгрии. Причем вот что любопытно. Обычно, за редчайшими исключениями, на всех стройках самая нещадная война идет с «приемщиками» — дирекцией строящегося предприятия — и самими строителями. И взаимные характеристики от них можно услышать лишь самые нелестные. Большинство строителей вообще считают, что дирекция на стройке — институт, давным давно изживший себя: мол, ежели мне доверяют судьбы сотен и тысяч людей, технику, стоящую миллионы рублей, то почему же все, даже и самые пустяковые мои расходы в рубль, должен обязательно подтверждать кто-то еще завитушкой своего росчерка?! И наверно, есть свои резоны в таких рассуждениях. Василий Качур как раз и возглавлял такую дирекцию во время строительства Мукачевской подстанции, но ни одного худого слова о нем от строителей мы не слышали.

Мукачевскую подстанцию строили на болоте под началом все того же Спивака — в ту пору начальника мехколонны 34. Чтобы осушить его, били траншеи с уклоном, на глубину чуть меньше метра по всей площадке в 19 гектаров заложили тысячи дренажных гончарных труб, а все равно хлябь здесь была безвылазная. Грузы переволакивали тракторами на изогнутых стальных листах, их тут зовут «лодками», в иных местах — «пепой». Вода проникала в механизмы, летели подшипники, даже и песок оказался на площадке острым, как нож, резал резиновые сапоги насквозь.

И вот рассказывали: ливень ли, снег — Качур, худющий, молчаливый, с лицом чуть ли не святого, но напоминающий чем-то и аиста, ходил по месиву с таким видом, будто движется посуху, и всегда умудрялся быть подобранно-опрятным, брал на примету малейшую недоделку, просчет и говорил обо всем прямо, но никогда не повышал тона, не наскакивал со столь частой в таких ситуациях амбициозностью приемщика, а лишь упорно стоял на своем, дотошно доказывая справедливость претензий к строителям ли, к проектировщикам — ему было все равно, кто именно ошибся, лишь бы не пострадало общее дело. И никакая усталость не склоняла его уступить. Готов и сам был просидеть ночь над несовершенным проектом, чтоб к утру найти вариант лучший, и таких переделок по ходу строительства внес он десятки.

В первый вечер в новом для себя городе всегда жаль сидеть в гостинице, и мы с Качуром пошли бродить по Мука-

чево, вокруг двух старинных церквей с причудливыми очертаниями, у ратуши, потом по берегу Латорицы... Зашли во дворик старой усадьбы, сохранившейся в самом центре, теперь в ней размещалось какое-то учебное заведение, все окна были освещены, неслись оттуда молодые голоса. Присели на скамейку под тополями.

— Я и сам люблю всякую старину,— заметил Василий Иванович и после паузы добавил: — Только правдивую, неподдельную...

Он говорит не так стремительно, как Йозеф, брат, а постоянно обдумывая что-то про себя, подыскивая слова самые точные. Видно, и в этом сказывается добротная дотошность, присущая его характеру. Вновь и вновь, как бы кругами, разговор возвращался к подстанции.

— Увидите, какая она нарядная, удобная, на какой ухоженной площадке стоит, вроде б и не было никогда там трясины. И какие люди прекрасные подобрались!

«Подобрались» — будто бы сами собой... Но ведь он и подбирал их. И ни слова о том, что даже и после начала работы подстанции сами же эксплуатационники вели и многие отделочные работы на ней, всяко украшали фасад, площадку, приглашали школьников в помощь. Мы-то и напомнили об этом Качуру. Он ответил смущенно:

— У нас в Закарпатье традиция — любую хату изукрасить наособицу, со вкусом. А тут ведь не простая «хата»: как только пустили ток, зарядили к нам гости-коллеги — чехи, венгры, румыны — как же не расстараться?.. Тут ведь такое дело: гости — не праздные. Аппаратура, особенно измерительная, или реле защиты, автоматика должна быть единой для подстанций в разных странах, но в одних и тех же энергосистемах. Так что Мукачево наше просто обязано было стать неким эталоном во всех отношениях, это еще — и международная школа опыта, в которой все ученики были и преподавателями, привнося каждый свое, лучшее, что было в те годы не только у энергетиков социалистических стран, но и заимствованное, скажем, на Западе, только б лучшее и синхронное...

Назавтра мы увидели подстанцию. Здание выглядело будто только что отстроенным, в нем много света, цветов. Аппаратура из самых разных стран: телемеханика чешской фирмы «Тесла», счетные устройства из ФРГ, фирмы «Сименс», самописец рисовал на ленте изящный график, каждые пятнадцать минут передвигалась каретка, суммируя и отбивая цифру переданной по ЛЭП энергии,— все с точ-

ностью до минуты, до ватта; новый телесчетчик — единственный тогда экземпляр, выполненный кафедрой энергетики Львовского политехнического института в 1977 году, на нем горели цифры, показывающие мгновенный переток энергии, идущей на экспорт; программные электронные часы точно показывали время и переключали зоны учета. Увидели мы и комбинированные трансформаторы тока и напряжения — из ГДР, экономичные, надежные в эксплуатации... Осматривая все это, невольно думали: «Такое надо было не просто установить — освоить, обучить людей. Не так-то просто было это сделать Качуру, тем более что из тридцати человек, работавших на подстанции, кажется, ни одного приезжего, все местные, кончившие, как правило, техникум в Виноградово...» Кто-то из провожатых сказал нам о Качуре:

— Вначале он был здесь один, как Адам...

Было воскресенье. С подстанции, через речку Латорицу, по мосту ее и вдоль по высокому берегу пришли мы домой к Качуру. В маленькой квартирке по столам, подоконникам, полкам вроде б расхаживали крохотные фигурки из дерева — множество: обаятельные пингвины, грустные ослики, добродушные, присевшие на задние лапы медведи, а рядом с деловыми бумагами хозяина квартиры примостился тонконогий аист. Мы спрашивали, кто ж тот искусник, который так щедро одарил Качура своими поделками, и вдруг увидели: Василий Иванович покраснел, как мальчишка, опустил глаза. Ответил — после паузы:

— Когда ушел с подстанции, места себе не находил. Тогда и взялся за дерево, даже и не подозревая еще, сколько в нем прячется живого... Намотаешься за день на ремонте, кажется, рук не поднять! А возьмешь нож, и будто б новая какая-то жизнь проклевывается в ладонях. Так и пристрастился... Кстати, на меня глядя, лепит зверят и дочка, Катя...

Мы пили на кухне чай. Василий Иванович показывал схемы, фотографии подстанции. Расспрашивали: как же удалось ему так дружно работать со строителями? Он и об этом рассказывал с дотошной скрупулезностью:

— Начальником мехколонны был тогда Спивак, а он ведь только и умеет работать на совесть. И тут проявлял свою незаурядную изобретательность! Но, выполняя проект, порой и строители не замечали просчетов его составителей. К примеру, молниеотводы оказались смонтированными на низших порталах, а не на центральных, входных, более высоких. Средний провод вообще не входил в зону защиты. Подстанцию могли бы вывести из строя прямые удары мол-

нии. Вы не читали о катастрофе, недавно обрушившейся в грозу на нью-йоркскую энергосистему?.. По некоторым деталям судя — более подробных сведений у меня просто нет,— у них и случилось такая вот петрушка. Я все проверил: мехколонна в точности соблюла типовые чертежи. Но сколько же сил потребовалось, времени, чтобы доказать уважаемым проектировщикам их ошибку! — Качур и сейчас, при одном воспоминании об этом, хотя он вовсе не человек жеста, взялся за голову.— Говорильня! На самых разных уровнях!.. А установить дополнительные молниеотводы — всего-то смонтировать двухдюймовую трубу высотой в два с половиной метра. Потом, позже три человека выполнили всю работу за один день... Ну и сколько еще таких примеров. Причем многие недочеты проекта обнаружились уж после сдачи подстанции в эксплуатацию. Пришлось на ходу нам самим, без строителей переиначивать электродные котлы водяного отопления — за эту работу Спивак оформил и выплатил коллективу премию за рацпредложение. Да не за премии мы работали! — перебил он сам себя, помолчал, взял в руки деревянного аистенка, погладил его по спине, клюву. Аист смотрел на него глубоко врезанным в дерево косящим глазом, совсем не по-птичьи тревожным.

— Хватало сюрпризов! — И тут неожиданно улыбнулся Качур, резче обозначились добрые морщинки у его глаз.— Один из них случился в обстановке самой неожиданной. В шестьдесят втором году наши лэповцы состыковались с венгерскими. Ну представьте сами праздничную эту суматоху: митинг на границе, самодеятельный пир — прямо под небом столы накрыли, разговоры по душам, у нас же в Закарпатье многие знают венгерский. Кстати, и брат мой там был, Йозеф, ему и посейчас напомни тот день — глаза загораются! Ну а я-то, конечно, на новорожденной подстанции, вот-вот пустим ток. Праздничное с тревожным перемешалось, минуты тянутся, будто первого свидания ждешь. И вот — команда дежурного диспетчера «Львовэнерго»: «Включить ВВН-220 ЛЭП № 1». Врубили линию, первую эту двухсотдвадцатикиловольтку. Докладывает наш дежурный: «ВВН-220 ЛЭП № 1 включен!» Минута, две... Мы ждем. На границе, знаем, тоже ждут. От дежурного «Львовэнерго» — новая команда: включить ЛЭП № 2. И вдруг как резануло нас: смотрим — на табло одна из фаз не включилась. Увидел я ошалелые глаза своего товарища — дежурного у пульта. Странное чувство: в тот миг я как бы в трех местах оказался сразу, и людей вокруг, даже выражение лиц их представил — во

Львове, у центрального пульта, на границе — рядом с братом, ну и здесь у себя, конечно. Тут все секундно решалось. Поняв, где заело, бросился к месту повреждения, открыл крышку, перекинул вручную механическую блокировку, нажал на соленоид включения — сработало!.. Ни во Львове, ни на подстанции в Шайосегеде, ни на границе никто даже и не заметил короткой этой заминки...

Василий Иванович примолк, отпустил своего аиста на волю, поставил его на стол. Теперь свет из окна падал на резную фигурку так, будто и аист недоумевал, вот только словами высказать не мог: мол, как же это так — этакого специалиста и держать на ремонтных работах, ведь и посейчас сердце, душа его — там, на выпестованной им Мукачевской подстанции, а вот поди ж ты!..

В горах стоял такой туман, что, добравшись до Варецкого перевала, водитель нашей машины выключил мотор, долго вытирал платком мокрое от напряжения лицо и только потом смог произнести:

— Все! Приехали. Будете помнить Закарпатье.

И тут где-то рядом совсем, в нескольких шагах, но в белом мороке невидимая, проурчала и смолкла другая машина, клацнула дверца, и прямо к нам вышагнул широкоплечий, плотный человек. Мы узнали его, когда он приблизился чуть не впритык: Гудзий!..

Повезло нам невероятно. В тресте Василий Николаевич Гудзий командует производственным отделом: тут согласовывают проекты институтов, все просчитывают, находят свои варианты, более практичные, заменяя дефицитные материалы на более ходовые, составляют заявки на поставку конструкций, выбивают новые механизмы и обеспечивают ремонт старых — всего не перечислишь. И все это в комнатенке, где и яблоку негде упасть, и вокруг Гудзия там — всегда водоворот людей, не подступишься! Тем более что, кроме прямых своих обязанностей, он и ответственный в тресте за строительство ЛЭП-750 и нескольких других пусковых объектов. Мы еще в Москве раздобыли, прочли его работы о строительстве линий электропередачи механизированными колоннами треста, знаем его брошюру о ЛЭП-750, немало уж наслышаны были и о нем самом: из местных крестьян, и вот стал прекраснейшим инженером, незаурядным организатором... Но это ж все — общие слова! Но улучить у него хоть час свободный, чтоб расспросить самого, как оно все в его жизни было и сталось, мы уж отчаялись.

И на тебе — такая встреча!.. Гудзий смеется:

— Судьба!.. А коли уж угодили в плен к слепому туману и коли не против, приглашаю завтракать! — И повел нас к дорожному ресторанчику, зданьице которого замаячило перед нами, когда мы подошли к нему чуть не вплотную.

Он подвигал нам тарелки с творогом, горячей кашей, приговаривая:

— Удача нам, туман остался за дверями, нет у него власти сюда продраться. Ишь ведь давит! — Черты лица у Василия Николаевича крупные, но не резкие, полный рот складывается в мягкую улыбку.

Мы сидим у окна. Белесо-влажный мóрок бросает и сквозь него молочные отсветы на все вокруг. И наверно, поэтому выглядел Василий Николаевич бледным, а может, просто устал. Сказал:

— Признаюсь, долго и сам диву давался, как в беднейшем нашем Прикарпатье удалось мне из села прийти к такому, в сущности, универсальному инженерному делу, которым занят сейчас... Вы знаете, тут в былые-то времена с пренебрежением относились к коренному украинскому населению, даже и язык наш считался негожим для тех, кто на Львовщине пановал. Могу рассказать нечто вроде исторического анекдота, но то было на самом деле: дед мой, селянин, вместе с другими крестьянами-ходоками отправился в Вену, и добились упрямые мужики немыслимого — лично «цезарю», императору Францу-Иосифу вручили челобитную о том, чтоб хотя бы в одном селе, в одной школе ввели преподавание на родном нам, украинском языке... А родом я из никому не ведомого Пидгорья, бывшего Станиславского воеводства. Отец занимался извозом леса. Помню, мальчонкой ужасно жалел я, когда резали бук: все казалось, по живому пилят. Собирали вместе подвод пятнадцать и тащились на станцию. И еще тогда с обозами исходил я места, которые потом отшагал от Бурштынской ГРЭС и к границе, и еще, и еще, сотни километров по будущим трассам.

У деда — он прирабатывал на ремонте дорог — мечта была: выучить меня и отдать в духовную семинарию, таскал малесеньким хлопцем в церковь, знал я всякие молитвы, пел. Теперь нравятся больше наши народные песни, а тогда гордился: священник читает что-то торжественное, а я в хоре ему тихо ответствую. Но подрос и попал в частную гимназию в Рогатине. Педагоги там были хорошие, хотя и они, бедолаги, нищенствовали. Но обучали и греческому, и латыни, на немецком ставили спектакль по шиллеровскому «Виль-

гельму Теллю». Меж тем обстановка в крае сложилась, прямо сказать, драматическая. Вы знаете: числились мы за панской Польшей, и всяко подогревалась, даже насаждалась среди простого люда национальная вражда. Она и позднее определила судьбу многих моих однокашников: сгибло большинство ни за что ни про что в этих сварах!.. Но это — потом, позже... Не устали слушать?

Гудзий помолчал. Туман за окном вроде еще гуще стал, и казалось, что сейчас вечер. С соседних столиков доносились до нас голоса застрявших на перевале водителей и командировочных, туристов и просто проезжих. Мы были тут как на острове, отгороженном от мира белой стеной.

— Я-то, получив среднее образование,— заговорил опять Гудзий,— уже бредил одним: электрифицировать слепой свой край. Но в политехнический институт во Львове мне, как украинцу, вход был заказан. Потому, наверно, в тридцать девятом мчался я босиком навстречу советским войскам. Как сейчас помню, накормили меня солдаты горячими щами с мясом, дали с собою ворох газет на украинском и запас сухарей, по тем временам — целое богатство! А было мне тогда семнадцать лет. И тут же махнул я во Львов. Поступил на первый курс института. Учиться было счастьем. Стал я и секретарем комсомольской организации. Но многолетняя национальная вражда, насаждавшаяся у нас, дала страшноватые всходы: малая осведомленность, стремление к самоутверждению любой ценой и многое иное породило жестокие столкновения среди молодежи. Орудовали террористические банды, приходилось носить с собой оружие, ходить с оглядкой. С начала тридцатых годов возникло подполье Бандеры. Созданное против поляков, оно стало действовать против Советов.

Когда гитлеровцы вошли во Львов, среди множества их кровавых массовых расправ памятна мне чудовищная казнь ученых, профессоров Львова: их согнали почти в самом центре города во двор тюрьмы и там убили... Даже мне, скромному студенту, но комсомольскому активисту, оставаться в городе оказалось опасным. Я уехал в Рогатин, работал бухгалтером. А в сорок третьем, когда возобновились занятия в политехническом, вернулся. Теперь мы занимались раздельно — группы украинские, белорусские... По ложному обвинению меня схватило гестапо. Несколько месяцев тюрьмы, а потом Австрия, рабочий лагерь Клагенфурт. В Штирии мы бетонировали заграждения у дорог, рядом — граница с Югославией, и в сорок четвертом нас вызволили

югославские партизаны, действовавшие в Словении. Кого только не оказалось в отряде — французы, чехи, евреи, русские и мы, украинцы! И мне счастьем было слышать словенскую речь, близкую и понятную. Базировались мы близ Любляны, невдалеке от реки Дравы,— взрывали эшелоны с боеприпасами противника, вели бои с карателями. Словенские крестьяне помогали нам всем, чем могли... Ну вот. А после победы — через Белград, Одессу — домой!..

Гудзий умолк, потупился. Даже и пунктиром вспоминать то время было, наверное, нелегко для него. Тянул потихоньку чай. Вроде как Коробов несколько дней назад, держал стакан бережно и пил глоток за глотком — уж такая общая привычка, нам знакомая, но почему-то неизменно трогавшая. Дальше-то рассказывать ему стало проще.

— Восстанавливали Львовскую ГЭС. Я и слесарил, и монтажничал. Тут-то и скрестились наши пути со Спиваком. Он уже свое отвоевал, был награжден орденом боевого Красного Знамени. Размах его, честность и инженерная смекалка притягивали к нему людей. Ну и пошло, пошло!.. Львовская станция, линия передач. А я ухитрился закончить политехнический и еще один институт, заочно,— строительный. Не зря: иначе б не потянуть на строительстве Западноукраинской подстанции — это ж такая махина! А еще такое дело: под наши подстанции хозяева района выделяют земли, негодные для сельского хозяйства. Не отдавать же поля, с которых берут по тридцать центнеров пшеницы с га! Вот и толкают нас в болота. Вроде как в Мукачево. И тут — всего-то восемьдесят километров от Львова, метров шестьсот от Днестра, рядом, удобно как будто, а приехал я на Западноукраинскую впервые, взглянул: хлябь безвылазная на всех шестидесяти гектарах, отведенных нам! Чуть не в дрожь кинуло. Это сейчас легко вспоминать, когда проложили километры дренажных труб, подсыпали 160 тысяч кубиков гравия три тыщи железобетонных свай вколотили на глубину до пятнадцати метров,— сейчас все это может показаться простым. А тогда! А перед тем хлебнул на строительстве Винницкой подстанции. Там, как назло, в первое же лето зарядили дожди, с мая по август — беспросветные! Не матушкой, а мачехой обернулась природа к нам. Никакие резиновые сапоги не спасали, тонули механизмы. А меня бомбят телеграммами: мол, срыв графика прикрываю стихийным бедствием. Дошел до того — не поверите! — потребовал справку-«документ» с Винницкой метеостанции, как давно и обильно выпадают дожди. А все же прикатил ревизор.

8 Заказ 1098

Посмеялись. То ли от чая, тепла, то ли от воспоминаний раскраснелся Гудзий.

— Чего только не было в жизни!.. Помню, тянули ЛЭП не где-нибудь — в Центральной России, вроде б кругом обжитые места, а мы — в такую глухомань залезли, такой лес! И два месяца единственным развлечением было — услышать гудок поезда, который всего-то раз в сутки проходил на Воркуту, проверить по нему часы... Ну ладно, это все — к слову. Зато поезжайте теперь на Западноукраинскую: пятьдесят шесть порталов будут стоять там и каждый — пятьдесят пять метров высотой — загляденье. Тридцать шесть из них установил Багрий с бригадой еще в 1976 году!

Тут мы рассказали, как видели Багрия за работой.

— Ручаюсь! — перебил Гудзий.— Он даже не заикнулся о том, что еще в шестьдесят третьем награжден орденом Трудового Красного Знамени! Так?

— Так.

Меж тем захлопала входная дверь в ресторанчик. Туман за окном развалился комьями, они оседали к земле, редели, а из них поднимались кверху белесые тонкие пряди, устремляясь навстречу выглянувшему солнцу. Пришла пора прощаться.

С тех пор минуло больше года. И все это время Василий Николаевич, отрывая часы от сна, нет-нет писал нам, как идет достройка ЛЭП-750 и Западноукраинской подстанции. Иногда с тревогой — в те дни, когда по осени и в зиму 1978 года перед пуском линии перекидывали рабочих и инженеров на другие объекты, куда-то на Киевщину; Гудзий и сам пропадал там месяцами в командировках. А то письма были полны почти торжественных описаний: как бывшее болото на площадке подстанции покрылось черноземом, травой, клумбами, какая тут удачная столовая, красивая диспетчерская, а напротив нее — фотовитрина, на которой «портреты» всех подстанций объединенных энергосистем стран — членов СЭВ и карта линий электропередачи, а еще — как помогла бригада дизайнеров оформить все интерьеры подстанции, какие мозаичные панно на стенах... И еще шли к нам письма. О том, как прошел митинг на границе, чуть в стороне от Чопа, ближе к Ужгороду, и венгры перекинули «шлейф» проводов и закрепили их на нашей опоре. И как пустили пробно ток, а потом линию и подстанцию поставили под промышленную нагрузку.

Но до того нам удалось еще раз побывать у венгерских строителей ЛЭП-750.

РАСЧЕТ ПЛЮС ХАРАКТЕР



С Марком Рейпаши, бригадиром монтажников на строительстве ЛЭП, мы встретились на той же электростанции Дунаменти, точнее, на пароходике «Золтан», который нашел здесь свой вечный покой. Лет сорок «Золтан» бегал по Дунаю под венгерским флагом, а потом, списанный, энергетики купили его за бесценок, приткнули у берега водосбросного канала, оборудовали в нем прекрасную кухню, сломали переборки меж кубриками и машинным отделением, и теперь в трюме — просторный зал, украшенный вымпелами, народными вышивками, висит у трапа корабельная рында; здесь принимают гостей, а бригады — строителей и эксплуатационников — справляют всякие свои торжества, рядом тихая роща, и пароходик популярен. Занимают очередь — отдохнуть на нем. Все субботы и воскресенья расписаны на

несколько месяцев вперед. В такие дни «Золтан» гремит музыкой, гулко звенит под ногами танцующих металлическая палуба.

Сегодня моросит дождь. В зале нас несколько человек. И слышно только через открытые иллюминаторы, как, изредка всплескивая, взборматывая, словно спросонок, вода шуршит за бортом, катит к Дунаю. Бригада Рейпаши монтирует провода на участке ЛЭП неподалеку от Дунаменти, вот и удобно было встретиться здесь, на «Золтане».

С Марком приехал его друг, в прошлом тоже бригадир монтажников, а теперь снабженец Лазарь Пал. Лет пятнадцать назад он вместе с советскими монтажниками на 400-киловольтной линии Мукачево — Гёд строил переход через границу, работал бок о бок с русским бригадиром, ленинградцем, но вот беда, адрес его и фамилию, трудную для венгра, записал на клочке бумаги и потерял. Пал, худой, маленький, въедливый, допытывался у нас:

— Ну как же его разыскать?.. Длинный такой, красивый, и руки у него... ох, какие руки! Неужели нельзя?

Он умолкал ненадолго. Марк — погодок одного из нас, война была в начале его сознательной жизни, и потому разговор — как-то сам собою — заходит о том времени:

— Голодно было, Марк?

Рос он в большой семье, на хуторе близ города Солнок, отец батрачил у местного священника.

— Не очень голодно, но я уж с шести лет пас соседских гусей, а в войну целое стадо коров гонял — пастух!.. Даже школу приходилось пропускать. С сорок второго, с двенадцати лет начали нас муштровать на военной подготовке, руководил ею хромой инвалид, офицер. Я и туда не ходил — некогда. Так офицер этот несколько раз драл меня за уши, у него от злости и лицо, кажется, было черное, а пальцы — как из проволоки. Но я все равно не посещал — вот и все мое «участие» в движении Сопротивления,— шутит он и притрагивается пальцами к уху. Такой круглолицый, могучий, трудно представить его ребенком.

Что-то и мы рассказывали о себе и о московских мальчишках тех лет. И хоть разговор шел через переводчицу — бывает так,— лишь по глазам Марка, светлым, быстро меняющимся, будто бегущие под ветром облака пятнали их глубину, по его коротким, что-то уточняющим вопросам переводчице мы чувствовали: расстояния, километры, границы и все, прежде разделявшее нас,— не то чтоб не в счет, нет, как раз в счет и боль, еще сегодня живую, но оттого-то нас

уже тогда, пусть и незнакомых, связывало нечто большее, чем километры, границы: может, голод, и труд не по силам, и смерти близких...

И Марк, видно, чувствовал в эти секунды то же, что и мы,— такое легко было угадать, и теперь мы могли задавать любые вопросы.

— А отец воевал, Марк?

— Нет, мы жили без мамы. Его призывали, правда, несколько раз. И тут же отпускали, как многодетного... Он трудился, как вол. И в сорок втором женился второй раз, но жена вскоре умерла: надорвалась на пахоте. И в третий раз женился. И опять жена умерла — в сорок седьмом.— Тут Марк взглянул нам в глаза и ответил на неспрошенное, подразумеваемое: переводчица, молоденькая, кокетливо-модная девушка, должно быть, и не поняла, почему он об этом заговорил.— Я мало тогда что соображал: для чего война?.. А всерьез задумался об одном только: за что такая жизнь у отца? Почему? Он был добрый человек. Потому и женился на женщинах, слабых физически, беспомощных, никак не приспособленных к нашей крестьянской жизни. И они любили его за это. Может, слишком любили, слишком старались помочь, и вот... Отчего у него такая нескладная жизнь? — это я еще тогда думал.

— А мама, ваша мама, Марк, что с ней случилось?

— Она еще в сороковом умерла.

И вдруг Марк, такой большой, сильный, заплакал. Отвернувшись, он вытирал слезы тыльной стороной руки, лицо его стало таким же серым и пухлым, как свитер, что был на нем, мохнатый свитер, позамызганный уже, рабочий,— они с Палом приехали прямо с трассы ЛЭП. Возникла неловкая пауза. Мы услышали, как нашлепывает, ходит по палубе дождь — босиком. И тут Лазарь Пал произнес убежденно:

— И все-таки я его найду!

— Кого?

— Ленинградца.

— Как?

— Мы работали рядом. И, не зная русского языка, я понимал — такие у него руки,— что и как он хочет сделать. Больше таких рук ни у кого быть не может. Его все в Ленинграде знают, уверен!

Мы рассмеялись. Как это бывает обычно, вспоминали прежде всего не бригадные будни, а всякие ЧП и недоразумения.

Лазарь сказал Марку:

— Ты про зайца вспомни, какая в ту пору была еще «самодеятельность»...

Осенью они ставили анкерную опору, подняли ее, только и надо было — закрепить временными оттяжками, когда кто-то из бригадников поймал в перелеске зайца — голыми руками. Видно, ошалел косой от рева тракторов, криков сигнальщиков и отсиживался до времени в кустах, пока не притихли моторы, вот тут-то и выскочил заяц прямо на человека. Ну, развели костер, Марк сам за повара, а закрепить натяжной трос послал новичка: пустяшное дело — вбить на три метра столб в землю, вся и работа. Но то ли спешил новичок, то ли не учел, что земля раскисла от дождей,— забил столб неглубоко, а Марк, занятый у костра, не проверил сделанное, и потом опору увело в сторону больше, чем на метр. Пришлось им вручную крутить десятитонную лебедку, чтоб вернуть опору на место. Даже карикатура появилась в стенной газете, как они, надламываясь, всей бригадой крутят лебедку.

— Надо было другое нарисовать,— запоздало посоветовал кто-то из нас.— Как заяц опору валит.

Мы пытались вышучивать новых своих друзей, но в душе завидовали им. Дело в том, что подобные неурядицы могли случиться лишь лет двадцать назад. Как раз тогда главный инженер венгерского электроэнергетического треста «Венгрэнерго» Эдон Керени и Бела Чикош, технический директор предприятия «Овит», которое входит в этот трест и занимается строительством и эксплуатацией высоковольтных ЛЭП, взяли жесткий курс на предельную механизацию строительных работ. Была создана специальная Лаборатория развития, ее возглавил сам Бела Чикош.

Главное в этом курсе — широкая покупка за рубежом новой, наиболее совершенной техники, лицензий на ее выпуск у себя, в Венгрии, или даже целых технологических методов ее производства. И дело тут не только и столько в том, что Венгрия, страна сравнительно небольшая, просто не в состоянии обеспечить себя необходимыми механизмами. По мнению Керени, Чикоша, всякое натуральное хозяйство — не только экономический, но и нравственный, и какой угодно атавизм. Мысль — вроде и не новая. Но именно лэповцам удалось первыми в Венгрии последовательно осуществить ее в работе практической. Потому, видимо, что на строительствах линий электропередачи затраты на механизмы велики, пожалуй, как нигде еще: свыше трети общей стоимости

строительства. Например, на венгерском участке трассы Альбертирша — граница СССР они составили почти триста миллионов форинтов.

С Керени, Чикошем мы уже встречались многажды, в ситуациях самых разных. Однажды кто-то из нас спросил Чикоша:

— Но может быть, именно на этой ЛЭП не нужны были закупки новой техники? Дешевле было обойтись старой? Ведь «Овит» — не сегодня родившееся предприятие... Триста миллионов!..

Чикош, человек скорее добродушный, чем ироничный, на этот раз усмехнулся понимающе.

— Вариант противоположный просто не разрабатывался. Вот именно что не сегодня мы родились, многократно просчитывалось — у нас и за рубежом: любой механизм, самый изощренный, самый дорогой, раз-наи-валютнейший, уникальный, окупает себя в течение трех-пяти лет наверняка и дает выигрыш времени. А плюс к тому — это выход из безвыходной вроде ситуации с нехваткой рабочей силы. Даже возьмите вы не строителей, а эксплуатационников: за последний десяток лет мощность трансформаторных подстанций, длина ЛЭП выросли примерно в три раза, а количество специалистов, рабочих, ремонтников, их обслуживающих, осталось тем же — только за счет механизации работ, покупки новой техники...

А Керени в другом разговоре добавил к этому перечню и еще один из несомненных плюсов: закупка лицензий, особенно на новые методы производства, дает толчок и развитию отечественного машиностроения. И привел в пример покупку у швейцарской фирмы «ББЦ» лицензии на производство аппаратов элегазовой изоляции — новинки современной электротехники — о ней еще речь впереди. Для трансформаторной подстанции в Альбертирше аппараты эти еще везли из Швейцарии, но для следующих-то подстанций их будет выпускать старейший электротехнический венгерский завод «Ганц».

Однако все это, конечно, не так уж просто осуществлять на практике. Чикош подробно рассказал механику этой процедуры.

Во-первых, всякий раз «Овиту» надо подтверждать, что ни в одной стране СЭВа ни один завод не выпускает подобные машины. Или — по крайней мере — не может их поставить в необходимые сроки. Для этого надо заведомо списаться со всеми заинтересованными предприятиями всех социалис-

тических стран и получить оттуда соответствующие официальные уведомления.

Во-вторых, надо приложить к этому справку и о том, что «Овит» запросил о том же самом и все наиболее солидные западные фирмы, которые производят подобную технику, рассмотрел все варианты их предложений.

В-третьих, нужно разработать подробное техническое и экономическое обоснование собственного выбора, в котором бы учитывалась и производительность машины, и стоимость, и возможность будущего ремонта ее на месте, в Венгрии, и вариативность ее использования. Скажем, нужно везти по автодорогам трансформаторы весом до трехсот тонн. Трейлеров такой мощности в Венгрии нет. Но и покупать трейлеры, рассчитанные лишь на эти грузы, тоже невыгодно! Лучше приобрести разборные, из нескольких тележек, в четыре оси и в шесть, которые можно сцепить друг с другом соединительными конструкциями как угодно, и тогда можно везти на них и один трансформатор весом в 300 тонн, и три трансформатора по 100 тонн.

Или такой же пример с подъемными кранами: один и тот же кран должен при монтаже поднимать отдельные элементы опоры ЛЭП — 750 киловольт и целиком всю опору на линии напряжением в 120 киловольт. Как выразился Чикош: покупка узкоцелевых машин — непростительное расточительство.

На этом этапе заявка «Овита» согласовывается с внешнеторговыми предприятиями Венгрии, которые должны в свою очередь дать справку: какие валютные отношения существуют со страной-поставщиком, с фирмой, выпускающей нужную «Овиту» машину. Опять все не просто. Лучший вариант: эта фирма захочет приобрести в Венгрии какие-то малоценные товары. Тут могут быть самые неожиданные совпадения: фирме «Мерседес», к примеру, вдруг понадобились уличные таблички-указатели, штамповки... Но может случиться и вариант худший: фирме ничего в Венгрии не нужно, и тогда еще раз просматриваются, просчитываются предложения предприятий из других стран.

К сожалению, бывают еще и такие случаи: пока разработают заявку в «Овите», пока ее утвердит трест «Венгрэнерго», пока покочует она по министерствам тяжелой промышленности, внешней торговли, финансов, пока согласовываются рекомендации всех этих заинтересованных ведомств, изменится конъюнктура: выгодней становится купить машину в другой стране, у другой фирмы, которая

освоила производство какой-то сверхновинки. Но уж обратно не переиграешь.

И вот тогда-то, как выразился Чикош, в соответствующем рескрипте, в соответствующих инстанциях против фамилии руководителя, который не сумел все предусмотреть в своем заказе на импорт, ставится «черная точка». Сперва — одна. А если уж и вторая — впредь ему не пробить и заказа самого перспективного. Так что тому, кто ищет себе спокойной жизни, выгоднее обойтись без всяких таких заказов и работать непроизводительно: пусть оно идет себе, как идет...

Дважды, в разное время года мы ездили по трассе строящейся ЛЭП-750 и видели всю эту технику, закупленную «Овитом», в деле. Английский кран-вышка, смонтированный на платформе обычного грузовика, «Саймон». В одной из бригад он крутился прямо посреди неубранного еще, почерневшего от летней засухи поля подсолнечника, вытоптав площадку всего-то метров десять в диаметре, и не нужен был машинисту десяток сигнальщиков, трактористов, подсобников, которые ставят опоры с помощью стародавнего метода «падающей стрелы» — сооружения из бревен или металла, этакий громадный треугольник, который смонтировать, поднять, опустить, перетащить на новое место — значит уже выпахать вдоль трассы многие гектары плодородной земли или леса. Вот как было в бригаде Багрия.

Как раз такой кран впервые испытывался в бригаде Марка Рейпаши. Марк вспомнил об этом разговоре с нами и сказал:

— С «Саймоном» можно и зайцев ловить. Не страшно.

Западногерманские комбайны «Унимог». Они выполняют чуть не десяток операций: буровая, и бульдозер, и экскаватор, который выбирает котлован точно по отвесу.

Тут мы вспомнили, как на строительстве ЛЭП Иркутск — Братск эти котлованы били поначалу в мерзлой земле вручную. А потом инженер Михаил Семенович Ротфорт, который и посейчас работает в «Братскгэсстрое», предложил рыть котлованы бульдозером — пусть не по отвесу их борт, по отлогой кривой, единственно возможной для бульдозерного ножа,— все тогда восприняли ротфортовское новшество на «ура», столько сил оно экономило. Да и до сих пор у нас пашут котлованы бульдозерами. Но бетонщикам-то позже, за бульдозером, укладывать фундамент в такой яме с пологими стенками ох как не просто!..

И американские установки для натяжки проводов в воздухе — «Пэнго»; тяговое усилие их — до двенадцати тонн, од-

новременно они могут натягивать четыре провода... Кстати сказать, в лаборатории развития «Овита» была разработана самодельная каретка, которая позволяет тянуть и не четыре фазы проводов одновременно, а столько, сколько потребуется, с любым тяговым усилием. Так что «Пэнго» теперь можно применять на строительстве ЛЭП любого напряжения. Об этом нам и толковали, в частности, Марк Рейпаши и Лазарь Пал. Для них все шаткие понтонные мостики через реки и «заячьи» оттяжки — в прошлом, им можно посмеиваться над собой.

И дело тут не только в том было, чтоб решиться однажды на дорогостоящие затраты, которые окупили себя в первые же годы, и не в том, чтоб отобрать машины, лучшие в мире. Это — лишь начало поиска. Машины, собранные из разных стран, были разнородны, и чтобы приспособить их друг к другу, Эдону Керени, Беле Чикошу, их Лаборатории развития пришлось немало помудровать, изменить конструкцию опор, отладить технологию и организацию работ так, чтоб создать на строительстве ЛЭП единый конвейер, не прерывающийся ни в одном своем звене.

Тут важен еще один принцип, внедренный в жизнь в «Овите»: последовательная механизация всех работ на строительстве ЛЭП. Прежде, скажем, много времени тратилось на зажим, запасовку оттяжек на поднятых кверху опорах, на проводах во время их монтажа. Получалась бессмыслица: ставили опору чуть не столько же времени, сколько закрепляли ее оттяжки. И в Лаборатории развития был сконструирован, сделан специальный зажим. Он автоматически за несколько секунд крепит любой трос так, что потом, когда пробовали его взять на разрыв, трос лопался совсем не в том месте, где попадал в лапы зажима.

Просто невозможно нам даже и перечислить подобные приспособления, инструменты, которые были предусмотрены для любой работы при создании линий электропередачи, чтобы решить все так называемые «мелкие проблемы» строительства и монтажа ЛЭП и чтобы уровень механизации достиг в конце концов ста процентов.

В результате каждый рабочий «Овита» выполняет теперь работу в пять раз большую, чем лет двадцать назад. И не зря Керени, Чикошу были присуждены Государственные премии ВНР. И сюда, на строительные площадки, едут за опытом специалисты изо всех стран, в том числе и из тех, где венгры закупали технику,— из Франции, США, ФРГ... Не стоит думать, впрочем, что лучшая техника — только

в этих, западных странах. Те же краны, к примеру, венгры монтируют только на платформах наших грузовиков — ЗИЛов: по надежности, проходимости им нет равных. Уж нас-то не надо в этом убеждать.

Кстати сказать, во время строительства Братской ГЭС там можно было встретить еще некогда знаменитые «студебеккеры», купленные нами в США. В самом-то Братске они еще бегали, но вот на трассу ЛЭП Иркутск — Братск шоферы отказывались на них ехать, предпочитая ЗИЛы, пусть и вовсе дряхлые, разбитые.

Там, на трассе ЛЭП, дороги, в настоящем смысле этого слова, попросту не было. Был «пролаз», который еще именовали «морем Лаптевых»: вслед за лесорубами прошли по тайге бульдозеры, выдернули, выпахали пеньки, те, что по силам, а непосильные — так и остались торчать; автомашины шли напрямик, то ныряя в глубокие ямины, то вздымаясь чуть не на дыбы, как по девятибалльным штормовым волнам. Оттого и родилось это вовсе не шутливое название — «море Лаптевых». Шли работяги ЗИЛы и в пятидесятиградусные морозы, и в пургу, и в гололед, и в ливневые дожди, когда земля в потревоженной тайге раскисала провально. Шли, как правило, не в одиночку: попарно или колоннами, помогая друг другу на самых трудных участках. И кажется, не было ни одного случая, когда б по вине транспортников лэповцам не забросили вовремя даже в наиболее отдаленные бригады бетон, или громоздкие металлические конструкции опор, или продукты... И теперь, когда венгерские друзья нахваливали нам безотказность, маневренность, проходимость наших ЗИЛов — качества, особенно ценные для лэповцев, ведь и здесь, хоть вся страна изрезана асфальтовыми шоссейками, линии электропередачи строят не только вдоль или даже вблизи них,— когда они нам рассказывали о чудесах, на которые способны советские автомашины, мы лишь усмехались про себя: что все это по сравнению с бездорожьем сибирской тайги!..

И не скроем, было приятно нам, когда речь заходила, к примеру, о наших трансформаторах. Лето перед первой нашей поездкой по электростанциям Венгрии, Словакии, Чехии выдалось необычайно засушливое и потому на редкость трудное для энергетиков. Реки обмелели. На всех предприятиях был введен жесткий режим экономии воды, и не всегда хватало ее даже для охлаждения оборудования. Случалось, на некоторых станциях советские трансформаторы держали по нескольку часов под нагрузкой, в полтора

раза превышающей проектные нормы, и это когда температура воздуха в тени достигала тридцати градусов, температура масла под кожухом трансформаторов — девяноста градусов. Потом, после авралов, в минуты затишья ревизовали трансформаторы со страхом: неужто и такое им нипочем?.. И каждый раз на удивление всем оказывалось: и обмотка трансформаторов, и изоляция в безукоризненном состоянии.

Да что говорить, ведь и ту же ЛЭП-750 от Винницы до Альбертирши смогли возвести в предельно короткие сроки только благодаря тому, что у нас в Союзе построена уже не одна ЛЭП сверхвысокого напряжения и эта, новая, сооружалась по их образцу. Многие методики расчетов, технические выкладки венгерские проектировщики заимствовали у своих московских и харьковских коллег. И изоляторы на опоры, и немалую часть оборудования трансформаторных подстанций тоже поставлял Советский Союз.

Нам есть чем гордиться. Но, на наш взгляд, если уж ты поехал в другую страну, то главное для тебя — искать поучительное. Тем более если в этой стране живут твои друзья. Именно поэтому в Венгрии, на стройках линий электропередачи, мы и присматривались прежде всего к технике, которой у нас пока нет, зная, что в последние годы эти стройки здесь стали площадками действительно уникального опыта, уникального во всем мире.

Не нам судить: приемлем ли для нашей страны путь, который избрали венгры. Для западных районов, возможно, и так. Но вряд ли — для всей страны: не те расстояния, протяженность ЛЭП, да и природные условия той же Сибири — не сравнить. Вполне вероятно, что нам нужен иной набор техники. Наверно, выгоднее покупать не машины, а лицензии на их производство. И все равно не обойтись без собственных оригинальных разработок, конструкций... Но во всяком случае опыт венгерских друзей, несомненно, доказывает: тут любые затраты, усилия окупятся сторицей.

Об этом мы и толковали с Марком Рейпаши, сидя в уютном зале пароходика «Золтан», поставленного на вечный прикол. Дождь все выстукивал веселую свою мелодию по металлической палубе над нашей головой, и никуда не хотелось спешить. Марк сказал:

— Никогда не стыдно и не поздно учиться. Даже если учишься у собственных детей. Да, так бывает нередко: дети наши в школе, в книгах и в университетах узнают многое, о чем мы раньше и не задумывались. Ну, к примеру, какие-нибудь манеры, правила поведения, где, когда мне было

учиться такому, гоняя в детстве гусей да коров, а потом колеся по стране с лэповцами?.. Но если теперь дети скажут: «Так делать нехорошо» — я в пузырь не лезу, прислушиваюсь. Как же иначе?..

Бригада Рейпаши давно уже носит имя «социалистической». ЦК профсоюза отрасли присваивал ей звание «отличной бригады». В частности, еще и потому, что она все время ввязывается в дела, вроде б ей совершенно сторонние. То в какой-то богом забытый поселок проложит дорогу, отличную бетонку длиной в два километра. То плохо оборудованной начальной школе купит телевизор и еще какие-то учебные принадлежности. То, по ее почину, построят в одном из кварталов Будапешта детские ясли, и сама бригада перечислит для них почти шесть тысяч форинтов, да еще собственными руками монтажники оборудуют на игровой площадке песочницы, горки, карусель...

Такие работы бригада выполняет по субботам, и тогда субботы эти называются «коммунистическими». Тут важен не только затраченный труд и не просто деньги, перечисленные из бригадной зарплаты на чужой счет,— важно, что всякий раз бригада — вот, сиюминутно — видит, на что и как истрачены эти деньги и труд. Кочует она по всей стране, вслед за новыми стройками, и повсюду идет добрая молва о Рейпаши и его помощниках: Иштване Поте и Йожефе Шереге, Иштване Туроци и Ференце Сабо...

Но сегодня пятница, а тут порядок такой: в пятницу в три часа дня за лэповцами приходят автобусы и развозят их всех по домам — в разные районы страны. Разработаны специальные маршруты, и автобусы эти — собственные в «Овите», их шестнадцать. Потом, в понедельник, они собирают рабочих и привозят на трассу к одиннадцати утра.

С этими автобусами опять целая история. Раньше рабочие добирались до дому сами, кто на чем. А большинство — из западных районов страны, дальних, там издавна почти никакой промышленности и потому относительный избыток рабочих рук. Ехать приходилось иногда чуть не через всю Венгрию по железной дороге, с пересадками. Собирались компаниями, чтоб веселей. А чтоб еще веселей — кто не без греха? — бежали в магазин, за вином, чтобы скоротать долгие ожидания на полустанках и нудный путь: поезда тут неспешные. Даже трезвенники по натуре — бывало! — добравшись до дому, шагали не очень твердо.

А в понедельник — путь обратный, такой же. И какую ни веди агитацию, пропаганду, понедельник из работы вычерки-

вался. Тогда-то и настоял Эдон Керени на том, чтоб купить шестнадцать автобусов. Опять спорили с ним: баловство, дескать, излишества. Но месяца через три подсчитали: прямая выгода предприятию от этих «излишеств» — многие десятки тысяч форинтов, иной нравственный климат в бригадах.

А всего-то — шестнадцать автобусов. Среди недели их, конечно, используют и по другим надобностям. Но главное — эти рейсы по пятницам и понедельникам. Время как раз полчетвертого. Автобус должен заехать за Марком и Лазарем сюда, на электростанцию, и мы идем их провожать.

Дождь притих. И мы шли неторопко, жаль было расставаться — увидимся ли когда?.. Шли мимо римского мостика через речушку Бента. Лазарь Пал рассказал, как в ее водах — теперь теплых: идет сюда сброс с электростанции Дунаменти — пробовали разводить форель. Почему-то не получилось. Или слишком тепла вода?.. Рассказывал больше Пал, а Марк Рейпаши помалкивал, шагал, засунув руки в карманы, подняв воротник куртки. Опять перед нами сбегали с зеленых холмов разноцветные черепичные крыши домов Ерда. За спиной высились молчаливые — но будто б и беспрерывно гудящие!— трубы Дунаменти.

Вдруг заговорил и Рейпаши:

— У нас тут был прекрасный инженер, по фамилии Урбаншандор. Командовал он участком, и все его любили, и — внезапная смерть, инфаркт. Лет-то ему еще немного было. У него осталась мать. Совсем одна. А ей уже восемьдесят два. Живет в шестидесяти километрах от Будапешта, в Хотване — маленький, старый городок. И дом у нее старый.— Марк помолчал и, вроде б стесняясь, договорил: — Ну вот, мы уж много лет к ней туда ездим: то угля на зиму запасти, то сад окопать... Хоть и маленький садик, а ведь ей не под силу, как не помочь? Правда?.. И хоть приходится туда, к ней крюк делать в сотню-другую километров, ездят ребята. Даже и не напомнишь им — едут сами.

— А вы, Марк?

— Ну и я, конечно.

Тут засигналил нам с перекрестка красный большой автобус. Шофер за окном нетерпеливо махал рукой. Пришлось прощаться... Автобус уехал. Мы стояли на шоссе и размышляли вслух: почему он вспомнил эту историю? Впрочем, зачем мудрить: ведь Марк — сирота... Эти слезы, когда вспомнил о маме... Наверняка он нашел много неожиданного для себя в доме инженера Урбаншандора. Наверняка

и посейчас не просты для него эти воскресные поездки в дальний, маленький городок Хотван, наверняка!..

И опять накрапывал дождь. Мы стояли, задрав головы к обрюзгшему от туч небу, смотрели на поперечину портальной опоры линии электропередачи. А там, на тридцатипятиметровой высоте, работали трое монтеров. Провода были под током напряжением в 400 киловольт. Они шли сюда, на север Венгрии, к городу Гёд, из Мукачево.

Знали мы: одеты монтеры в защитные костюмы, в льняное полотно которых вплетены — «решеткой Фарадея» — бронзовые проволочки. Но настолько тонкие, эластичные, что ткань по виду ничем не отличается от вседневной уличной одежды, да и ткут ее на обычных ткацких станках, шьют костюмы на обыкновенных швейных машинах. Оттого монтеры двигались по железным поперечинам легко и свободно и казались вовсе беззащитными — ведь смертельным может стать напряжение несравнимо меньшее.

А они, уже сидя в специально сконструированной люльке, крутили, как на велосипеде, ее педали, подкатывали по тросам к гирляндам изоляторов, меняли их и дальше — по самым проводам — к распоркам меж ними, чтобы и их сменить, бросить на землю изношенные и поставить новые, нарочно касались проводов обеими руками и даже лицом, прикрытым сеткой из той же ткани. Тогда слышались прерывистые тревожные разряды; звук такой, будто в небе рвали и рвали с силой грубый брезент.

Тут собрались главный инженер треста «Венгрэнерго» Эдон Керени и технический директор предприятия «Овит» Бела Чикош, их помощники, хронометристы, двое инженеров из московского треста «Оргрэс», который ведет совместно с венграми ряд научных и практических разработок. Для москвичей и демонстрировали свое умение ремонтники. Заодно пригласили и нас, авторов этих очерков.

Хронометристы засекали время — не большее, чем ушло бы на работу на линии мертвой, без тока. Москвичи фотографировали, что-то спрашивали и разбегались в стороны по жухлой мокрой траве, выискивали точки съемки повыгодней.

Руководил всем Бела Чикош, высокий, с пепельно-седыми кудрями, с лицом энергичным и мягким — сочетание странное, но таков уж Чикош: он будто весь соткан из противоречий. Сын неграмотных крестьян, поднялся до вершин инженерной мысли. Беспомощно-застенчивый в быту,

стоит коснуться дела — напорист, хитер, упрям. Втайне самолюбивый, все свои находки — без тени кокетства или самоуничижения — готов приписать другим людям, коллективу.

Чикош-то и создал этот удивительный защитный «скафандр», в котором можно работать под напряжением в 750 киловольт и выше, придумал все необходимые приспособления, механизмы и, как всякий истовый изобретатель, первым из венгров прикоснулся руками к смертоносному проводу и только потом обучил новым приемам других.

Ветер сеял вразброс мелкие капли дождя, и тогда становились невидимыми придунайские холмы, с которых спускались к нам еще зеленые купы деревьев. Несколько раскидистых лип вышагнуло к самой трассе ЛЭП, их ветви тяжело приникли к земле, хоть выжимай от скопившейся влаги,— детали эти тоже «по делу»: значит, влажность воздуха около ста процентов, а как известно, от влажности токопроводность любого материала возрастает. Не случайно во всех странах, где разрабатываются подобные методы работ, существует и ограничение на них: лишь при влажности воздуха не свыше восьмидесяти процентов. Но ведь монтерам приходится работать на опорах и подолгу. Легко представить себе ситуацию: поднялся, когда было сухо, и вдруг набежала залетная тучка — риск?.. Конечно.

Потому-то в будничный этот серый денек действо, которое разворачивалось перед нами, казалось бы особенно невероятным, если б не некая предыстория.

Во время войны, когда многие наши заводы были переброшены на восток, уральская энергосистема приняла на себя нагрузки небывалые. Главное, нельзя было ни на час отключить хоть какую-либо линию электропередачи: это означало бы остановить заводы, круглосуточно работающие для фронта. Вот тогда-то под руководством инженеров Александра Панедилко, Николая Астахова, Сергея Скобелева, Юрия Григорьева были разработаны методы ремонта ЛЭП под напряжением до 220 киловольт: обновлялись их деревянные опоры, изоляторы, заменялись целые анкерные пролеты проводов. Авторам была присуждена Государственная премия СССР.

Впоследствии их методы взяла на вооружение 41-я районная энергосистема страны, в 1956 году число различных работ, проделанных под напряжением, достигло 220 тысяч. И за все годы ни одной производственной травмы, несчастного случая.

А потом произошло вот что: страна богатела, появились резервные линии электропередачи, на главных недолговечные деревянные опоры сменились металлическими, тарифы на ремонтные работы под напряжением будто бы сами собой уравнялись с обычными, а тут еще создание совнархозов нарушило привычные связи между промышленными предприятиями, и они перестали выпускать приспособления, необходимые для работ под током. Так и умерло новое дело. И теперь любую линию в стране, любого напряжения для ремонта выключают из энергосистемы. Что это — расточительство от богатства?..

Говорят, самый великий изобретатель — безвыходная нужда. Венгры просто вынуждены внедрять ремонтные работы на ЛЭП под высоким напряжением, как когда-то и мы. В самом деле, несмотря на то что все собственные электростанции работают здесь с предельной нагрузкой, по линии Мукачево — Гёд идет от нас процентов двадцать необходимой для ВНР энергии. Отключить эту ЛЭП, и сразу же могут стать металлургические заводы Чепеля или химические комбинаты Дебрецена, и «сядут» от перегрузки электростанции.

Во время последней нашей поездки по Венгрии строительство ЛЭП-750 подошло здесь к своему пику. Тянули и примыкающие к ней линии напряжением в 400 киловольт Теперь все эти ЛЭП уже больше года в работе. И за этот год венгры не раз и не два успели осуществить их текущий ремонт под напряжением. Хоть и легче дышится теперь энергетикам всех стран — членов СЭВ, все же ведь за последние годы, как мы писали уже, были построены еще и многие новые промышленные предприятия. Потому отключать эти главные артерии объединенных систем для ремонта — считают венгры — непростительное расточительство. Но, значит, и нам на своей территории, на своем участке ЛЭП-750 надо делать то же самое, иначе усилия партнеров вполовину обесценятся.

Вот потому и приехали сюда инженеры из «Оргрэса», потому и щелкают затворами фотоаппаратов и кинокамер, заваливают хозяев бесчисленными вопросами...

Говоря об экономической взаимопомощи стран СЭВ, мы обычно имеем в виду прежде всего широкий обмен различными товарами, производственную кооперацию промышленных или сельскохозяйственных предприятий. Но едва ли не важней — для всех отраслей хозяйства — вот такая интеграция инженерной мысли, организационного опыта, неиз-

бежное подхлестывание друг друга на пути технического прогресса.

Впрочем, для самого-то Чикоша все началось с иного. Работы на высоковольтных линиях электропередачи под напряжением стали широко вестись со второй половины шестидесятых годов в США, Канаде, Франции. Появлялись соответствующие статьи в технических журналах. Чикоша сразу удивила в некоторых из них негуманность разрабатываемых методов. Тут и зависимость их от влажности воздуха. И толстая, ломкая проволока в ткани костюмов. И чуть не цирковая работа, стоя на не очень удобных, так называемых «изоляторных» лесенках. И невозможность напрямую коснуться провода.

«Нет,— решил Чикош,— монтер должен сидеть, чтоб было ему удобно, как дома перед телевизором, чтоб никаких мыслей о риске и был бы многократный запас «прочности» костюма. Я все рассчитаю заново!..»

Но тут-то и выяснилось: нужно уточнить методы расчета работы с люлькой, изменения электрических полей в зависимости от прогиба проводов ЛЭП, от параметров решетки и толщины проволоки в ткани костюма, от силы тока, который всегда есть в коже человека. Многое пришлось начинать с нуля.

Работа, которую рассчитывал Чикош сделать за месяц, вечерами, грозила затянуться на годы. Отступиться?.. Тем более что тогда неотложной практической необходимости для венгерской энергетики в таких исследованиях не было.

Эдон Керени — ближайший друг Чикоша. Когда он рассказывал нам всю эту историю, а мы удивлялись невероятности расчетов, разработок, проделанных Чикошем в одиночку (тут хлопот хватило бы на целый научно-исследовательский да еще и проектный институт!), обронил как бы невзначай и такую фразу:

— Расчеты — ладно. К расчетам надо плюсовать еще и характер Белы. Иначе б никогда не внедрить нам этот ремонт ЛЭП под напряжением...

Но чтобы понять и эту фразу, надо хотя бы немного знать жизнь Чикоша. Родители его были бедны и, пожалуй, поэтому не могли позволить себе иметь второго ребенка: чтоб не делить между будущими наследниками жалкого клочка земли. Даже в начальную школу отец не очень-то хотел пускать сына: зачем?.. Настояла мать. В школе, куда ходил Бела пешком за шесть километров, было всего два преподавателя-энтузиаста, муж и жена, и две комнаты. В одной занима-

лись первые три класса, в другой — три последующих. Всегда можно было услышать, что задают, объясняют старшим. Поэтому Бела смог кончить шестилетку за пять лет, и так блестяще, что учитель несколько раз вызывал к себе родителей Белы и приходил к ним домой, заклинал всячески: мальчику нужно учиться дальше, способности его необыкновенны. Он пообещал даже добиться материальной помощи от сельской управы. А это было не просто. В довоенной Венгрии в деревне жило три четверти населения. Но помощь такая давалась лишь одному из многих тысяч детей крестьянской бедноты. Зато правительство, оказывая счастливцам помощь, могло на всех углах кричать об «обществе равных возможностей». Но воспротивился отец Белы:

— Ты уже всему выучился. Пора работать. А гимназия — вообще не про нас.

— Я не хуже других! — доказывал Бела. Опять его поддержала мать. Бела сдал все приемные экзамены на «единичку» — наша «пятерка».

К слову сказать, недавно начальная школа, в которой учился Бела, отмечала свой пятидесятилетний юбилей. Пригласили на него, конечно, и Чикоша. Он приехал чуть раньше назначенного часа. В пустом классе сидел лишь один дряхлый старик, вроде бы незнакомый. Чикош поздоровался, присел рядом, за парту. Волнуясь, ощупывал ее. И вдруг старик спросил:

— Ты — Бела Чикош? Ты меня не узнаешь?

Это был его первый учитель, он и посейчас в той же школе. Он сказал:

— Меня теперь многие не узнают, все-таки восемьдесят три года... Но я-то тебя не мог не узнать: вы все еще для меня как собственные дети.

В гимназии их было четверо друзей, таких же, как Бела,— им приходилось доказывать, что они «не хуже других», на каждом шагу, в каждой мелочи. И прежде всего себе самому и учителям, которые заподозрили Белу в симпатии к коммунистам. Оснований для этого, как думает Чикош сейчас, не было никаких. Ну если не считать тайной его поездки в Будапешт, на первую советскую выставку, которая была там организована, кажется, в тридцать девятом году. И если не считать, что однокашники Белы тайным голосованием выбрали его председателем кружка самообразования, на занятиях которого изучались предметы, вовсе не относящиеся к гимназическому курсу. И еще, если не считать того, что он многие вечера провел у своего соседа, в прошлом,

в первую мировую войну, побывавшего в плену в России; сосед и женился там, и привез жену с собой, они постоянно слушали русское радио, Бела — вместе с ними.

Эти мелочи, радио, выставка в Будапеште — или они только Беле казались мелочами? — становились известными в гимназии. А тут еще и сельский староста стал писать туда: Чикош нанялся помощником к киномеханику и смотрит подряд все фильмы, в том числе для юношества предосудительные. Но сам-то Бела не из-за фильмов подряжался на эту работу: его увлекла возможность сколько угодно возиться с движком, дизелем, кинопроектором, он уже тогда понял: его призвание — в технике, и любую машину, аппарат, которые только попадались ему в руки, разбирал до последнего винтика, вновь собирал, пытаясь каждую конструкцию понять, как себя самого.

И хотя в те годы у него еще не было четко определившихся политических взглядов, чисто по-человечески он не мог принять для себя жизни, в которой люди делятся на ее хозяев и слуг, на повелевающих и угодничающих. И не скрывал своих антипатий. Оттого учеба в гимназии превратилась в повседневную войну с богатыми гимназистами, с учителями. И все-таки Бела кончил ее с отличием. А сразу после войны — университет. И тоже был в числе лучших выпускников. Так уже в те годы нужда быть не хуже, а лучше других стала чертой характера. Отныне любая техническая, организационная задача всегда сводилась для Чикоша к неизбежному доказательству одной и той же теоремы: «Я могу и это, не может быть, чтоб не смог!..»

И разве он смел отказать себе в удовольствии сделать попытку создать свой защитный «скафандр», собственную методику ремонтных работ на высоковольтных линиях под напряжением? Пусть и не было в этом пока никакой практической нужды, для себя только!.. Но так уж теперь все поворачивалось в его жизни: «для себя» рано ли, поздно, но неизбежно становилось и «для других». Обо всем этом Чикош рассказывал нам в прощальный вечер первой нашей поездки к энергетикам Венгрии.

Впятером, с Эдоном Керени и переводчицей, мы сидели в каком-то охотничьем ресторанчике. Чикош, ни на что не обращая внимания, объяснял всякие технические премудрости, набрасывая тут же, на бумажных салфетках, формулы и чертежи... Главное, что он хотел доказать: защитный костюм для работы под током — это всего лишь малая малость из нововведений, которые разработала Лаборатория раз-

вития и разрабатывает не он, Чикош, а вся Лаборатория, для того чтоб создать промышленный конвейер на стройке.

— Уменьшили вес опор, вроде ненамного,— подумаешь, десятки килограммов! За счет сварки вместо сбалчивания...

Разбираемся с переводчицей, что такое «сбалчивание».

— Ну болты, обыкновенные болты, которые нужно вручную закручивать, затягивать, вместо того, чтобы просто сварить металл. И вот давайте прикинем, во сколько времени и денег обойдется выгода за счет этого на одной ЛЭП-750...

Он опять разрисовывал салфетки столбцами изящных цифр так, что салфетки становились похожими на гравюры на стенах.

— Но и это, и то,— говорил Чикош,— просто пустяк в сравнении с тем, что еще не сделано нами. И не в сравнении: вообще пустяк. Вот смотрите, например...

Кто-то из нас спросил его:

— Бела, а что, ваша мама жива?

— Жива.

— Расскажите о ней.

Первый раз за весь вечер лицо его просветлело, он свободно откинулся на стуле. Матери — ее звать Анна — идет уже восьмой десяток лет, и она давно живет с сыном в Будапеште. Она бодра, деятельна и строга, как и прежде. Она ведет дом, в старом, забытом смысле этого слова.

Единственный день недели, когда Бела позволяет себе подольше поваляться в постели,— воскресенье. А Анна все равно встает в шесть и первый час ходит в соседней комнатке тихо, а потом все слышней и слышней; наконец, не позже половины восьмого не выдерживает и открывает дверь в спальню сына.

— Бела, солнце поднялось — грелка на животе,— говорит она строго, есть такая поговорка у венгров.— А ты лежишь...

Мы подняли бокалы:

— Бела, за вашу маму! — И повернулись к Керени: — Эдон, и за вашу!..

Эдон как-то уж очень грустно взглянул на нас, а потом на часы — было ровно половина десятого. Мы тогда не поняли, почему такой взгляд, и как же теперь корим себя за это! Он сказал:

— Между прочим, когда торжественно вручают Государственные премии, лауреату можно с собой привести только одного члена семьи. Так вот, Бела привел мать, Анну.

Бела смеялся счастливо. Но минутой позже он опять тол-

ковал обо всяких технических проблемах. Переводчица наша путалась в незнакомых ей терминах, и тогда на помощь приходил Керени.

Внешне он — почти полная противоположность Чикошу. Начал уже лысеть и полнеть — «слишком много приходится высиживать на заседаниях». И всегда у него наготове шутка, он ироничен и по отношению к себе самому. Но даже и шутит когда, глаза, взгляд их неизменно серьезен, сосредоточенно-внимателен, впрочем это противоречие сродни тем, которых так много в характере Чикоша.

Кстати, и Керени прошел почти такой же жизненный путь, что и Чикош. Сын бондаря-кустаря, ставший крупнейшим инженером, организатором производства, он тоже из тех людей, которые создали себя сами.

Шутки и ирония его, и роль переводчика, столь охотно взятая им на себя, и роль комментатора рассказа друга, всего лишь комментатора — это удобно ему, чтоб не рассказывать о себе. Лишь в самом начале вечера мы сумели перекинуться несколькими словами.

— Эдон, вы до войны успели поработать в филиале немецкой фирмы «Сименс». Что-то полезное, что и сейчас помогает, удалось вам почерпнуть там?

— А откуда вы знаете, что я в ней работал? А-а, Себеледи! — догадался он, рассмеявшись.— Эрно Себеледи... Правда, прекрасный человек?

Эрно Себеледи — начальник одного из трех строительно-монтажных подразделений на трассе ЛЭП-750, седой, худенький человек, легкий в движениях, как юноша. Когда мы его увидели, в первое мгновение голубые его глаза показались нам темными, чуть не черными: он что-то тихо, но резко выговаривал одному из своих конторских подчиненных. Извинившись, повернулся к нам.

А позже, когда мы уже попривыкли друг к другу, спросили, о чем шла речь с тем человеком. Себеледи, не называя имен, не поясняя, из-за чего возник конфликт, сказал:

— Одна из самых отвратительных для меня людских черт — недоброжелательство к тем, кто от тебя зависит, кто вынужден к тебе обращаться. Есть такие типы, которым слаще всего — выказать свою власть. Ненавижу!..

Потом мы с ним ездили по бригадам. Каждый раз, когда мы заговаривали с кем-либо из рабочих, Себеледи старался незаметно отойти в сторону, боясь помешать своим присутствием, все же начальник. Но рабочие-то вели себя одинаково открыто и с ним, и без него, иные и вышучивали Себеледи,

если был к тому повод. Он и сам охотно посмеивался над собой.

Эрно работает на стройках ЛЭП уже чуть не четыре десятка лет. А начинал действительно в филиале известной во всем мире электротехнической фирмы «Сименс», вместе с Керени. Они даже сидели в одной комнате, только занимались разным: Керени курировал строительство одной из первых в Венгрии электростанций, а Себеледи уже тогда строил линии электропередачи, мотаясь по всей стране, так что и виделся-то со своим коллегой редко.

Еще он успел рассказать нам, как в сорок пятом, не явившись на сборный пункт, когда объявили всеобщую мобилизацию, две недели во время штурма Будапешта вместе с семьей и соседями отсиживался в громадном подвале доходного дома. Нечего было есть. Правда, однажды Эрно Себеледи удалось во время артиллерийского обстрела выбраться на соседнюю площадь. Он там нашел убитую лошадь, отрезал несколько кусков мяса, сколько мог дотащить ползком. Во время второй вылазки он эту лошадь уже не нашел. Несколько дней они ничего не ели и все прислушивались к звукам, долетавшим через отдушины подвала, ожидая прихода советских войск: на них была единственная надежда. Как вдруг кто-то снаружи стал долбить стену подвала, совсем рядом с тем местом, где лежал Эрно. Едва он успел отползти в сторону, стена рухнула, и в подвал влезли через дыру несколько наших бойцов.

— Вот так: ждали их сверху, а они пришли снизу,— усмехнувшись, сказал Эрно.— В первую минуту растерялись, а потом в себя не могли прийти от радости...

Мы теперь рассказали об этом Керени. Он повторил, довольный:

— Прекрасный человек, уж я-то знаю... Так вот, о фирме «Сименс»... Если суммировать,— Эдон любит «суммировать», обобщать и из любой мелочи умеет извлечь свой корень,— если в нескольких словах: там я успел научиться принципу, который остался для меня главным и до сих пор: монтажник на площадке — все равно что солдат на фронте. Чтоб он мог воевать, в тылу должны на него работать по крайней мере человек десять. На каждого монтажника — десять: проектировщиков, промышленников, инженеров, снабженцев. В чем-то и капиталисты не дураки. Это полезно было усвоить,— он посмеялся.— Пышная фраза, да? Но и трезвая. Важно всегда оставаться трезвым. В том числе и сегодня,— и поднял прошитую красным шнуром карту меню, похожую на кален-

дарь, из тех громадных, красочных, что вешают на стены. Опять он свел разговор к шутке, лишь бы мы не продолжали свои расспросы.

...Утром приехал отвезти нас в аэропорт, к самолету на Прагу, Ласло Оберек, шофер Керени. За дни поездок по ЛЭП мы с ним успели сдружиться, объясняясь на немецком языке. Ласло по образованию инженер-геолог. Но, поработав года два по специальности, понял: не создан для бродяжьей жизни, и сейчас заочно учится на фармацевта. Кстати, отец его был тоже фармацевт, химик. За создание оригинальной, венгерской технологии производства пенициллина он получил Государственную премию ВНР. Ласло невесело шутит:

— У талантливых отцов всегда непутевые дети.

Но — во всяком случае пока — учеба его увлекает. У него вообще множество увлечений, он ими оброс, как обрастают бородой: конный спорт и яхта, теннис и археология, и любовь к старым вещам; сейчас реставрирует кресло, которому лет двести, нашел на какой-то свалке. А еще дома у него аквариум с рыбками и клетка с редкими птицами. Автомашина — тоже не просто работа: надо видеть, с каким азартом Ласло водит ее. Он приехал взволнованный и, даже не поздоровавшись, сказал:

— Вчера вечером в больнице умерла мать Керени.

— Не может быть!

— Она уже давно там лежала,— пояснил он, как бы успокаивая нас.— А все равно никто не ждал, внезапно...

И он развел руками беспомощно. Ласло гибкий, тонкий, а сегодня — от растерянности? — худоба его как бы высветилась.

— В котором часу это случилось?

— Половина десятого.

В тот самый миг!.. Эдон, ничего не подозревавший, взглянул так грустно на нас, а потом на часы оттого, конечно, что подумал, нужно успеть заехать еще и в больницу, но понял: не успеет. Такое не выдумаешь. Но эти совсем не мистические совпадения идут за нами всю жизнь. Беда только, что сами мы бываем суетно-невнимательны к нематериальным «мелочам». О них и писать почти невозможно. За них потом лишь казнишь себя. Потом, когда все произошло и ничего не вернуть, не поправить. Единственное, что нам оставалось,— передать через Ласло соболезнование Эдону Керени.

Год спустя мы встретились вновь. Мы жили тогда близ Балатона, и в одно из воскресений Керени приехал туда, повез нас обедать в Балатонфюреди, старинный курортный городок, в ресторан на самом берегу озера.

Два дня назад Эдон вернулся из командировки в Японию, ездил заключать контракт на покупку счетно-решающей машины для Государственного диспетчерского управления венгерской энергосистемы, рассказывал: машина эта, суммируя всю информацию с диспетчерского пульта ГДУ, будет выходить с командами прямо на генераторы электростанций, только с ее помощью под силу будет работать диспетчерам после ввода в строй ЛЭП-750. Все переиначила эта ЛЭП!..

Эдон еще полон впечатлений от поездки, говорит обо всем сразу: о парадоксах цен — карманная счетная машинка (он вынимает, показывает: не больше обычной записной книжицы) стоит дешевле дешевого; о перелете на «Дугласе» — через Амстердам, Анкоридж, Северный полюс, Аляску — тридцать часов лета, и был момент, когда они возвращались — во времени — во вчерашний день, фантастика нынешних будней; о телевизоре в самолете — шел какой-то детектив о краже алмазов, за два с половиной доллара можно было взять наушники, озвучивающие фильм; язык по выбору — английский, японский или французский; Эдон не стал брать, хватало немой картинки; о гидроаккумулятивной станции, которую он осмотрел в Японии... Принцип действия ее тот же, что и на станции в Липтовской Маре, в Словакии; в часы пиковых нагрузок энергосистемы генераторы дают ток, а ночью работают как насосы, перекачивая воду из нижнего бьефа станции в верхний; только на той, японской станции, машины помощней: по 300 мегаватт каждая.

Между прочим, на излучине Дуная, близ северной границы Венгрии, намечено строить каскад гидростанций, и в том числе такую же вот, гидроаккумулятивную; на горе высотой в пятьсот метров — водохранилище, немаленькое: объем около 6 миллионов кубометров; по тоннелям вода будет падать на лопатки турбин, мощность станции — 1200 мегаватт...

Мы сидим на воздухе. Жарко. Тень от ветел, лип на прогулочном асфальте набережной какая-то мертвенно-блеклая. Даже и тент над нашими головами кажется раскаленным. Над Балатоном дымка слоисто ломает воздух, лениво висят паруса яхт. И то ли эта обстановка позволила Керени, то ли просто возникла потребность — вдруг впервые за все время знакомства он стал нам рассказывать о себе.

Мальчишкой Эдон летом жил в деревне у деда, на берегу маленькой речушки, пограничной с Чехословакией. Каждое утро он плавал на тот берег, «за границу». Так вот, как раз рядом с той деревушкой деда и будет строиться эта гидроаккумулятивная станция, пуск ее намечен в 1986 году, а машины для нее Керени в эту поездку договорился, в принципе, купить в Японии.

Поездки на каникулы в деревню были для него как подарок за отличную учебу в гимназии. Иначе он учиться не мог — ради отца. Отец Эдона был с характером: когда-то деревенский бондарь, солдат в первую мировую войну, переживший, кстати, русский плен в Астрахани, а после войны устроившийся почтарем в Будапеште, он получал зарплату в 80 пэнго, а только за обучение Эдона в гимназии должен был платить 150 пэнго в год. Ему предлагали какое-то пособие, но отец от него отказался.

— Как я теперь понимаю,— сказал Эдон про отца,— трудности не понуждали его что-то выпрашивать, унижаясь, спекулируя на них,— как это случается, в большом ли, малом,— нет, они помогали отцу обретать независимость от кого бы то ни было. И в этом сызмальства я старался походить на него. А может, эта черта свойственна венграм? — спросил он. Глаза его были бесхитростно-детскими, какие-то удивительные глаза: то они серо-зеленые, а то вдруг голубые.

Эдону, кажется, одному лишь не жарко. В нем какая-то упругая сила, может, оттого еще, что в юности был хорошим гимнастом, особенно любил турник. Он одновременно чертит нам схемы электростанций и энергосистем, и присматривает за застольным обиходом, и первым успевает заметить какую-то яхту, вдруг расправившую паруса, поймав ветер... И невольно мы думаем: артистизмом, подвижностью этой — не внешней, а внутренней — уж очень похож он на друга своего Белу Чикоша.

Как раз вчера мы весь день промотались с Белой. Сперва на трассе ЛЭП-750. Смотрели, как ставят одну из последних опор. Было это среди спелого поля пшеницы; ползали по нему комбайны, кстати, наши, ростовские, «Колос», убиравшие хлеб и казавшиеся рядом с опорой ЛЭП, вдруг вставшей на попа, малыми букашками. Чикош склонился к тросу оттяжки, мгновенно и натуго прихваченному зажимом и оттого загудевшему по-шмелиному, сказал: «Мне этот гуд — будто сердце забилось в доселе мертвом теле, а отныне и вовеки веков — живом!» — и, облегченно выпрямившись, зашагал

по тропке среди поля, сорвал на ходу несколько колосьев, вышелушив, разгрызал зерно. «Ничего нет вкусней!.. Просто не могу мимо пройти, не сорвав колос-два. Это еще с детства привычка»,— и не было в этих, как и вообще в любых его словах ничего деланного, на «публику», а лишь простор простоты.

А потом мы поехали в Альбертиршу, на строящуюся подстанцию ЛЭП-750. Тут ничего нельзя было узнать по сравнению с тем, что мы видели год назад.

На площади в двадцать семь гектаров взрыта, перевернута вся земля на глубину не меньше чем в два метра, и проложены были под ней сотни километров всяческих подземных коммуникаций; торчали из красной глины серые бетонные пеньки фундаментов, на которые вот-вот встанут такими рациональными, строгими рядами бесчисленные трансформаторы... Чикош с шофером тут же ринулись сквозь красную пыль искать один из многих десятков этих фундаментов, яму для которого рыла на воскреснике бригада управленцев «Овита» под началом Белы, и запутались в рядах, долго спорили, какой же именно фундамент управленческий,— Чикошу установить это нужно было простотаки позарез. Наконец, нашли. Как раз тот, в короткой тени которого прямо на земле сидели двое цыган-землекопов, разморенные на жаре, в цветастых нашейных платках, повязанных засаленными узлами. Чикош сказал им по-детски обиженно: «А это фундамент наш!» — и они молча пошли, волоча за собой по пыли лопаты, к группе рабочих вдали, у управленческого здания подстанции, откуда им давно зазывно махали руками.

Вся площадка подстанции, весь окоем был окружен уже смонтированными портальными опорами, размахнувшими свои мощные поперечины, как крылья,— одна за другой, вкруговую. Казалось, вот-вот они пропеллерно, враз закружатся и вся красноглинистая площадка, покачиваясь в мареве дымки, парившей над самой землей, поднимется к близкому, выгоревшему от неистового солнца небу.

И только в том самом углу, куда ушли цыгане, за четырехэтажным, уже выведенным под крышу управленческим зданием подстанции, опоры еще не были смонтированы. Чикош пояснил: там будет открытое распределительное трансформаторное устройство, понижающее напряжение тока с 750 до 400 киловольт — ОРУ-400. Но не обычное: 6 выключателей и 30 трансформаторов — все в элегазовой изоляции.

Тут необходимо хотя бы и самое короткое пояснение.

Обычно на таких открытых распределительных устройствах изолятором служит сам воздух, который все же электропроводен, и потому расстояния между трансформаторами, выключателями должны быть достаточно большими. В состав же элегаза входят сера и фтор и всякие иные примеси, это абсолютно инертный газ, ни с одним веществом он не входит в соединение и служит идеальным изолятором тока. Потому, если упрятать кабели, вообще все сети ОРУ в трубы с элегазом, площадь, которую займет подстанция, уменьшится по сравнению с обычной в десять раз.

Пока элегазовая аппаратура вдвое дороже классической. Но лишь по цене. А по себестоимости, заводской, хотя будапештский «Ганц» лишь недавно освоил выпуск аппаратуры, купив, по рекомендации «Овита», лицензию у швейцарской фирмы «ББЦ», они уже почти сравнялись. Но, во-первых, минимум одна десятая стоимости классического ОРУ — это стоимость земли, на которой она монтируется. А подстанция с элегазом займет земли в десять раз меньше — выгодно?.. Во-вторых, элегазовая аппаратура требует несравнимо меньше затрат на строительство, монтаж — опять выгода?.. И в-третьих, уж очень удобен элегаз в эксплуатации. Чикош долго объяснял нам всякие электротехнические премудрости в связи с этим: насколько быстрей — и почему — в элегазе гасится вольтова дуга, как — почти мгновенно — срабатывают в нем выключатели, смиряя эту дугу... А потом он вдруг сказал:

— Да вы сами представьте! На обычной подстанции, чуть дождичек закрапает, и ходить страшно, а тут — элегаз в трубах, вроде как в радиаторах домашнего отопления, и можно даже садиться на них отдыхать, вот так,— и чуть согнул колени, показывая, как можно сидеть на этих трубах.— Вовсе даже и не думая, что тут, в нескольких миллиметрах от тебя, чудовищное, смертельное напряжение,— разве для эксплуатационников выгода эта пустяшная?.. Сегодня в два раза дороже? — спрашивал он, будто бы споря еще с кем-то из своих уже побежденных противников.— Так это только сегодня! Но не один день мы живы!..

Об этом толкует нам, в ответ на рассказ о поездке с Белой Чикошем, и Эдон Керени: не нужно бояться затрат, которые лишь сегодня, лишь в сравнении с отлаженным, но устаревшим оборудованием могут показаться большими и которые уже завтра окупятся сторицей.

И опять к слову Эдон рассказывает о смысле той перестройки, которая прошла у них в шестидесятых годах.

Но сперва, чтоб было понятней последующее,— о своем пути инженера: после войны он строил первую в стране крупную электростанцию на лигнитах, к северо-востоку от Будапешта, знаменитую когда-то «Матру», на ней же и остался главным инженером-эксплуатационником, а в пятьдесят третьем его забрали в министерство, главным инженером энергосистемы Венгрии, эта должность его — и поныне. Но сколько же было организационных перестроек за эти годы! То числился Керени в министерстве горняков и энергетиков, то в министерстве тяжелой промышленности, и еще несколько раз менялось название, структура; однажды в милиции какой-то капитан, разглядывая в паспорте Керени министерские штампы, сурово спросил его: «Вы почему так часто меняете место работы?»

Наконец, в 1963 году министерство, оставив за собой лишь решение проблем перспективного планирования, выделило из своего состава трест «Венгрэнерго», отдав в его ведение все вопросы кооперации промышленных и строительных энергетических предприятий, капитальных вложений, эксплуатации, развития базы строительной индустрии... Еще через два года трест стал сам определять все свои экономические показатели, а в 1968 году он расширил права и низовых предприятий: с тех пор им спускается лишь один контрольный показатель — прибыль, которую те должны давать государству, при этом сразу же определяется, какую часть капитальных вложений на развитие производства в текущем году и пятилетии должно вносить само предприятие, а какую — государство.

Это отнюдь не вносит произвола, разнобоя в решение оперативных вопросов руководства предприятиями, так как главный-то для всех энергетиков показатель — тарифная стоимость электроэнергии — утверждается государством. И тут получаются каждогодние ножницы, стимулирующие развитие производительности труда: цены на постоянно совершенствующееся оборудование — турбины, генераторы, котлы — заводы-поставщики этого оборудования, естественно повышают, а тарифы — потребительские — на электроэнергию остаются теми же. Трест и его предприятия поэтому вынуждены постоянно уменьшать себестоимость своей продукции — энергии. Вот потому-то, чтоб сократить эти постоянные «ножницы», энергетики и стремятся, в частности, типизировать строительное производство, механизировать любой труд, увеличивать мощности блоков на электростанциях, искать всевозможные лазейки для экономии энергии

в электросетях. Технический прогресс для них — не мода, не лозунг, а насущная, ежедневная потребность.

Объясняя нам все это, Керени увлекся. Уж солнце свалилось к закату, отсвечивая на чуть заметных гребешках волн в озере. Листва ветел заискрилась. Курортники стайками потянулись мимо нас — с пляжа по домам и корпусам санатория. Пузырились за их плечами полосатые, разноцветные надувные матрацы. Небо над нами обрело глубину.

Кто-то из нас, припомнив рассказ Бениамина Сабо о консервации атомной станции в Пакше и другой рассказ — Белы Чикоша о тех мытарствах, которые должна пройти заявка предприятия на покупку любого импортного оборудования, вслух отметил, как здесь люди, в сущности, малознакомые нам, обсуждают гласно все свои самые больные проблемы, не боясь быть неправильно понятыми.

Эдон Керени внимательно выслушал и, чуть заметно усмехнувшись, сказал:

— Но ведь перестройка, о которой я рассказывал, касается, как и любая крупная экономическая перемена, не только техники: в ходе ее меняется отношение людей к делу, и, может быть, это — самое большое завоевание социалистической Венгрии. Да и только ли Венгрии?.. Возьмите вы, к примеру, эпопею с ремонтом линий электропередачи под напряжением. Можно было бы сказать: разработали, пробили, внедрили в практику эту идею благодаря тому, что вот есть в Венгрии такой одержимый, как Бела Чикош, благодаря его лишь усилиям. Но ведь если брать в комплексе все вопросы развития энергетики, решенные в последние десятилетия: механизация труда на всех участках, элегаз и десятки других технических новшеств, АЭС в Пакше и строительство уникальной ЛЭП-750 — да мало ли что! — все это могло осуществиться оттого только, что само время поднимает наверх не просто талантливых людей, фанатиков — изобретателей, организаторов и ученых — нет, вокруг них неизбежно собираются единомышленники, складываются целые коллективы их, способные решить самые сложные проблемы современности. И не беда, если таких единомышленников — вот как на стройках атомных электростанций — будет поначалу больше, к примеру, в Советском Союзе, чем в самой Венгрии или в какой-то еще стране: коллективы эти — интернациональны по духу своему, по практическим возможностям. Это и есть знамение времени. На мой взгляд, сейчас, как никогда, технический и любой иной прогресс невозможен без такого интернационализма, вошедшего в кровь и плоть повседнев-

ности. Можно сказать и иначе: нынешние интернациональные связи — залог прогресса. Разве не так?..

Что нам было ответить ему?.. Именно эта мысль — прежде других — и вела нас из поездки в поездку по дружественным Советскому Союзу странам, именно она — надеемся мы — и есть главная в нашей книге.

Теперь уже — оконченной книге, последняя страничка которой, однако, никогда не будет написана. Такова уж судьба большинства документальных очерков.

Пока мы работали над рукописью, поднялись последние опоры ЛЭП — 750 киловольт, и наши друзья из Львова и Будапешта прислали нам письмо с рассказом о том, как была испытана эта линия в действии и как теперь она перестроила работу всех объединенных энергетических систем стран — членов СЭВ. За это же время были отправлены из Усть-Илимска первые партии высококачественной целлюлозы за рубеж, и успешно прошли новые научные эксперименты и экспедиции океанологов в Балтийском и Черном морях, и дали ток новые агрегаты атомных станций в Грейфсвальде, Ясловских Богуницах и Пакше... Сама жизнь продолжает наше повествование, и движение ее неостановимо.

...Мы ехали вдоль самой береговой кромки. Керени вел машину сам. Вода в озере, недавно молочно-белая, набрала синеву, взъерошившись под залетным ветром. Невольно вспомнился рассказ Ласло Матиаша, каким штормовым был Балатон в последние дни войны.

Параллельно берегу, параллельно нам, накренившись к самой воде, выгнув треугольный белый парус, шла яхта. Шла и шла, почти не отставая от нас. Керени оглянулся на нее раз и второй, воскликнул:

— Вот это скорость!.. Главное — поймать попутный ветер, так? — И сам же подтвердил с веселою убежденностью: — Так! Только так!..

Будто говорил уже вовсе и не о яхте, не о ветре — о большем.

1976—1978 гг.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Юрий Дмитриевич Полухин

Любовь Саввишна Руднева

СКВОЗЬ ГОДЫ И ГОРЫ

Редактор *Ф Л Цыпкина*

Художественный редактор *Е А. Якубович*

Технический редактор *М У Шиц*

Корректор *Т Б. Лысенко*

ИБ№ 1798

Сдано в набор 29.11.79. Подп. в печать 27.03.81 А06126. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага типогр. № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 13,44. Уч-изд. л. 14,69. Тираж 30 000 экз. Заказ 1098. Цена 65 к.
Изд. инд. ХД-220.

Издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г Электросталь Московской области, ул. Тевосяна, 25.